

Министерство культуры Самарской области
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте
«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу

Алексей Солоницын

САМАРСКОЕ ЗНАМЯ

Роман



Русское эхо
2016

Солоницын А.А.

С 60 Самарское знамя. — Самара: Русское эхо, 2016. — 320 с.
ISBN 978-5-9908540-0-0

Новый роман Алексея Солоницына повествует о героических событиях русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

В этой беспримерной освободительной войне именно Самаре выпало стать символом борьбы за освобождение братских славянских народов от почти пятисотлетнего османского ига.

В Самаре родилось легендарное Самарское Знамя, вручённое болгарским ополченцам. Молодой журналист «Самарской газеты» Иван Тепляков становится свидетелем исторических событий, когда под Самарским Знаменем сражались, не щадя жизни своей, под Плевной и Стара-Загорой, на легендарной Шипке, плечом к плечу, русские и болгары, украинцы и поляки, сербы и румыны. На дорогах войны встречает газетчик из Самары и прославленного Белого генерала Михаила Скобелева, и знаменитого живописца Василия Верещагина, и рядовых этой войны, идущих на жертвенный подвиг. Встречает он и любовь, встретившись с болгаркой Албеной, спасшей его от смерти.

Автор рисует живые картины знаменитых батальных событий, раскрывает перед читателем внутренний мир героев, завет которых современен во все времена: «Нет выше той любви, чем положить душу свою за други своя».

Роман выходит к 140-летию создания Самарского Знамени.

Он ввёл меня в дом пира,
и зная его надо мною — любовь.

**Книга Песни Песней царя
Соломона, глава 2, стих 4**

Когда человек рождается, весь мир радуется. И только он один плачет. Когда человек умирает, весь мир плачет, и только он один должен радоваться.

**Патриарх Сербский Павел
(1914-2009)**

Город, в котором живёт любовь

Вместо предисловия

Самара вошла в мою жизнь пятьдесят лет тому назад.

Я был молод, полон сил и влюблён. Нас с женой поселили в центре города, в комнате над хлебным магазином. Я просыпался ранним утром, когда подъезжала машина с хлебом. Грузчики и продавицы переговаривались, смеялись, и лучший запах в мире, запах свежеевыпеченного хлеба, который я полюбил с детства, долетал в раскрытое окно нашей комнаты.

Жена спала, а я, наскоро выпив чая, целовал её и тихонько выходил из тесной комнаты. Стояла тёплая осень. Я неторопливо шёл пешком, рассматривая особняки старой Самары: вот здесь находилась «Самарская газета», где работал молодой Горький, так невзлюбивший Самару. Свои фельетоны он подписывал псевдонимом «Иегудиил Хламида», столь же вычурным, как и то, что он в те годы писал.

По дороге на студию кинохроники, куда меня взяли работать, я делал крюк, спускаясь к Волге. Смотрел на водную ширь, чувствовал ветерок на щеках и улыбался, радуясь свежему осеннему утру, молодости, жизни.

И Самара вовсе не представала передо мной насквозь пропитанной едкой пылью и удушливой жарой, как её описал «Бог еврей», или «Хвала Богу евреев», что в переводе и означает имя «Иегудиил». Знал ли об этом Алексей Пешков, какой была его подлинная фамилия, или он взял этот псевдоним, чтобы «выде-

литься», пооригинальничать, не знаю. Но уже тогда, с первого моего знакомства с городом, в моё сердце и в моё сознание вошло вот это чувство радости узнавания того уклада жизни, к которому я стремился. С моими исканиями приключений, романтической моря было покончено. Я начинал работать в молодёжных газетах сначала Риги, потом Калининграда, куда меня позвал друг по студенческой скамье. В Калининграде базировалась китобойная флотилия «Юрий Долгорукий», и мы намеревались устроиться на неё кем угодно. Но годы шли, а меня не пускали не только в китобойку, но и на другие рыболовецкие суда. Я оказался «невыездным» из-за своих неосмотрительных поступков и высказываний. К этому времени пришло и понимание, что писать надо не «под Хемингуэя», которого мы все поголовно в те годы любили, а надо найти свою стихию, своё море, на берегу которого живёт мудрый старик, как в незабываемой повести этого писателя.

Я родился в Богородске, недалеко от Нижнего Новгорода, вырос в городе мамы Саратов, и мне хотелось вернуться на Волгу, в город моего детства и отрочества. И когда жене предложили работу в Куйбышеве, то есть Самаре, да ещё дали на дебют роль Настасьи Филипповны, в спектакле по роману «Идиот», мы решили ехать именно в Самару, хотя её приглашали и другие театры.

И вот я увидел, что Самара похожа на Нижний, больше на Саратов, в чём-то лучше него, в чём-то хуже.

Но, главное, это был свой город, вот в чём дело. К тому же жену брали в хороший театр, да ещё на роль в спектакль по самому моему любимому роману.

Жизнь надо было начинать сызнова, с чистого листа. Но это меня несколько не пугало, а, наоборот, звало к работе. В те годы по первой книжке рассказов я уже был принят в члены Союза писателей СССР, что означало признание меня как профессионального писателя. Это давало мне возможность не быть арестованным за «тунеядство», числясь «на вольных хлебах», то есть официально нигде не работая. Но я всё же пошёл на кинохронику: это давало мне возможность ездить, много видеть, не превратиться «в кабинетного работника». Зона Поволжской студии кинохроники тогда простиралась от Кирова до Астрахани, и я с удовольствием ездил в командировки, много повидав и испытывав.

На студии меня приняли настороженно, на должность «младшего редактора с испытательным сроком». Лёд таял медленно. И всё же на второй год работы я уже был главным редактором. Но когда я уснул в мягком кресле на планёрке, директор поставил вопрос «ребром» — или кино, или литература. Дело в том, что я писал по ночам, а планёрки устраивались в пять вечера, и я отчаянно боролся со сном, который к концу рабочего дня одолевал меня, и всячески старался не смыкать глаз.

Я выбрал «вольные хлеба». Но меня опять ждали испытания. Писатели Самары ещё более внимательно присматривались ко мне, и первую книгу рассказов и повестей в Самаре я смог опубликовать лишь спустя четыре года.

Я потому обо всём этом рассказываю, может, слишком подробно, чтобы показать самарский характер. Он не такой открытый, как кажется на первый взгляд. Внимательный, даже сокровенный, который открывается ой как не сразу, а исподволь. Но если уж полюбят тебя, то навсегда. Если доверятся тебе — то на всю жизнь.

Можно по-разному относиться к творчеству «советского графа» Алексея Толстого, по рождению самарского человека. Но его рассказ «Русский характер» очень точно передаёт именно черты волгарей. Напомню, что в рассказе этом говорится о том, как приезжает домой обезображенный войной русский воин Егор Дрёмов. И не говорит невесте, что это он и есть. Но она сердцем понимает, что это он, её суженый. И едет за ним, и остаётся верной только ему одному.

Вот и в городе нашем есть нечто подобное.

Я давно собирался написать о Самаре, её характере, её коренных людях. Но всё не решался, всё «накапливал материал». Но теперь, когда годы берут своё, когда надо написать «последнее сказанье», я решил, что дальше медлить нельзя. Что надо наконец высказаться о городе, где я состоялся как личность, как писатель. Высказать своё сыновье благодарение, где меня любили «так искреннее, так нежно», где меня спасли, когда я умирал, но не сдался, выжил, благодаря именно этой любви. Где обрёл твёрдую веру, которая до того была стихийной, неосознанной.

И именно вера озарила и мою жизнь, и все мои дела.

Но чтобы сказать такое слово, надо хорошо знать, о чём же будет оно конкретно, выраженное в романе, повести ли.

Для себя я решил: если мы верим, что в нашем теле живёт бессмертная душа, значит, и у города, который мы любим, тоже есть душа. Только вот где она, как её распознать?

У каждого города есть «визитные карточки», его высшие достижения. У Самары это «крылья советов» — не футбольная команда, а «Илы», «летающие крепости», которые здесь делали во время Великой Отечественной. Затем «крыльями страны» стали самолёты, затем «Союзы» — космические корабли, двигатели к ним и прочие потрясающие по взлётам ума и таланта создания человеческого гения.

Но это ли выражает душу города?

По-моему, нет.

По-моему, взлёт души выше космических достижений.

Взлёт души устремлён туда, куда воздет палец Иоанна Крестителя на полотне Леонардо да Винчи. Туда, куда показывают пальцы Трёх Ангелов, сидящих у жертвенной чаши на святой иконе Троицы преподобного Андрея Рублёва.

Вот где средоточие души, устремлённой выше космических далей, которые смог достигнуть человеческий разум.

И этот взлёт самарского народа я увидел в том порыве, которым была охвачена Самара вместе со всей Россией в 1876 году.

Именно Самаре дана была счастливая возможность воплотить этот порыв в создании САМАРСКОГО ЗНАМЕНИ, сотворённого во имя братства народов, во имя победы добра и любви над злом и ненавистью.

«Воззрением на Святую Троицу да истребитися ненавистная рознь мира сего» — этот завет преподобного Сергия Радонежского, великого сына великого народа, и воплотился в созидании Знамени.

И он оказался самым актуальным и сегодня.

Россия поднялась на защиту восставшего болгарского народа, который 500 лет находился под османским игом. Сначала шли добровольцы, а в 1877 году Россия объявила войну Турции.

И символом этой освободительной войны стало САМАРСКОЕ ЗНАМЯ.

Как оно и почему создавалось, как под ним бились русские богатыри духа, я и решил написать.

В романе действуют исторические персонажи — известные всей России великие наши полководцы, философы, живописцы: Михаил Дмитриевич Скобелев, Василий Васильевич Вережагин, Иван

Сергеевич Аксаков и другие. Действуют как главные и самарские исторические персонажи — прежде всего, Пётр Владимирович Алабин. Но чтобы эти герои не выглядели картонными, лишь обозначая события, в романе действуют и литературные герои, которые помогают читателю окунуться в суть происходящих событий, приоткрыть, хоть немного, и души наших героев.

Важное обстоятельство, на которое я хочу обратить внимание читателя: мои герои взяты в момент высшего напряжения сил души. Так, например, Пётр Владимирович Алабин появляется в романе, когда ему предъявлено обвинение в том, что он на царские деньги во время голода в Поволжье закупил негодное для выпечки хлеба зерно, то есть ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Об этом наши историки говорят как-то вскользь. А ведь именно в такие вот моменты жизни и проявляется в полную силу характер человека. Моё глубокое убеждение, весь мой литературный опыт написания исторических произведений говорит о том, что надо брать для повествования именно конфликтную точку жизни персонажа и через эту точку и развивать сюжет.

Биографическое построение произведения, от рождения героя и до его смерти, тоже имеет своё право на существование. Но, как правило, такие книги страдают вялостью письма, а то и просто скучны.

Конечно, в художественном произведении важен и домысел. Ведь писатель использует и прямую речь, и внутренний монолог героев, и все другие приёмы, свойственные литературным жанрам. Как же тут без домысла? Иногда он открывает то, что неведомо историкам, а иногда и уводит от исторической правды. Всё здесь зависит от степени таланта, от мировоззрения автора. Я использовал лишь такой домысел, который помогает раскрыть историческое событие и философскую, нравственную основу его.

Многие события я реконструировал, моделировал, основываясь на исторических фактах, но и следуя логике характеров моих героев. Поэтому в романе возникает иная реальность, которая отличается от той, какая изложена в учебниках.

Это надо обязательно иметь в виду читателю, который ищет лишь исторические факты. В таком случае ему следует брать исторические труды, а не художественные произведения, воссоздающие «дела давно минувших дней».

Вот по какому пути я шёл вместе со своими литературными героями и историческими личностями. Среди них есть и Иван Солоницын, который добровольцем ушёл на русско-турецкую войну 1877-78 годов. О нём я узнал от Нижегородских краеведов. Он был барабанщиком у прославленного генерала Скобелева, которого современники ставили вровень с Суворовым.

Мой предок погиб в боях при Шипке. В романе он выведен под именем Солонички.

Обязательно надо ещё сказать и о самарском купечестве. В литературе нашей, особенно у Горького, купцы выведены «разо-блачительно», показано их моральные падение, гибель под вла-стью стяжательства.

В романе я показываю обратное. Купечество и создавало Са-мару, строило её, растило богатырей духа: об этом говорят исторические факты. Конечно, разные они были — и это тоже показано в романе.

Я начал с того, что у каждого города, дорогого тебе, есть душа. Душа Самары для меня открылась с годами, когда я уз-нал историю Самарского женского Иверского монастыря и мно-гие подробности, связанные со Знаменем, которое создавалось именно там.

И год за годом, по мере того как я всё больше узнавал людей Самары, узнавал их беды и радости, всё более проникался духом самой Самары.

Я не склонен идеализировать мой город. Всё здесь есть, что характерно для нашей страны.

Но это город, в котором, как и во всей России, важнее всего любовь.

С этим чувством я вошёл в этот город полвека назад.

С этим чувством живу и сейчас.

Я не стремился писать роман «к дате». Но получилось так, что я закончил работу над этим текстом, когда исполняется 140 лет со дня рождения Самарского Знамени.

Пусть этой дате и будет посвящён роман.

Хотя главное, чему он посвящён независимо от времени, это то, чем всегда жив русский человек.

Ибо важнее всего для него, когда пройдёт час, положить душу свою за други своя.

Об этом я и написал.

Алексей Солоницын

Глава первая. Пётр Алабин

Самара, Пасха 1896 года

В соборе торжественно и тайно.

Так бывает всегда перед тем, когда плащаницу унесут через распахнутые Царские Врата в алтарь. В огромном пространстве главного нефа полумрак: по обе стороны пятиярусного иконостаса теплятся лампы у икон Спасителя и Святителя Алексия, митрополита Московского, чудотворца, небесного покровителя земли Самарской.

Этот образ написал Григорий Журавлёв — дивный иконописец, у которого от рождения нет ни рук, ни ног. Он выучился писать зубами. В родном селе Утёвка расписал храм, а иконы пишет для храмов не только земли самарской. По заказу самого царя написал образ, который отвёз в Петербург, когда пригласил его к себе молодой цесаревич Николай.

Вместе с супругой приезжал царь в Самару на освещение собора и к иконе святителя Алексия прикладывался, и крестился.

На левой стороне, перед солеёй, на площадке, покрытой мрамором, стояли правители губернии и города, почётные граждане, известные всему православному люду Самары. В первом ряду — губернатор Александр Семёнович Брянчанинов с супругой Софьей Борисовной, ещё начальствующие в чёрных фраках с белыми и чёрными галстуками¹ на белых крахмальных манишках, в парадных вицмундирах, расшитых золотом, с орденскими лентами синих и красных цветов. Красуются крупные ордена, тускло поблескивающие в полумраке.

Поодаль от губернаторской четы, но тоже в первом ряду, стоял человек с совершенно седой головой, невысокий, военной выправки, в парадном вицмундире с орденами. Один из орденов, святой Анны, в форме креста, укреплен под стоячим воротничком; другой, восьмиконечной звездой, святого Станислава, — на правой стороне груди. На левой, в ряд, боевые ордена и медали степеней ниже, но одинаково дорогие для его обладателя.

Этого человека, отмеченного многочисленными наградами, звали Петром Владимировичем Алабиным. Он гладко выбрит,

¹ Здесь и далее в некоторых случаях используется написание слов, принятое в XIX веке. При цитировании церковных текстов используется церковнославянская лексика.

оставлены лишь седые усы — как и у губернатора, с той лишь разницей, что усы губернатора чёрные, подкрученные по краям.

Это молодит губернатора, племянника знаменитого на всю Россию богослова, подчёркивает его военное прошлое.

Рядом с Алабиным его жена, Варвара Васильевна. На волосах, таких же белых, как у мужа, лёгкая кружевная накидка, ниспадающая на белое платье, в талию, и с пышной юбкой до пола.

Столь же строг и торжествен Антон Николаевич Шихобалов, купец первой гильдии, главный благотворитель и благоустроитель не только собора, но ещё и четырёх церквей Самары. На его средства построена городская больница, богадельня, трудовой дом и ещё другие общественные дома Самары.

Он тоже с женой.

Антон Николаевич уже более двадцати пяти лет в попечительском совете собора является казначеем. Возглавлял совет старший брат Антона Емельян, ныне покойный.

Средства, на которые построен и содержится собор, в основном шихобаловские.

У Шихобалова высокий покатый лоб, лицо кажется слишком вытянутым книзу из-за чёрно-белой бороды, клином, почти до пояса. Он в чёрном, наглухо застёгнутом сюртуке с идущими посередине медными пуговицами.

Вся Самара знает и чтит Антона Николаевича, и на груди его хотя и меньше орденов и медалей, чем у Алабина, но их тоже немалое число.

Вот архиерей, преосвященный Гурий, совершил каждение плащаницы, и наступил трогательный момент: плащаницу, накрывающую гроб, подняли плечистые священники и диаконы, понесли в алтарь, поставили на престол. Здесь плащаница, символизирующей лежащего недвижимо и воскресшего Христа, лежать до отдания Пасхи.

Все священнослужители выстроились вслед за архиереем по старшинству. Владыка Гурий держит в левой руке трёхсвечник и крест, украшенный живыми цветами.

Из алтаря донеслось приглушенное, но отчётливо слышимое пение:

*Воскресение Твоё, Христе-Спасе,
Ангелы поют на небеси...*

И у многих, если не у всех двух тысяч людей, стоящих в храме, дрогнули сердца, омылись незримой волной. Будто именно сейчас, именно в эти самые минуты, все они по извилистой горной тропе двинулись вслед жёнам-мироносицам к пещерной могиле, которую Иосиф Аримафейский отдал, чтобы в ней похоронили Христа.

Во главе крестного хода, который вышел из распахнутых врат собора, с фонарём, укреплённым на высоком шесте, важно и степенно шествовал в белом стихаре мальчик-алтарник, всем своим видом словно вопрошающий, как и тот Ангел, который встретил жён-мироносиц вопросом:

— Что вы ищите Живого среди мёртвых?

А пение хора, который подхватили тысячи людей, шедших вослед архиерею, духовенству, нарастало, становилось всё более мощным, от раза к разу повторяясь:

*Воскресение Твоё, Христе-Спасе,
Ангелы поют на небеси,*

*И нас на земли сподоби
Чистым сердцем Тебя славить...*

Льётся непрерывный колокольный трезвон. В руках у всех прихожан собора зажжённые свечи — они горят в свежей апрельской ночи, как огоньки спасения.

За алтарником-мальчиком идут алтарники постарше, несущие запрестольный крест и запрестольную икону Богоматери. Затем — хоругвеносцы, хор, а за ними — губернатор, Алабин, Шихобаловы, начальствующие, именитые горожане. Идут в ряд по четверо, а далее, уже толпой, все самаряне — кажется, сейчас здесь весь город, население которого превысило уже девяносто тысяч человек. Самара теперь один из крупнейших городов России, как Нижний или Одесса, или Ростов-на-Дону. А Воскресенский собор, или, как его ещё называют, собор Христа Спасителя, стал крупнейшим в Поволжье: его пятиглавая громада с колокольной в восемьдесят пять метров высится в ночи над Соборной площадью и хорошо видна с Волги за много вёрст. Сейчас, в апрельской ночи, колокольный трезвон восьми колоколов, каждый по двести пятьдесят пудов, слышен по реке вёрст за пятьдесят, если не больше.

Крестный ход остановился у главных врат собора — как пред пещерой Гроба Господня.

В наступившей тишине раздался отчётливо и далеко слышимый голос преосвященного Гурия:

*Христос воскрес из мертвых,
смертию смерть поправ...*

И после вдохновенно пропетых стихов Пасхи двери распахнулись, и народ парадной лестницей вошёл в теперь уже ярко освещённый собор — навстречу самому Христу.

Есть торжественные, радостные, печальные события, которые происходят в храме.

Но такой минуты, как эта, пасхальная, душу окрыляющая, поднимающая её до самого неба, — другой такой минуты нет у русского человека.

Когда закончилась пасхальная утренья, губернатор подошёл к Алабину, улыбнувшись дружески и чуть поклонившись. Распахнул руки:

— Христос Воскресе, Пётр Владимирович.

— Воистину Воскресе, — отозвался Алабин.

Они обнялись и троекратно слегка коснулись друг друга щеками.

— На литургию остаётесь? А я, пожалуй, домой. Ноги стали тяжелеть. Знаете, Пётр Владимирович... Всё хочу вам сказать, да как-то не с руки... Может, пройдемся? А потом вы вернётесь.

«Что это он? — подумал Алабин. — Какие-нибудь новые известия?»

Брянчанинов сказал жене и стоящей рядом за её спиной милой молодой родственнице идти к карете, а сам через дверь бокового придела вместе с Алабиным вышел из собора.

Здесь вдоль стены шла мощёная дорожка, обсаженная липами, которые чернели на светлеющем небе. Свежий утренний ветерок, дующий с Волги, обдал их.

— Видите ли, Пётр Владимирович, всем известно, какого мужества вы человек. Прошли четыре войны... Поэтому, если рассудить...

— Я догадываюсь, Александр Семёнович, что у вас касательно меня какая-то депеша.

— Ну что вы, «депеша»! — с некой пренебрежительностью к слову «депеша» отозвался губернатор. — Я просто узнал, что против вас выступать будет этот самый Кони, любитель «остренького», как говорится. Он ведь большой мастак по части «жареного». Умеет перед публикой покрасоваться, — Брянчанинов саркастически усмехнулся. — Демократ! И тем не менее, Пётр Владимирович...

— Что? — Алабин остановился, повернулся к губернатору, лицо которого белело в истлевающей ночи. Выражало оно, сколько мог понять Алабин, беспокойство. И тон речи хотя и дружеский, но с долей того же беспокойства. И говорить о предстоящем суде в пасхальную ночь...

Пётр Владимирович по общению с Брянчаниновым, по тому, что слышал от людей, мнению которых доверял, знал, что губернатор был в высшей степени добропорядочный человек, твёрдый в своих решениях. Взглядов консервативных, строгих. Суждения его хотя и правильные, но всё же они как-то не вызывали воодушевления. Но в то же время нельзя сказать, что они слишком сухи. Близких знакомств он не заводил, хотя служил в Самаре уже пять лет. С подчинёнными учтив, но держал всех на расстоянии. С Алабиным отношения как будто хорошие, все начинания Петра Владимировича, касательно просвещения народа и благотворительных дел Варвары Васильевны, неизменно поддерживал.

Но дружбы между ними так и не получилось.

— Да вы не беспокойтесь, Александр Семёнович, я найду, что им ответить. В том числе и самому этому Кони. Как его звать, правда, забыл.

Алабин вроде бы говорил спокойно, но уже чувствуя, что праздничное воодушевление исчезает, а сердце даёт о себе знать. Хотя перед отъездом в собор оно вроде бы молчало.

— Александром Фёдоровичем его зовут. Но не в этом дело. Я не сомневаюсь, вы известный оратор. Но вот что слушание будет рассмотрено Казанской судебной палатой, это мне не нравится. Потому как народ там мне совершенно незнакомый. Не знаю, к кому и обратиться за поддержкой. А поддержать вас необходимо.

— Благодарю, Александр Семёнович. Мы с вами верующие и знаем, что всё в Его руках.

— Так-то оно так, — губернатор вздохнул, ближе придвинулся к Алабину. — А у вас никого нет, кто мог бы немного осадить этого Кони?

— Нет. Да если б и был, не стал бы просить. Вы же знаете, что ради красного словца, ради «принципов», — Алабин выделил это слово, — они и мать родную не пожалеют.

— Это верно. Мне остаётся вам пожелать стойкости, Пётр Владимирович. И ещё раз простите, что в праздник принёс вам такую весть. Но лишь только потому, что время не терпит. А где мы встретимся, неизвестно... в праздник.

— Не извиняйтесь. Вы всё правильно сделали, благодарю.

Они вышли ко входу в собор, где совсем недавно стояли во главе крестного хода. Тут и там кучками стояли люди, которым не хватило места в соборе. Губернатора и Алабина узнавали, поздравляли, кланяясь. Неподалёку Брянчанинова уже ждал кучер — рослый человек, одетый в чёрное пальто, в сапогах, в шляпе на иноземный манер.

У дверей кареты, в тёплых меховых накидках, ждали жена губернатора и её молодая родственница.

— До встречи, Пётр Владимирович. Держитесь.

Пожав руку Алабину, он пошёл к карете большими военными шагами.

«Однако знает, как звать этого Кони», — подумал Алабин, возвращаясь в собор тем же путём, через придел святого Иосифа Песнопевца. Он хорошо помнил, почему в честь этого святого благословил владыка Герасим освятить левый придел.

Это произошло четвёртого апреля, в тот памятный для всей России день, когда рука простого крестьянина Осипа Комиссарова отвела руку Каракозова, стрелявшего в государя Александра II. Всё произошло в Летнем саду, где прогуливался император, и где его подстерегал убийца. Но тут же прогуливался приехавший из Костромской губернии крестьянин, который увидел, как молодой человек вытаскивает из-под полы чёрного пальто пистолет и наводит на царя. Крестьянин, не раздумывая, бросился к убийце и успел ударить по его руке, и пуля после выстрела пролетела мимо царя.

Четвёртого апреля память святого Иосифа Песнопевца, небесного покровителя Осипа Комиссарова. Именно в этот день было получено разрешение на строительство собора в Самаре.

В этом деле самое деятельное участие принял Алабин. И вот тогда же епископ Герасим, отличавшийся начитанностью и прекрасной памятью, сказал, что один из приделов будущего собора будет назван в честь святого Иосифа Песнопевца. И, таким образом, ещё и в память о чудесном спасении царя простым русским крестьянином, который, как и Иван Сусанин, костромич.

Второй придел собора освящён в честь святого благоверного князя Александра Невского: это решение было принято тридцатого августа, в день памяти Александра Невского, когда освящали выстроенную колокольню собора. В этот же день праздновали и трёхсотлетие Самары.

Епископ Герасим был ревностный служитель Богу, молитвенник, любимый народом самарским. Теперешний владыка Гурий, при котором завершилось строительство собора, длившееся долгих двадцать пять лет, аскет, в его облике есть многое от воина: служба в суровых Амурских краях закалила его, а миссионерская деятельность среди языческих народов сделала его строгим и склонным к назидательности.

Преосвященный Герасим был проще, мягче характером, и тогда ещё молодому Алабину легче было с ним найти общий язык и охотнее идти за советом и помощью при сложных жизненных ситуациях.

«С Гурием так не поговоришь, — подумал Пётр Владимирович, когда возвратился на своё место в соборе. — Впрочем что толку от разговоров хоть с ним, хоть ещё с кем-то? Раз решили дело пересмотреть, значит, я опять буду на скамье подсудимых. Господи, так мне и надо. Пусть судят, пусть я получу наказание по заслугам! Всё в Твоей воле, Господи!»

В это время на амвон вышел епископ Гурий и, благословляя всех, радостно возгласил:

— Христос Воскресе!

И тысячеусто, громово отозвалось в ярко освещённом соборе:

— Воистину Воскресе!

Варвара Васильевна видела, что муж вернулся после разговора с губернатором ещё бледнее лицом, чем прежде. Она не хотела, чтобы муж шёл и на праздничную утренью, но он и слушать не стал.

Хотела, чтобы они не оставались на Литургию, но тут его увёл губернатор. Видимо, сказал что-то неприятное для мужа, раз он так бледен.

— Петя, может, нам пора? — шепнула она, наклонившись к нему.

Он отрицательно покачал головой.

«Опять, — подумал он, услышав, как перебойно стало стучать сердце и предательская слабость охватывает всё тело. — Может, и в самом деле уйти? Встретили уже Христа! Господи, не оставь меня! Помоги!»

Поочерёдно на амвон бодро выходили священники собора и, благословляя народ, радостно возглашали:

— Христос Воскресе!

«Надо уходить. А то грохнусь в обморок, как барышня».

Он видел, что на него с тревогой смотрит не только жена, но и зять Александр, стоящий сбоку от него, рядом с женой, Сашенькой.

Он достал платок и вытер холодный пот, выступивший на лбу.

«На улице свежо, станет лучше. Сейчас, вот только немного приду в себя».

И в самом деле, через несколько мгновений стало как будто легче, и он понял, что может спокойно идти. Но стоило ему сделать движение, чтобы повернуться к выходу, как его качнуло и плечом он толкнул жену.

— Пойдём, — тихо сказал он, и она крепко взяла его под руку.

Удивлённо посмотрел на Петра Владимировича Антон Шихобалов. Даже рот приоткрыл, намереваясь что-то сказать. Но Алабин, стараясь ни на кого не смотреть, пробирався к выходу. Варвара Васильевна крепко поддерживала его, а дочери и зятю успела сделать жест рукой: мол, ничего особенного, мы старики, уже устали, потому и уходим, а вы оставайтесь.

— Легче тебе? — спросила она уже на улице.

— Да.

— Не торопись, идём медленно. Может, здесь подождёшь? Я Кузьму подзову, чтобы подъехал сюда.

— Не надо.

Шёл он медленно, но твёрдо ступая. Сердце опять стало колотиться, и он слышал, как оно бьётся, подраненное.

До своей коляски они дошли спокойно, а когда сели в неё, Пётр Владимирович сказал:

— Знаешь, Варя, я сейчас, когда шли, вспомнил, как владыка Герасим про Иосифа Песнопевца рассказывал. Когда тот в заточении на острове Крит сидел, ему Богоматерь явилась и свиток дала, а там песнь Ей написана. Она приказала свиток съесть, и после этого Иосиф свои каноны и стал слагать...

— К чему это ты?

— А к тому: когда меня в тюрьму посадят, ты мне тоже свиток напиши и принеси. Я его тоже съем.

— Ты очень бледен, Петя, — и кучеру: — Кузьма, можешь побыстрей?

Кузьма и без того понял, что Петру Владимировичу плохо.

Коляска на рессорах, с мягкими шинами на колёсах. Но быстро проехать по Соборной площади нельзя: тут и там встречались люди, и кучеру во всё горло пришлось кричать:

— Посторонись!

Благо, дом Алабиных находился сразу за Соборной, на углу Алексеевской и Николаевской.

Тяжело опираясь на руку кучера, Пётр Владимирович слез с сиденья коляски на землю и пошёл, сопровождаемый им и женой, к парадной. Все окна в доме были освещены: там готовились встретить хозяев.

— Спасибо, Кузьма, — сказал Алабин, слабо улыбаясь. — Христос Воскресе!

Обнявшись с кучером и поцеловавшись, вошёл в дом, а Варвара Васильевна указала Кузьме, куда пройти, чтобы разговеться — выпить праздничную стопку и отведать праздничных угощений.

Впрочем Кузьма и сам знал, как и куда надо пройти.

Дом Алабиных парадным крыльцом выходит на Алексеевскую, одну из главных поперечных улиц Самары. Продольные идут вдоль Волги, к Самарке. А в возглавии улиц высятся храмы, по именам которых названы и улицы. Если Троицкий храм — то и улица с площадью Троицкая, прежде называвшаяся Татарской. От Собора ровной зелёной улицей идёт Соборная, а вот главной улице города сделано исключение, потому как она главная и названа Дворянской.

В последнее время магазины здесь украсились зеркальными витринами. Самара не хочет отставать от столицы, и Дворян-

ская подражает Невскому проспекту. Вечером она хорошо освещена: в этом заслуга Петра Владимировича. И когда он был и городским головой, и короткое время губернатором, и постоянно — гласным Думы, и когда руководил ли Земельным управлением или входил во всевозможные общественные комитеты — на всех постах неизменно заботился о ней, ставшей ему родной Самарой. И освещение улиц, и мощение их, и водопровод — всё делалось если не под его непосредственным руководством, то при неперенном его участии.

Дома в Самаре ставились по строгой линии, чтобы улицы не петляли. И алабинский дом уходил стенами не вдоль улицы, а в глубину двора. Здесь Варвара Васильевна завела фруктовый сад, теплицы — цветы самых разнообразных видов не переводились у них почти круглый год.

Вот и сейчас на боковом лакированном столике высилась китайская ваза с прекрасными свежими розами.

В центре гостиной, на большом обеденном столе, уже красовался светло-коричневый кулич, облитый на верхушке глазурью и обсыпанный разноцветными зёрнышками. А вокруг кулича, на прекрасном фаянсовом расписном блюде теснились крашенные яйца самых разных цветов — как детки вокруг матери. Приглушенно горели керосиновые лампы в люстре, уже зажгли свечи в богато украшенных медных напольных подсвечниках — они бросали отсветы на лёгкие шёлковые белые занавески.

В доме установился тот особенный пасхальный дух, который так радует сердце.

Но сердце Петра Владимировича, хотя и умилилось праздничной благостью, всё равно давало о себе знать тяжестью и тревожным постукиванием.

Он прошёл в свой кабинет, тяжело опустился в кресло. Варвара Васильевна уже несла ему рюмку с больничными успокаивающими каплями какого-то желтоватого цвета.

Он покосился на рюмку, но всё же взял её в руки:

— Может, мне лучше стопочку? — не столько жену, сколько самого себя спросил он.

— Успеешь, — она ждала, когда он примет лекарство.

Он выпил, отдал жене рюмку.

— Как думаешь, заметили мою слабость?

— Ты очень побледнел.

— А знаешь, я подумал, хорошо было бы умереть прямо в соборе. Да ещё в пасхальную ночь... Представляешь?

— Прекрати фантазировать. Лучше приляг. Пока дети придут, отдохни.

— Ты права, надо лечь.

Она помогла ему снять вицмундир, лечь на диван. Накрыла лёгким одеялом, оставила гореть только одну свечу.

Вышла, убедившись, что муж смежил глаза, задремал.

Через гостиную, коридором, прошла на кухню. Глаша, повариха, хозяйничала здесь вместе с Настасьей, горничной. Обе в белых фартуках, раскрасневшиеся, занятые последними приготовлениями к праздничному столу. На плите, в большом чугушке, булькало уже готовое жаркое. Настасья приглядывала, отодвинув заслонку русской печки, за поспевающими пирогами, которые начали румяниться.

Глаша, невысокая плотная баба с круглым, добрым лицом, улыбнулась хозяйке:

— Христос Воскресе, Варвара Сильевна. Пробу сымайте, готово жаркое. И холодец пробуйте. А пироги напрямик скажу — хороши!

— А то! — отозвалась Настя. — Им такими и следует быть. Пасха! — со значением заключила она.

Глава вторая. Хлебное дело

Самара, Светлая седмица, 1896 год

— Дышится-то как сегодня! Легко, благостно! А, Николай Сергеевич?

— Да, Иван Иванович. Особенно когда вы выпускаете дым, как американский пароход из трубы!

Тот, кого назвали Иваном Ивановичем, действительно с удовольствием курил и на замечание своего молодого собеседника сначала удивлённо повернул к нему голову, а затем добродушно и весело рассмеялся. Стряхнул пепел ударом пальца по мундштуку пахитоски, опять с наслаждением затянулся и, продолжая добродушно улыбаться, заметил:

— Для таких курильщиков со стажем, как я, весенний воздух особенно приятен вместе с дымком, Николай Сергеевич. Недавно Александр Сергеевич написал: «И дым Отечества нам сладок и приятен». А вы знаете, дорогой мой, что Александр Сергеевич

Грибоедов соперничал с Александром Сергеевичем Пушкиным? Да-да, между ними шло негласное соревнование за первенство в русской словесности. И если посмотреть внимательнее на их творчество и жизнь, легко обнаружить это соперничество...

Эти двое собеседников, идущие по одной из аллей сада, который в Самаре называли Струковским, пожилой и молодой, седой и черноволосый, были самарские литераторы, вышедшие на прогулку воскресным пасхальным днём. Они любили приходить сюда, в городской сад, побеседовать, послушать музыку духового оркестра, выпить чего-нибудь по рюмке или две, а то и просто погулять. И, как сейчас, поболтать о том о сём, преимущественно о литературе и театре, и на другие, общественные темы, которые не меньше занимали их литературские умы.

Иван Иванович Тепляков, с густыми седыми волосами почти до плеч, которые сразу же, с первого взгляда, обнаруживали, что перед вами служитель муз, музыкант или художник, или поэт, или, по крайности, артист театра, был роста среднего. Но о нём никак нельзя было сказать именно так, потому что костюм сидел на нём ладно, артистически даже, и всегда был тщательно выглажен. Галстук повязан идеально, а манеры, даже эта, когда он курил пахитоски, тоже выдавали в нём ну если не аристократа, то уж дворянина во всяком случае. Роста он казался скорее высокого, чем среднего.

Примечательной чертой его лица был шрам на левой щеке, особенно заметный, когда он смеялся: левая щека оставалась неподвижной, тогда как правая сжималась, образуя морщинки у глаз. Второго собеседника, которого Иван Иванович назвал Николаем Сергеевичем, скорее можно было просто назвать по имени. Потому что Николаю Егорову, литератору из «Самарской газеты», недавно исполнилось двадцать три года. Родные и близкие звали его Николенькой, что, впрочем, он не любил.

Пожалуй, правильное литератором надо назвать только Ивана Ивановича, так как у него неоднократно были публикации и в петербургских, и в московских журналах (писал он преимущественно рассказы и очерки), а второго следовало бы назвать газетчиком, так как он писал в «Самарскую газету», а стихи читал только самым близким знакомым (преимущественно девицам). Но в самарском обществе уже приобрёл звание литератора, причём одарённого, что не очень-то соответствовало действительности.

Волосы у Николая Егорова густые, чёрные, аккуратно причёсанные, глаза тёмные, под стать волосам. Взгляд с прищуром, которым он прикрывает свою опасность попасть в неловкое положение, ибо Николай и самолюбив, а иногда и заносчив. Одет он по-праздничному и, как и его старший товарищ, умеет носить костюм и повязывать галстук.

Так что и его, стройного и симпатичного молодого человека, тоже легко опознать как служителя каких-нибудь муз.

Они миновали грот, вышли к устроенному неподалёку каскаду — небольшому, но приятно радующему глаз водой, падающей вниз гладкой дугой.

— У нас теперь вроде как в Петергофе, — Иван Иванович остановился перед каскадом и лукаво глянул на собеседника. — А, Николай Сергеевич?

— Скорее, как в Версале, — Николай усмехнулся, а Иван Иванович рассмеялся. Смеялся он весело, от души, и Николаю нравился этот смех, как и многое другое у старшего друга. Более всего, конечно, располагал к себе ум Ивана Ивановича, способность к рассуждению, но и манеру говорить, одеваться даже, незаметно для себя Николай перенимал у старшего друга.

— А всё же, — уже серьёзнее сказал Иван Иванович, — всё же хорошо, что генерал Струков отдал эти земли городу. А Пётр Владимирович позаботился, чтобы сад обустроили и благоуносили. Пусть и не столь великолепно, как в столицах, а как приятно пройти. Или покататься на велосипедах, или в теннис сразиться. Почему бы вам не заняться этими модными и полезными спортивными занятиями?

— Генерал не отдал свои земли городу, а продал. Когда его в махинациях уличили. Но молодец, конечно, — и, занимая место у свободного столика, накрытого белой скатертью, пригласил сестр Ивана Ивановича.

— А вы заметили, что во время службы Алабину стало плохо? — неожиданно серьёзно спросил Николай.

— Как же, как же. Зануда Скворцов жене шепнул так, чтобы все слышали: «Что это с Петром Владимировичем?»

— Он скорее не зануда, а сплетник. Как же, служит у губернатора. В его доме вроде клуба нечто образовалось. Преимущественно из дам. Возьмём ликёрцу или винца?

— Есть мадера, есть шартрёз, — услужливо сказал подошедший к ним половой, которого здесь скорее можно было назвать на заграничный манер — официантом. Он хорошо одет, в меру услужлив.

— Шартрёз — это прекрасно, — Иван Иванович откинулся на спинку венского стула. — Но к нему надо бы чего-нибудь лёгонького, вроде как...

— Бисквиты французские, — подсказал официант. — Конфеты шоколадные, с начинкой. Хороши. Для бодрости можно чай китайский, как раз к празднику привезли.

— Чудесно, — согласился Иван Иванович. — А вы знаете, Николай Сергеевич, что любимый вами композитор Россини горько плакал, когда, катаясь на лодке, выронил в воду курицу, фаршированную трюфелями?

Николай невольно улыбнулся, кивнув официанту, что пока больше ничего не надо. Вдохнул и поглядел на весенний волжский простор, который открывался взору отсюда, с высокого берега реки, где был устроен буфет со столиками под полотняными навесами.

— Бог с ним, с Россини, пусть он хоть и обжора, но композитор прекрасный. Такое сочетание сочეთовахается, как ни странно. А вот с нашим Алабиным, который для города сделал, может быть, больше всех других, сочეთовахается взяточничество? Ведь именно так разворачивает дело этот Кони.

— Постойте, — встрепнулся Иван Иванович, внезапно посерьёзнев. На большом белом лбу появились складки, голубые, чуть подслеповатые глаза пристально, не моргая, смотрели на друга. По своей привычке, когда речь заходила о серьёзных вопросах, он весь подался вперёд, навалившись на край стола. — Будет повторный суд? Уже решено?

— Именно. Вездесущий Скворцов доложил. По секрету, разумеется.

— И вы поверили? Может, хочет покрасоваться? Мол, знаю первым то, что вам не ведомо?

— Нет, он никогда не говорит о том, в чём не уверен. Хитрая бестия. Знает, завтра в газетах появится, что он доложил. И будирует дело, разумеется, Кони.

Иван Иванович откинулся от стола, дав официанту поставить на стол графинчик с ликёром и сладкое к чаю.

— Да, дело Алабина может громыхнуть, как дело Засулич, к примеру. Конечно, Кони тут как тут. Вот вы вспомните: приходит образованная, из порядочной семьи девушка на приём к градоначальнику. Никто и подумать не может о её ужасном умысле. А она достаёт из сумочки револьвер и стреляет в генерала. Слава Богу, выстрел-то оказался не в грудь, в бедро Трепову. А ведь могла и убить! И что же? Положим, генерал переборщил, приказав розги, но разве за это положено тебя ставить под пистолет? Но Кони выставляет дело так ловко и демократически, что Засулич оправдана! Это, мол, смелая месть тупому градоначальнику, который унизил народолюбца! Народ ликует, тупая власть наказана! И сразу как-то забыли, что этот же самый тупой генерал сделал для столицы — и Александровский сад открыл, и освещение на улицах, и водопровод. А заводы какие при его участии открылись! Не напоминает ли вам нечто похожее у нас в Самаре? Давайте выпьем, Николай Сергеевич, чтобы память наша не была так коротка. И чтобы прекрасные речи прокуроров не мчались бы по России, как кони, как эти тройки, неизвестно куда несущиеся, после речей этих кони!

Николай улыбнулся каламбурю Теплякова, выпил.

— Всё верно, Иван Иванович. Только Кони-то прав, вот в чём дело. Этот Боголюбов всего-то не снял шапку перед градоначальником. А его за это розгами!

— Позвольте, — Иван Иванович тоже выпил, вытер губы салфеткой. — Не поверю, чтобы Боголюбов не дерзил Трепову, не говорил что-то очень обидное для генерала. Если бы дело касалось только снятия шапки, не мог он отдать приказание выпороть человека! Ну сами подумайте, Николай Сергеевич! Генерал-то умный, заслуженный человек! Не Скалозуб! Воевал, послужил России и на войне, и в мирной жизни! Ну можно ли ради красного словца и так называемых передовых идей выставить градоначальника идиотом? А преступницу, стрелявшую в генерала, выставить героиней! Вот увидите, и нашего Алабина он выставит вором. А про его заслуги если и скажет, то мимоходом.

Николай налил ещё по одной и грустно заметил:

— Не нравится мне этот шартрёз. Слишком сладкий. Может, коньячку?

— Отчего же нет? Да, Николай Егорович, сложен человек, не спорю. Но трудно поверить, чтобы Алабин, прошедший че-

тыре войны, бывший городским головой у нас, губернатором в Софии, где его почитают и сегодня как героя, про честь свою забыл! Чтобы он обжулил народ, подсунул ему зерно, которым можно только травить людей, а не накормить во время голода.

— Коньячку нам, пожалуйста, — сказал Николай подошедшему официанту. — И закуски, что ли...

— Есть по случаю праздника селянка. Расстегайчики превосходные.

— И то, и другое.

Официант ушёл, Николай пригладил волосы, которые трепал свежий ветер, посмотрел на Ивана Ивановича с некоторым раздражением.

— Мне тоже не хочется верить, что Алабин брал взятку. Но почему он согласился купить самый низкий сорт зерна? Почему не проверил, какое оно пришло из Одессы, когда ему доложили, что зерно гнилое? Сказано: не гонялся бы ты поп за дешевизною!

— Всё так, но...

— ...даже когда из Дубового Умёта крестьяне к нему пришли, как он поступил? Ему же показали, что из этой так называемой пшеницы получается не хлеб, а замазка. Что люди травятся, умирают даже, если едят этот хлеб. А он что сделал? А? Молчите?

— Вы же не даёте мне сказать, мой дорогой друг, — строго заметил Тепляков.

Когда лицо Теплякова становилось вот таким строгим, как сейчас, шрам особенно замечался и придавал виду Ивана Ивановича выражение некоторой даже утрюмости, совсем не свойственной его натуре.

— А что тут говорить, всё яснее ясного, — и Николай наполнил рюмки принесённым коньяком. — У Кони козырные карты в руках. Сами подумайте: царь выделяет голодающим после засухи 6 миллионов 604 тысячи 875 рублей на закупку зерна. Глава Земской губернской управы, господин Алабин, поручает заключить сделку с торговой фирмой купцу первой гильдии Антону Шихобалову. Тот через своего верного напарника Алексея Шадрина находит хлеботорговую фирму Дрейфуса в Одессе и закупает зерно самого низкого сорта, поскольку ему было так велено: накормить надо как можно больше людей. Кто больше

жульничает, пользуясь таким разрешением, продавец или покупатель, или те и другие вместе — неизвестно. Известно, что вагоны идут слишком медленно, так, что вмешивается сам Альфред Альфредович Вейндрих — главный начальствующий над движением поездов. В результате в Самаре приходит тухлое зерно пополам неизвестно с чем. Его принимают! Вместо того чтобы доложить о грубом нарушении сделки! И отправить эти вагоны обратно! Возникает главный вопрос: почему Алабин так поступил? — Николай сделал театральную паузу. И лишь потом заключил: — Вот и вся история про шесть миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят пять рублей, которые дал государь император своим подданным, чтобы победить голод.

Николай говорил слишком быстро и твёрдо и глядел на Ивана Ивановича снисходительно. Тот откашлялся, как обычно, прежде чем ответить оппоненту. Эту привычку Теплякова Николай хорошо знал.

— Однако, дорогой Николай Сергеевич, сумму вы хорошо запомнили.

— Да, запомнил.

— И фамилии все тоже запомнили.

— Да. Знаю и фамилию приёмщика вагонов. Это некто Морев. Он и сообщил, каков прибыл товар.

— Интересно, а кто был посредником у этого Шадрина?

— В Одессе? От фирмы «Дрейфус и Ко» — Вайнштейн. Но какое теперь это имеет значение?

— Сейчас узнаете, Николай Сергеевич. Давайте поцведаем¹ коньяк. Ага, вот и селянка.

Иван Иванович выпил, с аппетитом стал закусывать.

Пока не закончил селянку, не проронил ни слова. Потом, приложив салфетку ко рту, удовлетворённо вздохнул и как бы невзначай заметил:

— Судя по тому, что вы, Николай Егорович, так хорошо запомнили все цифры и все фамилии, вы собираетесь писать об этом хлебном деле, не так ли?

— Если и так, то что?

— Я вам говорил, Николай Егорович, что в нашем деле главное не отличиться, как, например, Кони, который, я вижу, вам нравится, а сказать правду, ибо в ней Бог. Но какая же тут прав-

¹ Попробуем (разг.).

да, если вы не разобрались, где же, собственно, произошла подмена, ловкое мошенничество? Тот крючок, на который попался Пётр Владимирович?

— Почему вы считаете, что я не разобрался?

— Вы согласны, что Алабин не мог действовать ради денег, взятки?

— Факты, увы, ведут к этому выводу.

— А Шихобалов? Построивший на свои деньги четыре храма, больницу, старнноприимный дом, богадельню и так далее? Самый почётный из всех купцов-хлебопромышленников в Самаре! Мог он жульничать? Мог обмануть свой народ голодающий, из которого сам вышел?

— Я же сказал вам, что факты...

— Да какие там факты, Николай Сергеевич! Сами подумайте, Шихобалов для сделки выбирал самого надёжного человека, Шадрина, так?

— Так. Доверяй, но проверяй! А он? Неужели не проверил?

— А почему — нет, Николай Сергеевич? Вот вы во всём доверяете, например, лучшему другу? Всегда?

— Ну, смотря, о чём идёт речь...

— И не только «о чём», сколько «о ком». А почему не вспомнить о посредниках? Кто они? С одной стороны — Шадрин, с другой — представитель фирмы Дрейфус и К^о — Вайнштейн, как вы сказали. Предположим, как размышляют эти двое. Возьмём Шадрина. Его задача — купить зерна побольше. Возьмём Вайнштейна. Его задача — продать зерно качеством похуже. Тем более Шадрин согласен на зерно пятого сорта. А в пятый сорт можно подмешать чего угодно. И незаметно, так? Может контролировать Вайнштейна Шадрин? Нет! Потому как вагонов-то с этим зерном сколько? Вы посчитали? Может он на проверку дать специально отобранные мешки? И потом... Получается выгода у продавца? А то как же! Иначе хозяева будут его работой недовольны. Значит, вспомним цицероновское: кому это выгодно? К фирме Дрейфус и Ко придраться нельзя, даже преступно, ведь дело лейтенанта Дрейфуса прогремело по всей Европе! А глава солидной фирмы Луи Дрейфус — тоже из этого клана. Не будем же мы уподобляться гонителям невинных евреев! Так?

Иван Иванович тоже сделал театральную паузу, копируя молодого друга.

— Вижу, что теперь вы задумались. Мы же не отсталые тупые русские, как генерал Трепов. Мы прогрессисты, мы за передовые идеи! Значит, дело заключается только в мошенничестве Шадрина, который и пошёл на несправедливую сделку. С ведома Алабина и Шихобалова. Вот как, примерно, будет резюмировать прогрессист Кони. И, конечно, скажет, что первое решение суда в неумелости Петра Владимировича несостоятельно. Ведь он многоопытный администратор! Выходит, он поступил так, как должен поступить человек, который прячет концы в воду. Поэтому и не забил в колокола. Вот и решайте сами, господа присяжные заседатели, кто истинный виновник в этом хлебном деле. Только ли Шадрин, отправленный на каторгу, или же тот, кто должен был контролировать ход сделки от самого начала и до её конца?

Иван Иванович исподлобья смотрел на Николая, наблюдая, как тот реагирует на его слова.

— Такова и ваша логика, Николай Сергеевич. И вижу, что она полностью совпадает с логикой прекрасного судейского оратора Анатолия Фёдоровича Кони.

Николай уже пожалел, что пошёл на эту прогулку с Тепляковым. Тем более ещё не проведаль свою подружку Надежду, хотя обещал.

С трудом сдерживая раздражение, он сказал:

— В Дубовом Умёте умирают крестьяне, и это непреложный факт. И сразу не забил в колокола, как вы выразились, именно Пётр Владимирович. Это тоже факт. Каковы тут мотивы его поведения, решит суд.

Он торопливо наполнил рюмки коньяком, показывая этим, что пора заканчивать не только застолье, но и прогулку.

Иван Иванович видел это.

— Ваша разоблачительная статья уже готова, Николай Сергеевич? Вы решили, где её поместить? В Москве или Петербурге?

Тепляков видел, что его собеседник нервно крутит бокал под его немигающим взглядом. Он вздохнул, перевёл взгляд на лестницу, которая шла по откосу к Волге. Там, внизу, устроили лодочную станцию. Можно взять лодку и покататься по реке. Течение здесь не столь быстрое, можно выгresti вверх по реке, а потом плавно плыть вниз. Это куда как приятней, чем толко-

вать о судебных делах даже с умным молодым другом, который столь подвержен веяниям времени.

Солнышко светило совсем по-летнему. Хорошо был виден створ Жигулёвских ворот, там, где горы с двух берегов ближе всего подходили друг к другу. Они покрыты лесом, преимущественно хвойным, с вкраплением лиственных деревьев — ясеней, дубов, берёз. Скоро и эти деревья покроются листвой, и наступит чудо обновления, чудо вечного пробуждения всего живого после зимы. Как прекрасен этот мир, и как же нелепо, грязно живут около этой вечной красоты люди со своими дразгами, судами, подлогами, воровством.

Как проще было раньше! Из-за вот этих утёсов вылетали струги, с ушкуйниками, разбойным людом, налетали на купеческие расшивы, подняв свои сабли, выставив вперёд пики и угрожающе крича:

— Жиг, жиг!

Вот и всё, сдавались купцы, отдавали добро, только просили оставить им жизнь да немного товара, чтобы было на что поторговать. Тогда и ушкуйникам будет новая пожива. И никакой тебе психологии, судов. А если хватали разбойников, то перед казнью они всенародно просили прощения, каялись, склонив голову.

Так думал Иван Иванович, глядя то на Жигули, то на Волгу, то на помрачневшего Николая.

— Почему наши горы названы Жигулями, как думаете, Николай Сергеевич? Здесь добывали древесный уголь, жгли деревья? Поэтому? Или потому, что разбойники кричали «жиг, жиг», нападая на купеческие суда?

— Второй вариант более подходящий, — ответил Николай. — Однако пора идти, Иван Иванович.

— Да-да, пора. Мне ещё надо визит нанести родне. Да и вам тоже.

Как всегда, поспорили, кто будет расплачиваться. Николай оказался проворней и потому успел опередить Ивана Ивановича, присочинив, что получил денег от матери из деревни, где она проживала в собственном небольшом имении.

Расстались холодно и торопливо.

Глава третья. Варвара Алабина. Варенька Безобразова

Самара, апрель 1896 года. Брянск, март 1842 года

В доме ещё все спали, а она уже встала. Окна её спальни уже осветились, пока ещё мягко, матово, но и в темноте она бы безошибочно нашла всё, что нужно. В доме она может по памяти найти любую вещь или даже малый предмет, вроде какой-нибудь щётки.

Неслышно она вышла из дома через дверь, ведущую во двор. По саду прошла к оранжерее, где выращивала цветы разных видов в немалом количестве и почти круглый год. Цветы шли к праздникам, для родни и друзей, и по заказам, на продажу. В Самаре знали, что Алабины разводят цветы даже редких сортов: Пётр Владимирович ко всем своим многочисленным талантам и увлечениям прибавил ещё и цветоводство. Варвара Васильевна и тут оказалась ему надёжным помощником. В цветущем сейчас были гиацинты и нарциссы — белые, светло-жёлтые, фиолетовые, розовые, в специальных ящичках, заботливо выращенные с осени по особой методе. Она осторожно срезала цветы на длинных стеблях, составив тот самый букет, который готовился как раз к Пасхе. Она любила запах гиацинтов — терпкий и одновременно нежный, говорящий о пробудившейся жизни. Где-то она вычитала, что этот цветок, поражающий разнообразной цветовой гаммой, с древних времён выражал стремление побывать на небесах.

Потому и выращивала гиацинты именно к Пасхе.

Составив букет, она умело и быстро завернула его в приготовленную заранее бумагу, вышла из оранжереи и направилась к выходу из дома.

К монастырю она шла пешком, наискосок через Соборную площадь, замечая, что дворники уже принялись за своё привычное утреннее дело. Становилось всё светлее, выглянуло солнышко, окрасив золочёный купол стройной колокольни монастыря, которая высилась за площадью, ближе к Волге. У каменной арки ворот монастыря привратник почтительно снял картуз и поклонился:

— С праздником, Варвара Васильевна.

Она ответила на приветствие и направилась к фамильному склепу Алабиных, установленному на монастырском кладбище, где упокоились два её сына и две дочери.

Скорбящий ангел в головах надгробья, где лежит Елена, старшая её дочь, ушедшая так неожиданно и скоротечно. Муж увёз её лечиться в Ниццу, но и Лазурный берег Франции не помог.

Елена была и хороша собой, и умна, и мать любила её, пожалуй, больше всех из восьми своих детей. Скорбела о Лене так же сильно, как и о Вареньке, скончавшейся в два годика. Варенька умерла в Вятке, где Пётр Владимирович служил градоначальником после того, как вышел из военной службы. Варенька покойся не здесь, но придел в склепе устроен в память о великомученице Варваре и святой царице Елене.

Здесь и ей лежать рядом с сыном Иваном, дочерью Ольгой.

Она налила воды в беломраморную вазу, поставила в неё гиацинты, встала на колени, перекрестилась.

Сын Василий лежит в Ямболе, в болгарской земле похоронена и дочь Мария, вышедшая замуж за офицера. Сейчас она молилась за всех своих детей, которых пережила, как это ни покажется удивительным. Да, сыновья пошли по отцовской линии, выбрав воинский путь, сражались, когда приходило время войны. Но ведь и она делила с мужем тяготы войны, была и в Кишинёве, и в осаждённом Севастополе, где воевал тогда её супруг, её любовь, её жизнь и судьба. Они не погибли от пуль, не пострадали во время смертоносных обстрелов осаждённого города, видели не одну смерть в лицо, а вот сейчас муж может умереть от клеветы, бесчестящей его. Может быть, ей придётся хоронить и его, вот здесь, в семейной усыпальнице. Не приведи, Господи! Лучше упокоиться вместе — как было бы хорошо.

«Впрочем о чём это я? — подумала она. — Стала заговариваться. Как Господь управит, так пусть и будет».

Она встала с колен и вышла из усыпальницы.

По аллеям, устроенным меж цветников и садовых деревьев, уже шли люди к главному храму монастыря во имя иконы Иверской Божьей Матери.

Престольный праздник выпадает на вторник светлой седмицы, и Варвара Васильевна, сколько помнит себя, никогда не пропускала праздничную службу. Здесь не так величаво, как в соборе, гораздо скромнее убранство храма во имя иконы, которая является покровительницей южных пределов России. Но здесь Варвара Васильевна более всего обретала молитвенный настрой.

Дело, наверное, заключалось в том, что с монастырём связаны и самые радостные, и самые скорбные дни её жизни вот уже тридцать лет.

И потому здесь всё родное, близкое.

Её место вот здесь, пред иконой Иверской. Она зажгла свечу и поставила её в напольный подсвечник, и перекрестилась.

По щеке Пречистой стекает тоненькая струйка крови: это воин богоборец ударил по иконе копьём. По иконе побежала кровь, и воин замер, не веря своим глазам. Бросил копье и в ужасе выбежал из дома христианки. Предание говорит, что воин с той минуты обрёл веру и принял мученическую смерть за Христа.

Чтобы сохранить чудотворный образ Препоблагод, благочестивая христианка пустила его по морю, и монах Гавриил из Иверии, нынешней Грузии, увидев сияние в море, обрёл образ, принес его в монастырь, стоящий на берегу святой горы Афон.

Потому и монастырь, и сама икона Богородицы названа Иверской. Список с чудотворной сделали по заказу самарских паломников на Афоне. Образ Всеблагой называют ещё Вратарницей, потому что она открывает врата не только на Святую Гору, находясь в монастыре у кромки моря. Но и открывает и райские двери — всем, кто молится перед ней, кто верен Христу и Ей даже до смерти. Кто готов претерпеть любые страдания, как тот воин-богоборец, взявший в сердце Христа и не отрёкшийся от Него перед казнью.

«И я готова умереть за Тебя, Пречистая и Препоблагая, — молилась Варвара Васильевна. — Ты ведь знаешь, что он не виновен, что он никогда не крал, всегда был верен чести, всегда! Неужто оставить своё имя потомкам как вору и казнокраду? Ведь не вынесет он такого позора! Не вынесет, знаю я его! Да и Ты знаешь, Препоблагая! Вымоли его, молю Тебя, молю!»

Как сквозь сон, доносились до неё и пение хора, и басок диакона, читающего из Апостола, и высокий тенорок отца Серафима, духовника обители, возглашающего радость встречи Христа Воскресшего.

Варвара Васильевна находилась в храме, но в то же время и вне его — в мире, который существует в состоянии, когда реальность словно уходит, оставляя место лишь для Той, к кому обращена молитва.

Это бывало с ней в высшие моменты напряжения духовных сил, когда она теряла детей или чувствовала сердцем, что мужу грозит смерть.

А ведь когда встретились, показался он ей обыкновенным офицером младших чинов. Да, был он прапорщиком или унтер-офицером... Впрочем это одно и то же по сути дела. Вот только его глаза...

Синие, да, именно синие, она тогда сразу запомнила их.

...Шла тогда весна сорок второго года. В родном Брянске. Господи, как же давно это было. Давно — нет, только вчера...

Варвара — дочь Василия Безобразова, дворянина старинного рода, одного из самых знатных в Брянске.

Пётра Алабина в те дни зачислили прапорщиком в камчатский егерский полк, который квартировал в Брянске. На балу у губернатора он оказался благодаря своему полковому товарищу Николаю Гридневу, славному юноше, взявшему Петра под свою опеку. Гриднев уже ходил в поручиках, службу нёс легко и с удовольствием. С Петром его свела дружба отцов, которые знакомствовались ещё с Рязани.

И вот на этом балу Пётр подошёл к барышне, совершенно не зная, кто она такая. Она просто понравилась ему всем своим видом — и лицом, и нарядом, и тем, как что-то весело говорила стоящей рядом с ней даме.

Когда Пётр пригласил её на тур вальса, эта такая милая стройная девушка с удивлением посмотрела на незнакомца нижнего чина, которого прежде никогда не видела. У незнакомца было открытое лицо, синие глаза и прямой нос. Роста он невысокого, но смотрел твёрдо, без всякого смущения, всем видом показывая, что не допускает ни малейшей возможности, что ему откажут на приглашение.

Варвара чуть кивнула и несколько виновато посмотрела на даму, с которой только что говорила: мол, извините, что тут подлаешь, нельзя же обижать молодого офицера.

А офицерик очень хорошо вальсировал, смотря Варваре прямо в глаза, да так твёрдо, что она сказала, когда вальс отзвучал:

— Как вы, однако, на меня смотрите. Я ведь вас первый раз вижу.

— И я вас тоже первый раз вижу. То есть нет, я вас, конечно, же видел. Да, видел.

— Где же?

— Вы не поверите, но видел... Я и сам сейчас припоминаю, где именно...

Она намеревалась вернуться к даме, с которой разговаривала, это была губернаторша: неловко оставаться с каким-то унтер-офицером, да ещё неизвестно почему оказавшимся на этом балу. Но его взгляд остановил её.

— Так где же вы меня видели? — чуть насмешливо улыбаясь, спросила она.

— Не припомню сейчас. Но видел, и очень рад, что наконец разговариваю с вами, — он всё не спускал с неё своих синих глаз. — У вас такое лицо, что его невозможно забыть. Поэтому я и говорю, что видел вас.

— Да где же? — уже без улыбки спросила она требовательно, как будто бы очень важно было выяснить, где именно он видел её.

Тут подошёл Николай Гриднев, щелкнул каблуками, поклонился.

— Рад приветствовать вас, Варвара Васильевна. Вижу, вы уже познакомились с моим полковым товарищем?

И, обратив внимание на её вопросительный взгляд, сказал:

— Пётр Алабин, прошу любить и жаловать. Вместе квартируем, как в молодости наши отцы, тоже полковые товарищи.

— Так, — она кивнула, словно опомнившись. — Ну что ж, рада знакомству. Приходите к нам. Мы принимаем по вторникам.

— Благодарю, — только и успел сказать Пётр, прежде чем она ушла.

Николай увёл Петра в буфетную, на ходу говоря:

— Ты хоть знаешь, с кем разговаривал? Это же Варя Безобразова, дочка самого именитого дворянина в Брянске. Говорят, гордячка ужасная. Так что выбору твоему удивлён и озадачен. Но приглашением обязательно воспользуемся!

И он засмеялся, довольный. Скоро поход. Перед выступлением надо получить от жизни все радости, которые, может, испытываешь в последний раз.

Мать Варвары конечно же навела справки, кто этот прапорщик, который придёт к ним в дом. Фамилия Гридневых извест-

на, а вот про Алабиных, рязанских помещиков, в Брянске не очень-то знали.

Молодого прапорщика вежливо, но всё же стали расспрашивать: как же он оказался на военной службе?

Сидели в гостиной, пили чай. Манеры у офицеров оказались достаточно хорошими, так что мать Вари слегка успокоилась.

Вопрос её не смутил гостя.

Он выпрямился в кресле, поставил чашку на столик и ответил:

— Видите ли, история это несколько необычная. Она может показаться вам не очень-то хорошей для моей характеристики. Но раз вы просите, извольте. Дело в том, что я мечтал о военной службе, чтобы продолжить дело моего рода. Дед мой, Антон Алабин, суворовский офицер. И участник кампании 812 года. Отец также военный. Отмечен орденами за храбрость. Но папенька проштрафился. Женился по любви! И вопреки воле родителей, — он чуть грустно, и в то же время не теряя достоинства, улыбнулся. — По любви к эмигрантке — француженке. Из бедных, разумеется.

Он поднял голову и прямо посмотрел на мать Вари, наблюдая, какое впечатление произведёт сказанное. Но лицо маменьки, сухое и строгое, не выразило ничего. Похоже, эти сведения она уже получила.

— Кроме как в коммерческое училище, меня устроить никуда не удалось. Но я не сдавался — просто решил, что цель жизни — впереди. И поэтому учился отлично, хотя многие предметы были мне не по душе... Но вот узнаю, — продолжал он тем же спокойным, твёрдым тоном, — что к нам приезжает сам государь. Я понял, что это мой шанс, может быть, единственный. Я решил подать прошение прямо в руки государю.

— Да как же это? — лицо маменьки стало ещё строже и удивлённей. — Прямо так — к государю? Без уведомления начальства?

— Без уведомления. Потому как начальство подать прошение о зачислении на военную службу мне никогда бы не позволило.

— Как же вы подошли к императору? — продолжала допытываться маменька.

Варя с уже нескрываемым любопытством смотрела на гостя, видя, как его синие глаза темнеют и взгляд их становится всё твёрже.

— Всё происходило так. Я знал, что государь и свита будут идти по главному коридору училища. Зашёл в один из классов на этом этаже. Прощение заранее приготовил. Стал ждать. Слышу, шаги приближаются. Когда они стали близко, я открыл дверь и вышел навстречу государю. Они, как я и ожидал, от неожиданности остановились. Слова я приготовил, чётко всё говорю и подаю бумагу. Коротко кланяюсь. Стою, вытянувшись в струнку. Государь смотрит на меня, говорит: «Хорошо, ваше прощение будет рассмотрено». И идёт дальше, и все идут за ним.

— А вы? — почему-то тихо спросила Варя.

— Я остался ждать. Товарищи по училищу говорят: «Всё, пропал ты, Алабин. Ты не видел, как на тебя директор смотрел». А я видел. Директор не смотрел, он готов был испепелить меня взглядом. Ночью я не мог уснуть. А наутро меня вызывает директор. И ледяным тоном говорит: «Хоть вы и поступили в нарушение всех правил приличия, но государь над вами смиростивился. Просьбу вашу удовлетворил». Вот так я и стал военным.

Маменька улыбнулась рассеянной улыбкой.

А Варя смотрела на Петра теперь уже совсем по-другому, чем прежде. Если на балу он показался ей слишком уж уверенным в себе молодым человеком, то теперь его уверенность больше походила на смелость, даже отчаянность в достижении цели, перед которой ничто его не остановит.

— А вы знаете, — нарушил паузу Гриднев, — мне достоверно известно, что государю понравился поступок Петра. Он расценил его как твёрдое желание Петра послужить отечеству как раз на военном поприще. Тем более и дед, и отец проявили себя на войнах геройски.

— Да, они действительно были храбрыми офицерами. И мне хочется быть достойным их.

Когда они уходили из особняка Безобразовых, который находился в самом центре Брянска, Варя спросила его:

— Так, может быть, вспомнили, где вы меня видели?

— Вспоминал, — быстро ответил он. — Именно такое лицо, как ваше, мне и представлялось... в мечтах. Когда я думал о том, кто будет спутницей моей жизни. Ваше лицо, знаете, какое?

Она быстро взглянула на него, а потом отвела глаза.

— Родное — так бы я сказал. Да-да, именно родное.

— Вы... зачем так говорите? — резко сказала она. — Это ведь слишком.

— А я не умею иначе. И потом... У меня больше времени нет. Уходим завтра в поход. И если я вернусь живым... Я приду к вам. Вы... меня будете ждать?

— Я ничего вам обещать не могу.

— Но писать вам разрешите?

— Пишите.

И он ушёл, с надеждой, что она его дожждётся. И она действительно дождалась его, когда он вернулся уже в чине поручика. Но потом опять ушёл в поход, и опять она его ждала, читая его чудесные письма, в которых он всё больше и больше раскрывался перед ней.

Да, именно письма его так понравились ей, что она стала ждать их. И скоро призналась себе, что его письма — это чуть ли не главные события в её жизни.

Во-первых, она поняла, что круг его интересов так широк, что ей приходится гнаться за ним, чтобы чувствовать себя равней ему. Ведь приходилось отвечать — она делала это с расстановкой, чтобы он не возомнил Бог весть чего. Вот и пришлось углублять свои знания по истории, географии, литературе. И даже по зоологии и ботанике, потому что он присылал ей засушенные цветы и из Валахии, и из Украины, и из других мест, куда полк уходил в походы. И описывал всё так, что она видела ещё и его писательский дар, особенно когда дело касалось природы тех мест, где ему довелось побывать.

И когда он возвращался из походов, и каждый раз приходил к ней, она уже ждала встреч с ним. Конечно, приходилось объясняться с маменькой. Она говорила, что ей просто интересно с этим офицером, таким начитанным и рассудительным. Убеждала маменьку, что ничего другого здесь быть не может. Но маменька-то всё видела в ином свете. А отец семейства имел серьёзный разговор с молодым человеком, который год от году мужал, да и проявлял себя в походах с самой лучшей стороны. Так отозвался о Петре Алабине полковник, с которым Василий Безобразов как-то перемолвился в Дворянском собрании после обеда за картами.

Но дело заключалось не столько в родителях, сколько в самой Вареньке. Многим женихам она отказала, а выбор свой сделала, предпочтя выгодным партиям этого бедного, зато бо-

гатого душой храброго офицера. Она поняла, что он ей назначен Богом, что он ей муж, а она ему жена.

Согласие она дала в сорок девятом, когда полк уходил в поход подавлять мятеж в незнакомую Венгрию. Неизвестно, как там всё сложится. Придётся воевать с восставшими, а это всегда тяжело: тебя будут воспринимать как поработителя, а не как освободителя.

Но она почему-то твёрдо знала, что он вернётся.

И горячо молилась перед образом Пречистой.

Он вернулся, и она согласилась быть его женой.

Это произошло через семь лет после их знакомства.

...Служба завершилась.

Варвара Васильевна знала, что обязательно будет праздничная трапеза, на которой обычно она присутствовала с мужем. И когда подошла к хозяйке, матушке Антонине, предупреждая её вопрос, сказала:

— Болен Пётр Владимирович.

Матушка кивнула, взяла Варвару Владимировну за локоть:

— Идёмте ко мне. Поговорим.

Глава четвёртая. Пётр и Варвара Алабины

Самара, апрель 1896 года. Севастополь, лето 1855 года

Лежать в постели он не стал, хотя и обещал Варваре. Да и сидеть дома не хотелось — пробовал писать, но перо не брало разбег, так и осталось стоять на чистом листе бумаги. Пробовал читать, но не знал, что именно выбрать. Перебирал книги в шкафу, но так ни на одной книге не остановился. Вспомнил, что давно собирался оставить у себя только самые нужные книги, а остальные отнести в библиотеку, потому как дома читателей не осталось: сын Василий, корнет, скончался в Болгарии, где остался служить после окончания войны. А два года назад не стало сына Ивана. Сыновья — офицеры, достойные наследники боевой славы Алабиных. Ими он всегда гордился. Иван дослужился до чина подполковника, герой, не раз отмеченный наградами за безупречную службу и храбрость на войне.

Дочь Ольга — в мать, умная и серьёзная с девичества, любительница чтения и помощница во всех научных его трудах. Она ушла из жизни в тот же год, что и Иван.

И после этого удивляться, что у него болит сердце! Это ведь самые сильные удары, которые он получал в жизни. Они по-сильнее теперешнего...

Или — нет?

Что дороже — честь или смерть любимых детей?

Да как тут сравнивать!

«А всё же не знал, что нынешний удар окажется таким сильным», — подумал он.

Мысли перескакивали с одного на другое.

Опять подумал о детях. Из восьми в живых остались только младший Андрей да дочь Александра. Они предпочитают книги иного рода, чем у него в шкафу. Всё больше романы и прочее о современной жизни. А он таких книг не держит, кроме графа Толстого, которого полюбил ещё с «Севастопольских рассказов», и с той поры стал следить за тем, что пишет этот писатель, который, как и он, сражался на Крымской войне. Есть ещё «Москвитянин», «Русская беседа» со стихами и статьями Ивана Сергеевича Аксакова, которого из всех Аксаковых он особенно полюбил. Познакомился с ним через Григория Сергеевича, который был губернатором в Самаре в шестидесятых годах, когда он, Пётр Алабин, только что был переведён сюда из Вятки, где градоначальствовал.

Вот «Дневник писателя» Фёдора Михайловича Достоевского: его выписала Варвара Васильевна специально, чтобы оформить годовую подписку и для городской библиотеки в Самаре, и к ним на дом.

В который раз, как сейчас, когда Пётр Владимирович начнёт перебирать книги и журналы в шкафу, намереваясь решительно почистить свою библиотеку, всё сведётся к тому, что каждую книжку, повертев в руках, а то и начав читать, он ставит на место. Книги, да и журналы не то чтобы жалко отдавать. Но почти с каждой связаны какие-то важные воспоминания, а то и события, с которыми не так-то легко расстаться.

Да, «Севастопольские рассказы» оставить дома. Это дорогое...

И сразу вспомнилось не про войну, не про смерть, которая ходила рядом, а про то, что не написано ни у одного писателя, даже у Толстого.

...Севастополь тогда истекал кровью защитников, которые не сдавались, сколько бы их ни обстреливали то англичане, то французы, сколько бы ни лезли они на их редуты, пуская вперёд турок.

Комната, в которой собирались офицеры, находилась в здании, которое уже попадало под обстрел. Пётр Владимирович служил при штабе, начальство которого теперь находилось в более безопасном месте. А здесь можно и заняться делами, и просто отдохнуть. Но с недавнего времени снаряды стали рваться то справа, то слева, норовя угодить в самый дом. Вот в ту минуту, когда гроыхнуло совсем рядом и посыпалась с потолка и стен штукатурка, вдруг растворилась дверь, и на пороге появилась молодая женщина в дорожной накидке, в шляпке, с саквояжем в руках. Отряхиваясь от пыли и извёстки, она отыскиала глазами мужа среди офицеров, стоящих у стола, и сказала:

— Наконец-то!

Вестовой, стоящий позади неё, развёл руками: мол, видите, что я тут могу поделать.

Пётр Владимирович писал донесение о недавнем бое и теперешнем положении полка и никак не думал, что женское восклицание относится к нему. Но голос показался вроде бы знакомым, и он поднял голову от донесения.

В комнате изрядно накурено, и не сказать, чтобы чисто, поскольку здесь не бывало особ женского пола.

Появление Варвары произвело некоторое даже шокирующее впечатление.

— Ты как тут? — только и мог вымолвить Пётр Владимирович, узнав жену.

— Да так вот. Собралась и поехала, — ответила она, смотря то на мужа, то на офицеров, сидевших за столом, рядом с ним.

Обратилась к капитану Никитину, определив, что он старший по званию среди тех, кто находился здесь:

— Ваше благородие, определите меня в лазарет. Я медицинские курсы окончила. Вот свидетельство,— и она полезла в сак, доставая ридикюль и открывая его.

И ридикюль, и сам облик молодой женщины, такой решительный и милый в своих действиях, настолько контрастировали с этой штабной комнатой, взрывами снарядов и всей обста-

новкой войны, что капитан Никитин, много чего повидавший не только на этой войне, смущённо ответил:

— Дак ведь это не в моей компетенции. И я, право, не знаю...

Пётр Владимирович пришёл в себя и подошёл к Варваре:

— Идём, я покажу куда,— сказал Алабин, а сослуживцам пояснил: — Это моя жена, господа.

И Варваре:

— Почему не предупредила? Не написала?

— А зачем? Разве бы ты разрешил?

Поручик Нефёдов, ловкий молодой человек, любивший подшучивать над товарищами к месту и не к месту, хохотнул:

— А вот это метко замечено! Алабин у нас педант и не привычен к таким вензелям. И вы совершенно правильно поступили... как изволите вас величать? — и выпрямился по стойке смирно, поклонившись Варваре.

Она назвалась, и Нефёдов тут же взял её руку, и не поцеловал, и пожал, как полковому товарищу:

— Рад вас приветствовать, Варвара Васильевна. С поступлением в наш стрелковый полк. От имени всего офицерского состава.

— Рано поздравлять,— сердито сказал Алабин. — Идём, — и увёл за собой жену.

Комната, в которой располагался Пётр Владимирович, находилась в этом же доме. Сначала он привёл её туда, чтобы оставить там её вещи. Потом повёл к генерал-майору Павлову, у которого служил адъютантом, потом представил доктору, начальнику госпиталя. Доктор новую помощницу принял охотно, но сразу предупредил, что придётся несладко: много раненых, много оторванных рук и ног, пулевых и осколочных ранений.

— Я подготовилась, — ответила она. — По крайней мере, в обмороки падать не буду.

— Вот и славно, — разговаривать дальше не оставалось времени, потому что опять принесли раненых.

Алабину удалось разместить жену в той же комнате, где он квартировал. Сослуживец перебрался в общую казарму: никак нельзя было отказать полковому товарищу, к которому через всю Россию добралась на перекладных жена. Ради такой женщины можно не только терпеть неудобства, но можно и жизнью пожертвовать, если понадобится. Тем более что жизнь здесь, на войне, не особо-то и сбережешь.

Поздно вечером, когда наконец остались вдвоём, он смог обнять и поцеловать её.

— Я знал, что ты смелая, — сказал он. — И всё же не мог предположить, что ты решишься на такой шаг.

— Я и сама не знала. Дома переполох. И детки. Ванечка уже совсем большой, четыре годика, всё понимает. Леночке три, но и она смышлёная, всё про тебя знает.

— Здоровы?

— Слава Богу.

— Варя, знаешь... Может, повидались, и будет... Может, через денёк-другой обратно?

— Да что ты говоришь! Я же курсы кончала. Я тоже хочу послужить Родине.

— Варя, тут очень опасно. Могут убить.

— Я твёрдо решила.

— А дети?

— Дети с мамой.

— Варенька, но ведь меня могут убить. Это же война.

Она повернулась к нему лицом, крепко прижалась.

— Если тебя убьют, то мне незачем жить. Я решила умереть вместе с тобой.

...Да, так она и сказала.

И эти слова он пронёс через всю свою жизнь.

Вспомнил о них и сейчас, когда держал в руках книжку журнала «Современник», где были напечатаны первые «Севастопольские рассказы» артиллерийского поручика Льва Толстого.

Глава пятая. Варвара Алабина и матушка Антонина

Самара, апрель 1896 года, лето 1876 года

Всякий раз, когда Варвара Васильевна бывает в кабинете у матушки, невольно отмечает, как здесь уютно и благодатно. В красном углу большая икона Иверской — список с Афонской, привезённой в Самару, делал Николай Симakov. И другие иконы — Николая Угодника, святого Антония, основателя русского монашества, небесного покровителя матушки, висающие по обе стороны Богородицы, тоже письма этого же художника. Однажды придя в монастырь, когда возникло общее дело, Николай Евстафьевич стал писать и иконы, причём весьма высокого уровня.

Матушка, как обычно, усадила Варвару Васильевну на мягкий стул, стоящий сбоку от её рабочего стола, ближе к стене, а сама уселась рядом, на такой же стул: это место и стулья предназначались для доверительных разговоров.

У матушки Антонины лицо грубо скроено: лоб невелик, скулы остры от рождения, глаза маленькие и неопределённого цвета, нос слишком велик для её востренького лица. Но только стоит заговорить с ней или увидеть её не за бытовыми заботами, а за молитвенным стоянием, особенно за Божественной литургией, когда поётся «Херувимская» или «Милость мира», как лицо матушки преображается. Иначе выглядят глаза: с блеском слезы они явственно становятся тёмно-карими, на щеках выступает румянец, и нос вроде бы становится таким, каким и должно ему быть на этом лице. И весь облик матушки Антонины, молитвой преображённый, теперь кажется возвышенным и даже по-своему красивым.

И во время разговоров, которые касаются жизни души или вообще предметов духовных, лицо матушки как бы округляется, острые от рождения черты смягчаются: это доброта её натуры всё изменяет — не только лицо, но и движения её, и посадку головы, и саму речь.

Эти качества матушки Варвара Васильевна давно знает и потому любит её, и разговоры с ней почитает за благодать.

— Знаю, знаю, отчего ты печалишься, — матушка кивнула своей келейнице Иоанне, и та сразу поняла, что надо нести чай и праздничное угощение. — Но только вот чего тебе скажу: разве мирской суд должен так сильно бить по душе? Мало ли что они там наговорят! Совесть-то у него чиста, кто же в этом сомневается? Вспомни-ка: после суда что было? Не ему ли икону Спаса Нерукотворного от всего самарского общества поднесли? Кто такой чести удостаивался? А образ-то какой! А вспомни, что говорили, когда образ преподносили. Да и без того вся Самара знает, что Пётр Владимирович для города сделал. А мы разве забыли, что у нас-то самих было?

Иоанна, проворная, умеющая выполнять и хозяйские дела, и даже мужские работы, когда в этом была необходимость, готовая за матушку хоть в огонь, хоть в воду, уже разлила по чашкам чай, принесла куличики, пасхальные яйца и сладости.

— Всё так, матушка. Да ведь он привык прежде всего самого себя винить. Уже сколько раз говорили об этом. А он всё своё: «Не надо было на подрядчика всю работу валить, самому проверить».

— Да как же тут «всё проверить»? В каждый мешок, что ли, лезть? Да если б он и захотел, всё одно — не успел бы. Попробуй наши-то куличики. Сама знаешь, они у нас какие.

Варвара Васильевна угостилась куличиком, запила чаем — с особенной, монастырской заваркой, из жигулёвских пахучих трав.

— Не знаю, матушка, как его в чувство привести, — сказала она.

— Будто бы! Кто же, кроме тебя, знает? Разве что Господь да Пресвятая Богородица.

Она повернулась в сторону Иверской и перекрестилась на образ.

Пили чай молча несколько минут, потом матушка неторопливо начала, что-то обдумав:

— Я вот вспомнила сейчас, как вы ко мне пришли с предложением о знамени. Вдвоём... Тогда ещё не украшенные сединой... Это ведь было в восемьдесят пятом... Знаешь, почему вспомнила? Потому что глянула на Иверскую и вспомнила, как ты образ вышивала. На знамени. Да что я говорю, разве такие дела забываются? — она встрепелась, лицо её озарила улыбка. Улыбалась матушка славно, лицо её добрело. — Сама подумай: надо его от тяжёлых мыслей устранить. Пусть подумает о хороших делах.

Варвара Васильевна с недоумением посмотрела на матушку.

— Да он меня выгонит прочь, если я ни с того, ни с сего о хороших делах его заговорю. Да хоть бы и про знамя.

— А ты заговори так, чтобы это по делу вышло, а не так, будто утешаешь. Подумай, как к нему подойти.

— Да как? Будто не думала...

— Плохо, значит, думала. Подумай ещё. Помолись. Господь надоумит. Да и себя-то береги. Помни, уныние — грех.

Варвара Васильевна кивнула.

Поговорили ещё, но уже не о столь существенном.

Матушка проводила её до двери кабинета. Остановилась, обняла:

— Иди, тебе теперь надо рядом с ним быть. Кланяйся от меня. Скажи, что молимся о нём.

— Спаси, Господи, матушка.

Пока она шла к своему дому, через площадь, всё пыталась решить, как же выполнить совет матушки.

Но так ничего и не решила.

А когда вошла в его кабинет и увидела мужа сидящим перед раскрытыми створками книжного шкафа, сказала привычное:

— Читаешь?

— Да так... просматриваю.

— Матушка Антонина тебе кланяется. Сказала, что молится о тебе.

— Благодарю. Надо бы и мне с тобой пойти. Да всё как-то... Теперь вот есть чем свою лень оправдать.

— Перестань.

Она подошла к нему, заглянула в раскрытые страницы журнала с «Севастопольскими рассказами». Её лицо оказалось рядом, и он увидел тонкие морщинки-лучики в окончании глаз, морщинки и на лбу, чуть припудренные, маленький прямой нос. Она глянула на него светло-голубыми, как будто промытыми осенней свежестью, глазами и тихо улыбнулась:

— И я вспоминала сегодня об этой войне. Когда молилась о детях.

Он грустно улыбнулся:

— Я хотел об этом написать... Вспомнить всё по порядку... Да не хватило... нет, не времени, а писать после него... неудобно как-то, — он показал глазами на страницу журнала.

— Да не в этом дело, — возразила она. — Таких, как он, вообще нет. Он один такой, ты же сам говорил. Ты написал по-другому — рассказал о военных походах как боевой офицер. Без всяких там художеств.

— Да, так. А знаешь, Варя, иногда хотелось именно художественное написать. Да не дал Господь таланта.

— Значит, ты к другому был предназначен. И своё предназначение выполнил.

— Ты так думаешь? — он строго и серьёзно смотрел ей прямо в глаза.

— Да, Петя, думаю только так, — она прижалась к его груди. — Что бы там они ни решили... Если даже тебя сошлют, я буду рядом с тобой, как и раньше.

— Я знаю, — он обнял её, успокаивая не столько её, как себя, боясь расчувствоваться. — Любовь — это для романа. Пусть го-

сподин Тургенев об этом пишет. А мне вспоминается другое... Знамя, например. Я вот сегодня вспоминал, с чего всё началось... Ведь это ты первая мысль подала? Ведь ты?

— Я.

Он закрыл дверки шкафа, из морёного дуба, с резьбой, со стеклянными окошками:

— Умная твоя головушка... В самом деле, я тебе не лъщу. Ведь если припоминать... всё в подробностях...

— Ну, не такая уж я умная. Но всё же советы тебе иногда давала неплохие.

— Про знамя придумала как раз ты. А почему, интересно?

— Не знаю. Наверное, потому что все обсуждали тогда славянский вопрос.

— Это так. Но всё же... Как же это началось?

— Тогда такое было время. Всем нам хотелось что-то такое сделать... О зверствах османов только и говорили. Как будто бы это нас резали и жгли. Помнишь?

— Ещё бы! Меня тогда Григорий Сергеевич Аксаков с братом Иваном познакомил. Вот был человек!

— Да, мы вместе читали его статьи. И вот тогда я придумала... Почему эта мысль пришла мне в голову, даже не знаю...

— Но я её сразу подхватил!

Да, так и было.

Всё прояснилось на одном из вечеров у генеральши Кудряшовой. Хорошо запомнилось, что Василий Петрович Терентьев, один из видных самарских помещиков, довольно известный губернский деятель, в своём имении поставивший дело на английский манер, заспорил с тогда ещё молодым литератором Иваном Ивановичем Тепляковым. Спор тогда вышел как раз из-за предложения Алабина, который завёл разговор о знамени у генеральши.

Уже стало известно, что мысль Варвары Васильевны поддержала матушка Антонина, одобрил и преосвященный епископ Герасим, с которым Пётр Владимирович успел переговорить. Теперь нужна была поддержка губернатора. Его-то и ждали у Кудряшовой, где обсуждались самые горячие вопросы и создавалось мнение, которое зачастую и принималось местной властью.

В гостиную, обставленную дорогой мягкой мебелью, быстрой походкой вошёл Илья Трофимович Скворцов, секретарь губернатора и, приложившись к ручке генеральши, торопливо сказал:

— Скоро будет, не извольте беспокоиться, Анна Викторовна. Сейчас закончит неотложные дела и сразу к вам.

Он обвёл глазами собравшихся, словно только что их увидел, раскланиваясь со всеми сразу и в то же время некоторых выделяя особо почтительным кивком.

Скворцов относился к так называемым новым молодым людям, с той хваткой, которая была несвойственна прежним русским людям, теперь считавшимся отставшими от времени. Он приехал из Петербурга, то ли уже закончил, то ли оканчивал университетский курс. Принят был губернатором по протекции влиятельной особы. В Самаре о нём говорили как о молодом человеке, подающем большие надежды, и что в провинции он долго не задержится по причине своих выдающихся способностей.

Заметив, что в гостиной установилось молчание, и что лица некоторых из присутствующих как будто выражают недовольство его появлением, Скворцов обратился к генеральше и ко всем сразу:

— Я помешал? Прошу простить, если так.

— Нет, вы как раз кстати, — быстро и громко ответил Терентьев.

Появление Скворцова действительно прервало его спор с Тепляковым. Собственно, даже не сам спор возбудил и даже ввёл в раздражение Василия Петровича, сколько ответы молодого литератора, показавшиеся ему не только несостоятельными, но и дерзкими.

— Вот вы скажите, ведь вы тоже из нового поколения, — обратился Терентьев к Скворцову. — Вы тоже считаете, как и господин литератор, — он указал на Теплякова, — что у России, дескать, особое предназначение, и что нам нечего кивать на Европу и тем более учиться у неё? Ведь вывод из ваших рассуждений следует именно такой?

— Да, в основном такой, — сказал Тепляков, не дожидаясь ответа Скворцова.

— Что значит «в основном»? А в частности?

— В основном — значит, в нравственном смысле. А в частности — пожалуйста, действуйте, как вам угодно. Нравится заводить ливрейных лакеев — пожалуйста. Пить кофий по утрам — тоже пожалуйста. Только крестьян не учите по-аглицки трудиться и креститься.

— Да? Я вот из Англии машину выписал, так у меня вдвое больше прибыли стало, потому как и людей на обмолоте меньше использую, и муки больше получаю. Это что — не основное?

— Не основное.

— А вы, Илья Трофимович, как считаете?

— Я с вами совершенно согласен, Василий Петрович. Отчего передовое и прогрессивное не перенимать? Отчего же этому не учиться? Вы... Иван Петрович, кажется?

— Иван Иванович, — поправил Тепляков.

— Простите великодушно, запямятовал. Тем более вы подписываете свои сочинения лишь именем, отчество не принято писать, — Иван Тепляков, — он слегка улыбнулся, показывая молодые крепкие зубы. Он носил усы — коротко стриженные, аккуратную бородку. Всегда безукоризненно одет, подтянут, всем своим видом показывая, что он на государственной службе, Скворцов несколько снисходительно и даже покровительственно относился к литераторам, да ещё и театрам, с их повязанными бантами, излишне большими, как у Теплякова, с излишне длинными волосами и такими же излишне категоричными суждениями.

— Вы, Иван Иванович, видимо, заражены нынче модными славянскими идеями, — продолжил он. — В них, конечно, нет ничего плохого, если не прибегать к крайностям. Как господин Аксаков, например.

— Выходит, и вам Иван Сергеевич плох?

— Я не сказал, что он плох, а лишь выразил мысль, что он порой впадает в крайности.

И в это время дверь отворилась, и лакей доложил:

— Его превосходительство губернатор.

Вошел Пётр Алексеевич Бильбасов, осанистый, без брюшка, свойственного мужчинам его возраста за пятьдесят, с прямой офицерской спиной, пышными усами и широкими бакенбардами а-ля Франц Иосиф, когда подбородок выбрит, а бакенбарды соединены с усами.

Пётр Алексеевич в Самаре начал служить в то время, когда взаимоотношения прежнего губернатора Фёдора Дмитриевича Климова с местным земством достигли такого накала, что надлежало принимать срочные меры. Пётр Алексеевич как вице-губернатор сначала держал нейтралитет, но затем склонился на сторону земских: Климову никак не удавалось унять в губернии народовольцев, и всю вину он возлагал именно на земскую управу, тогда как представители земства винили губернатора за недостаточную решительность.

Пётр Алексеевич как раз и проявил решительность в своих действиях, и волнения крестьянства в губернии улеглись. Впрочем поговаривали, что тут не обошлось и без карьерных соображений, но, как известно, кто же не винит государственных мужей в соображениях подобного рода. Все признали за Бильбасовым именно решительность в действиях: знали, что именно он проявил её в начале своей карьеры, служа в министерстве внутренних дел. Там случился пожар, и вот тогда молодой чиновник не только спас множество важных документов, но и после пожара сумел довольно быстро рассортировать их и привести в порядок.

— Ну что ж, господа, — начал Бильбасов. — Мне стало известно, что ваша идея, Пётр Владимирович, встречена благожелательно. Более того — есть и горячие сторонники этого дела.

Он оглядел присутствующих и сразу отметил, как улыбнулся Алабин, не скрывая своей радости, и как тоже улыбнулся, но совсем другой улыбкой, Терентьев.

— Я говорил о знамени у нас в Управе. И среди думских уже стало известно о наших планах, — сказал Алабин. — И вот какая особенность, Пётр Алексеевич. Всюду слышу только одобрение. И даже некоторую радость нашей мысли о Знамени.

— Как же тут не радоваться, дорогой Пётр Владимирович, — вступила в разговор Анна Викторовна. — Может ли быть что-нибудь благороднее такого высокого устремления, как помощь страдающему братскому народу. Ведь теперь всем стало известно, что болгары терпят не только унижения, но ещё и испытывают зверства со стороны турок.

Анна Викторовна говорила несколько высокопарно, но по-другому не умела. Ей это прощалось, потому что она была молода, хороша собой, принимала у себя не только высоких губернских начальников, но и всех, кто становился известен

своими талантами в Самаре. К тому же достаточно умна, хотя больше по-книжному, романному. Но и в житейской сметке ей тоже отказать было нельзя, потому что уже больше года как овдовела, но не торопилась замуж, выбирала будущего мужа с разбором. Благо, претендентов на её руку и сердце достаточно.

— Конечно, тут дело именно в порыве, как вы верно заметили, — тут же подхватил Илья Скворцов, одушевляясь. Его продолговатое лицо с узкими бакенбардами, в концах выбритыми наискось, под углом, с холёными чёрными усами, с модной причёской из густых чёрных волос, обратилось к Анне Викторовне с несколько даже ласковой одобрительностью. — Но этот порыв надо поддержать реальными делами...

— Я обдумывал, что следует предпринять, — сказал Алабин. Густой чубчик уже седеющих волос чуть касался высокого лба, голубые глаза смотрели на губернатора пристально, не мигая. — Я подумал, что можно обратиться в Славянский комитет, к Ивану Сергеевичу Аксакову, с которым имею честь быть знакомым. Он должен нас поддержать и поможет наше письмо передать дальше, в военное министерство.

— Письмо? — переспросил Бильбасов.

— Да, Пётр Алексеевич. Я тут набросал... проект. Посмотрите. Он достал из кармана сюртука подготовленное письмо, которое написал накануне и обсудил с женой, и протянул его Бильбасову.

Губернатор, не ожидавший такого оборота дела, несколько удивлённо глянул на Алабина.

— Здесь... уместно ли...

— Отчего же, отчего же, — воскликнула Анна Викторовна. — Очень даже уместно! Ведь дело-то общественное! И здесь собрались как раз те, кто может высказаться по данному вопросу с полной компетенцией.

— Однако я вижу, у вас всё подготовлено...

— Ни о каком письме я не знал, — угрюмо сказал Терентьев, изогнув капризные губы.

— Да и я тоже, — поспешил заявить Илья Скворцов.

— Ну так что же, что не знали, — парировала Анна Викторовна. — Теперь узнаете. Пётр Алексеевич, позвольте Петру Владимировичу огласить письмо. Всем будет крайне интересно. И полезно.

— Да я разве против, — Бильбасов вернул письмо Алабину. — Дело действительно общественное. Читайте, Пётр Алексеевич.

Алабин развернул письмо и прочёл:

«Многоуважаемый Иван Сергеевич! Обращаемся к Вам как председателю Славянского комитета от имени сограждан Самары. В дни, когда чаша терпения многострадального болгарского народа переполнена и он поднялся на борьбу против поработителей, видя, какие неисчислимые страдания он несёт, мы не можем остаться в стороне от этой борьбы...»

Все слушали с особым вниманием, особенно Ефим Трофимович Кожевников, городской голова, доселе молчавший. Пока шли общие слова о страданиях болгарского народа и прочие патриотические сентенции, уже достаточно много раз повторяемые, лицо его, крупной лепки, скуластое, с круглыми острыми глазами, выражало некоторое нетерпение: когда же, собственно, начнётся изложение существа дела.

Но вот Алабин, которого Кожевников знал как исключительного делового человека, проявившего свои именно деловые и полезные способности сразу, как только появился в Самаре, прочёл, что в городе создан отряд в 40 человек и отправлен воевать на Балканы, что собрано 12 тысяч рублей, двести пар сапог, полторы тысячи башлыков, двести шинелей, двести шестнадцать полушубков, много продуктов.

По мере чтения письма лицо Кожевникова всё более оживлялось, глаза как будто увеличивались и одобрительно блестя: не подвёл и в этот раз Алабин, с которым они обсуждали мысль о Знамени.

Вид Кожевников имел купеческий — борода прямая, длинная, без всяких там современных изысков, стрижка короткая, волосы откинута со лба назад. Одевался он вроде бы в современное платье, но и пиджак, и брюки, заправленные в сапоги, выдавали именно купца. Ефим Тимофеевич окончил юридический факультет Петербургского университета, в делах проявлял ум и образованность, которые никак нельзя было предположить по его внешнему виду.

— Уже 500 лет, как у болгар нет своей государственности и главного его символа — Знамени. Мы берём на себя смелость исправить это положение, создав Знамя, выражающее наши общие Веру, Надежду, Любовь, — закончил читать Алабин.

— И дерзаем также доставить это Знамя в ополчение, которое укрепит дух сражающегося народа, — поддержал Кожевников.

Пётр Владимирович выжидательно посмотрел на губернатора. Бильбасов подошёл к Алабину и пожал ему руку.

— Всё хорошо, тут и поправлять ничего не надобно. У вас замечательный слог, Пётр Владимирович.

И неожиданно обратился к Теплякову:

— Не так ли, Иван Иванович?

Тепляков, не зная, радоваться ли тому или огорчаться, что губернатор помнит его по имени-отчеству в отличие от своего секретаря, не смутился, однако, и ответил сразу, что чувствовал:

— Согласен, всё верно выражено и даже достаточно сильно. Остаётся только порадоваться, что Самара выйдет благодаря вот такому действию из разряда купеческих в города, где патриотические идеи оказываются посильнее хлебных или рыбных, — он глянул на Терентьева, как бы заканчивая с ним давешний спор. — Не хлебом единым жив человек. Не так ли, Василий Петрович?

Но и Терентьев не хотел сдаваться, потому что разговор шёл при губернаторе. Но даже не в этом таилось скрытое от посторонних глаз, но только не от глаз Анны Викторовны, соперничество этих господ — многоопытного Василия Петровича и молодого, но такого умного и смелого человека, как Иван Иванович. Правда несколько подражает Лермонтову, хотя и носит не мундир, а сюртук.

— Верно, не хлебом единым. Однако, господин литератор, не забудем и то, с чего мы начинаем каждый день, обращаясь к Отцу нашему небесному: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Это прошу заметить. Что же касаясь письма, Пётр Владимирович, то если мне позволено будет заметить, скажу, что написано весьма... И я рад, что вы упомянули и про деньги, и про сапоги, башлыки и полушубки. Ибо в лаптях и романтических штиблетишках не очень-то повоюешь... Вы это, Пётр Владимирович, как военный человек хорошо знаете.

И он обдал холодным взглядом Теплякова, показывая этим, что спор выигран и более он продолжать пикироваться не намерен.

— Чудесно, чудесно, дорогой Пётр Владимирович, — Анна Викторовна почувствовала, что ей пора вмешаться в этот види-

мый лишь посвящённым не только спор, сколько соперничество её поклонников. — И про нашу Самару верно Иван Иванович заметил, не правда ли, Пётр Алексеевич?

— Конечно, — Бильбасову тоже нравилась Анна Викторовна, ибо такие женщины, с их волжской красотой, жгучими, продолговатыми татарскими глазами на смугловатом, чуть скуластом лице, с прямыми плечами и небольшой грудью, приоткрытой так, чтобы подчеркнуть женственность и чувственностью натуры, как раз и нравились Петру Алексеевичу. Тем более его жена была полной противоположностью Анне Викторовне. Он женился на слишком полной не по годам дочке бывшего губернатора Самары не то чтобы по расчёту, но и не по любви, а так, потому что она была молодой и цветущей девицей на выданье. К тому же за ней давалась и приличная деревня в Бугурусланском уезде. Так отчего бы и не жениться Петру Алексеевичу? Вот и женился, и всё сложилось как нельзя лучше: жена оказалась добрая и хозяйственная. Вот только её формы казались Петру Алексеевичу слишком уж объёмистыми, и он вздыхал, когда она много и аппетитно ела, останавливаясь и глуповато кокетничая, замечая осуждающий взгляд мужа.

— Однако надо продумать, как будет выглядеть знамя. Пожалуй, тут стоит обратиться к кому-нибудь из столичных академиков.

— Нет, не надо, — возразил Алабин. — Моя Варвара Васильевна уже постаралась. В монастыре, у матушки Антонины, как вы знаете, прекрасные золотошвеи. Они предлагают свои услуги. И этим надобно непременно воспользоваться.

— Хорошо, но ведь нужен проект... Эскиз, так, кажется, у художников называется подготовительная работа.

— Я бы мог предложить кандидатуру, — сказал Тепляков. — Знаю одного художника, с петербургским академическим образованием. Достаточно талантлив.

— Кто таков?

— Николай Симаков. Если позволите, я вам его представлю.

— Вот что, Пётр Владимирович, — заключил губернатор. — Я думаю, возглавить эту работу надобно вам. Не возражаете? Ефим Трофимович вас поддержит и поможет во всём, я уверен. И я поддержку окажу, когда потребуется. Да, господа, дело может получиться замечательное.

— Конечно, Пётр Алексеевич, — Анна Викторовна улыбнулась, сверкнули её белые зубы, мелкозатые, острые, но несколько не портившие её улыбку.

Однако Тепляков увидел в этой улыбке ещё что-то особенное, может быть, даже хищное.

Это впечатление длилось лишь миг.

«Просто она довольна тем, что такой разговор состоялся именно у неё», — решил Тепляков.

Глава шестая. Начало пути

Самара, Аннаевские дачи, осень 1876 года

С художником Николаем Симаковым Тепляков в годы своей молодости познакомился в редакции газеты. Так как оба учились в столице, между ними сразу установились отношения, которые свойственны людям того круга, который роднит и несколько возвышает над людьми провинции. И хотя оба считались местными жителями, учёба в Петербурге выделала их из окружающих.

Об Иване Теплякове надо сказать особо. Потому как он был выслан из столицы за участие в одном из кружков, настроенных не то чтобы революционно, но скорее критически по отношению к власти. Иван не состоял членом, а только раз или два присутствовал на заседаниях кружка, и это его и спасло от сурового наказания. Посчитали, что попал он по молодости под влияние неблагонадёжно настроенных людей, которые и были наказаны, как тому и следует, Сибирью. А с Иваном ограничилось высылкой его из столицы к родителям в Самару.

Николай, как и Иван, был купеческого рода, с юных лет проявил способности к рисованию, и потому родители сначала определили его к хорошему учителю, который занимался с ним особо и подготовил к поступлению в академию художеств.

Договорились, что как только у Николая будет готов эскиз, он покажет его Ивану. И вот встретились, зашли в кофейню, недавно открытую на Дворянской, неподалёку от церкви во имя иконы Казанской Божьей Матери, или попросту Казанской, как называли её в городе.

Расположились у высокого окна, за столиком, покрытым белой накрахмаленной скатертью, и Николай развернул перед Иваном листы с эскизами будущего знамени.

— Полотнище будет представлять наш российский триколор, — сказал Николай. — Посредине — крест. В центре креста я предлагаю изобразить фигуры святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян. Тогда станет понятно, почему русские дарят знамя болгарам.

— Да-да, — живо подхватил Иван, — это ты замечательно придумал. — А с другой стороны что?

— Точно такой же крест. Только вот в центре его я предлагаю Спаса Нерукотворного, а матушка не очень-то согласна. Представь, она то и дело возражают мне. И должен тебе сказать, что частенько я не могу ей возразить.

— Боишься?

— Нет. Дело в том, что я и не думал, что золотошвейное ремесло окажется таким сложным. Казалось, что вышивка она и есть вышивка, не более того. А оказывается, надо разобраться, как золотые нити крепить: каждый материал требует особого подхода. Как эскиз переносить на полотно — тут, брат, целая наука. Не буду тебя утомлять подробностями, но скажу, что вот здесь, в центре, нужно изображение Иверской Богородицы. Ведь монахини берутся вышивать. И ещё она говорит, что Иверская — это символ Самары. А по бокам креста нужны орнаменты — я, признаться, и не подумал об этом...

— Да, дело серьёзное, — сказал Иван, чтобы что-то сказать, и посмотрел в высокое окно. На мостовой, у тротуара, остановилась изящная коляска. В ней сидела Анна Викторовна. В широкополой шляпе, в кружевной накидке светло-жёлтого цвета, в длинном платье, которое она подобрала ладонью, выходя из коляски, Анна Викторовна напрямиком направилась к дверям кофейни.

Сердце Теплякова метнулось.

Между тем Анна Викторовна сразу обнаружила молодых людей. Скрыла удивление, что Иван вместе с приятелем. Улыбаясь, подошла к их столику.

Иван и Николай встали.

— Что это? — спросила она. — А, догадываюсь. Обсуждаете?

— Да вот, случайно встретились, — словно оправдываясь, сказал Николай. — Я шёл из Иверского, от матушки. Смотрю, Иван... Присаживайтесь.

Она села, придерживая рукой листы на столе.

— Можно посмотреть? О, как красиво! А это что? — она рассматривала лист, где в центре креста были изображены святые Кирилл и Мефодий.

Симаков пояснил, затем сказал и о вариантах изображения на оборотной стороне знамени.

Тепляков сидел за столиком так, что лицо Анны Викторовны было видно ему не только прямо, но и отражённым на зеркальной поверхности противоположной стены, так замечательно украсившей кофейную. В зеркале Анна Викторовна отражалась в профиль, и её обликом, как будто вычерченным по стеклу, можно было любоваться в те моменты, когда прямой взгляд в её лицо мог бы показаться слишком нескромным.

«Боже мой, ведь она купеческая дочь,— думал Тепляков. — Откуда же в ней такое изящество, грация? Ведь она не ездила не то что в Париж, в Петербурге-то бывала наездом. И замужество оказалось таким коротким и несчастным. Должна быть печальной и суровой, а расцвела ещё больше. И когда я перестану бесконечно думать о ней, предполагать всякие там разности своим дурацким воображением! Надо раз и навсегда понять, что она как вот в этих зеркалах, только отражение, только мечта...»

— Что же вы молчите, Иван Иванович? — она прямо посмотрела на него. — Ваше-то какое мнение?

Тепляков словно очнулся.

— Я за то, чтобы... Богородицу...

И внезапно понял, почему матушка Антонина предложила вышить на знамени именно Богородицу.

— Знаете, почему матушка предложила здесь поместить Иверскую? Не потому, что монахини будут вышивать. Я сейчас понял, почему она так решили. Глядя на вас, Анна Викторовна. Нет, не удивляйтесь моим фантазиям. Это вовсе и не фантазии...

— Я вас не совсем понимаю, Иван Иванович, — растерянно улыбаясь, сказала Анна Викторовна. — Объясните.

— Сейчас, — Иван встрепенулся, лица его как будто коснулся какой-то внутренний свет. А может быть, это солнышко отразилось от зеркал новомодной кофейни.

— Ведь если мы с вами верим, что у каждого из нас есть душа, а это действительно так, Анна Викторовна, то я и подумал, глядя на вас, что все наши души живут, невольно соприкасаясь друг с другом. И образуют одну единую душу в каждом

городе, в каждом селении, верно? И вот я подумал: а где же в нашей Самаре живёт душа города? Ведь она есть, вы согласны?

— Довольно странная мысль, скорее поэтическая, — сказал Николай, дружески глядя на Ивана. — Но для тебя это характерно.

Николай свернул трубкой листы, им принесли кофе в маленьких хрупких чашечках, печенье в вазочке такого же, как и чашки, расписного фаянса. Всё чинно, благородно. Совсем не похоже на прежнюю Самару с её трактирами.

— Так что же из вашей поэтической мысли следует? — спросила Анна Викторовна.

— Следует, что душа нашей Самары живёт в Иверском монастыре. Вот что я подумал! Не в каком-нибудь соборе, самом что ни на есть величавом, а именно в монастыре! Там молитва слышней. Ведь она не умолкает и нигде с такой сильной верой не произносится. И потому на Знамени должна быть именно Богородица. Именно Иверская. Понимаешь, Коля?

— Не знаю... Никак не думал, что ты такой... верующий.

— Да что ты, — отмахнулся Иван. — Какой я верующий. Просто иногда могу иногда подумать, что все мы... как бы это сказать проще... под покровом Её, Матери Божьей... и свет Её иногда падает и на нас. Вот и всё.

Он глянул на Анну Викторовну, и она выдержала этот прямой взгляд.

— Вы хорошо сказали, — Анна Викторовна взяла чашечку кофе, улыбнулась, решила переменить разговор. — И хорошо посидеть вот здесь... Всё же молодец Егор Никитич.

— Да, — согласился Иван. — И кирку вон какую отстроил — прямо загляденье.

Тепляков имел в виду неподалёку, здесь же, на Дворянской, выстроенную на деньги Егора Никитича Аннаева, купца первой гильдии, лютеранскую кирку.

— А вот это вы напрасно, — сказала Анна Викторовна, маленькими глоточками попивая кофий. — Вы будто не знаете, какая у Егора Никитича родня. Должен же он их уважить. А что касается для города, так он в каких только делах не участвовал. Возьмите хоть наши церкви, собор. Вот и дачи отстроил. Я слышала, что они теперь Аннаевскими называются.

— Именно так, — подхватил Симаков. — Но самому-то зачем было лютеранство принимать. Хотя родня... — Николай вздох-

нул. — Впрочем мы отклонились. Ваше мнение, Анна Викторовна? По знамени?

— Да, мне мысли нашего поэта очень понравилась, — она внимательно посмотрела на Теплякова, заметив, как он изменился в лице. — Что с вами, Иван Иванович?

— Да ничего... так...

На самом деле он побледнел, наверное, от переполнявших его чувств. С ним это иногда бывало. Но чтобы здесь, при ней...

По тому, как засуетилась Анна Викторовна, как подозвала официанта, приказав принеси холодной воды, как она смочила свой платок и приложила его ко лбу Ивана, Симаков понял, что дело здесь не только в заботе о здоровье друга.

Обратили внимание на поведение Анны Викторовны и Ивана и другие посетители кофейни, хорошо, что немногочисленные.

— Простите, — сказал Тепляков. — Это я мало спал в последнее время. Работал... ночами.

Она немного успокоилась, видя, что ему стало лучше.

— Фу, перепугали, — сказала она, несколько натянуто улыбаясь. — Вы так побледнели. Может, лекарство какое-нибудь вам принять?

— Да что вы, Анна Викторовна. Просто усталость.

Успокоились, допили кофе, и, когда уже собирались уходить, Анна Викторовна неожиданно предложила:

— А знаете что? У меня предложение. Коли вы, Иван, переутомились и вам требуется поправка здоровья, надо вам на свежий воздух. Мы говорили об аннаевских дачах, так там у нас сняты комнаты на лето. Правда ещё не устроены как следует, но разместиться и, главное, прогуляться можно прекрасно. Там такие виды! Едем?

У Симакова хватило такта, чтобы отказаться под предлогом занятости.

Иван шёл к коляске Кудряшовой и думал: «Играет в кошки-мышки? Успокаивает, как маленького мальчика? Как бы там ни было, всё равно поеду!»

День выдался славный. Тёплая осень уже вступила в свои права, и установилось то самое время года, которое так нравилось Теплякову. Воздух так свеж и чист, что его будто и нет совсем. С Волги вдогонку за коляской несётся ветерок, пахнущий спелыми плодами и прелыми листьями. Сразу за городской окраиной

начинаются дубовые рощи и дорога стелется между могучими деревьями, которые окружены подрастающим семейством. Как только возникают прогалины между дубами, тут же открывается вид на речной простор, и невольно приходится щурить глаза, потому что в лицо ударяют солнечные лучи. Вода серебрится под ними, и сейчас кажется, что тысячи монеток брошены по зеркалу воды. И уже нет городской пыли, духоты, запахов старых домов с обветшавшими стенами, и даже нечистот, которыми нет-нет да и пахнёт откуда-нибудь с запустелого двора.

А здесь только рощи вдоль крутого берега Волги, только чистый ветерок, только солнце и вода, только свежесть.

«И как она дополняет эту красоту, — думал Иван об Анне Викторовне, которую сейчас называл про себя только Анной. — Да и какая она «Викторовна» в двадцать один год! Её выдали замуж в семнадцать. Постаралась родня, водившая знакомство с Егором Никитичем. Он и свёл её с генералом».

Как именно это произошло, Тепляков не знал, да и не хотел знать.

Но предположение его было верным: именно Аннаев привёл Анну на бал к губернатору, благо, родственница была очень хороша.

Аннаев, вовсе и непохожий на купца, а скорее на солидного дворянина — и по обличью, и по манере держаться, как бы невзначай подвёл Анну к генералу Кудряшову, который приехал в Самару на лечение к доктору Постникову, открывшему под Самарой кумысолечебницу. Генерал в годах ещё не старых, богат, статен, да вот болен лёгкими. Ничего, подлечится, решил Егор Никитич, ведь по виду не скажешь, что он болен. Более того — привлекателен выправкой, столичным обхождением — чего ещё надо девице на выданье? Она хоть и двоюродная племянница, но и её надо устроить. Не дано знать, с какой стороны будет и самому удача — может быть, как раз этот генерал и поможет в каком-нибудь случае.

И всё сложилось как нельзя лучше. Аня не противилась, и ей вроде бы понравился генерал.

Вот только кумыс помог ему всего на четыре года.

— Что же вы молчите, Иван Иванович? — Анна посмотрела на его лицо, увидела, что на щеках выступил румянец, а в глазах появился блеск. — Я вижу, что вам гораздо лучше, верно?

— Да, я благодарен вам. Сам бы не выбрался. А как здесь хорошо! Как дышится сладко!

— А вы были на Вислом камне, где Егор Никитич дачу построил?

— Был... однажды. Место удивительное.

— Я люблю там бывать. Там думаешь о чём-то таком... необычном.

— Да? О чём же?

— Ну, например, о старых замках...

Она улыбнулась, и он улыбнулся.

— Рыцарских?

— Ну да. Например, я жду кого-то... А он в походе... Например, в Святую Землю уехал...

— Правда?

— Да! Это, конечно, романы. Начиталась! — она звонко рассмееялась. — И вот однажды мне причудилось, что будто бы он везёт мне какую-то драгоценность...

«Ты сама драгоценность, — чуть не сказал вслух Иван. — И ты это знаешь».

— Вам стихи надо писать, Анна Викторовна.

— Это по вашей части, Иван Иванович. Признавайтесь, что у вас уже целая тетрадка стихов написана. Угадала? Чур, говорить правду!

Она строго, но с улыбкой смотрела на него.

— От вас разве что утаишь, Анна Викторовна.

— Вот! — она даже хлопнула в ладони. — И сегодня вы мне будете стихи читать! Обещайте!

— Да разве вам можно в чём-то отказать?

«Ишшо бы! — подумал кучер Прохор. — Ей и сам губернатор не отказывает. Не по тебе красуля, барчук!»

Иван и сам думал так же, как Прохор. Но сейчас, когда она сидела рядом, когда ехали уже по дороге, выложенной булыжником, к даче Аннаева, когда всё веяло свежестью и красотой, чувствовал он себя вовсе не несчастным влюблённым. Наоборот, новые молодые силы влились в его сердце, и оно наполнилось любовью. И любовь его становилась всё шире, всё свободнее, и дышалось легко, и казалось странным, нелепым, что ещё совсем недавно ему было дурно от чувств к этой красавице, которая вот здесь, рядом, и кажется, что она тоже любит его.

Коляска подъехала к саду, закрытому коваными чугунными воротами. В глубине сада, за клумбой с фонтанчиком, стоял дом в два высоких этажа, с пристройками, с террасами, с мансардой.

К воротам уже шёл привратник, одетый по-европейски, немолодой, улыбатый, по экипажу узнававший всех, кто сюда приезжал. Анну он уже признал, но вот только с кем она, ещё не определил. У привратника были великолепные усы и бакенбарды — пышные, хорошо промытые и расчёсанные, как у столичных бар. Егор Никитич специально взял в услужение такого лакея, который был у него вроде мажордома — всех сразу определяя по своим местам и всем объясняя, что и как водится на даче Аннаева, какое тут полезное кумысолечение, и какие виды открываются с террас дома и с площадок возле него.

— Добро пожаловать, Анна Викторовна, — сказал мажордом, кланяясь и открывая ворота.

— Доброго здоровья, Никанор Степанович, — ответила Анна, подбирая юбку и сходя по ступенькам коляски. — Это Иван Иванович Тепляков, писатель. Ему приготовить одну комнату из наших, на втором этаже. А мне — мою, как обычно.

— Будет сделано, Анна Викторовна. Прогуляетесь или откусать, как разместитесь?

— Сначала прогуляемся. Идёмте, Иван Иванович. Умоетесь с дороги, а потом я поведу вас в одно место, которое вы не знаете. Вот откуда открывается настоящий вид на Жигули!

Никанор Степанович одобрительно улыбался, всем видом показывая, что Анна Викторовна действительно знает, откуда надо созерцать Волгу и Жигулёвские горы.

Теплякова привели в комнату — небольшую, чистую, светлую, с видом на Волгу, который открывался из окна. Умывшись, Иван спустился по лестнице в прихожую первого этажа дачи, где и стал поджидать Анну. Она пришла довольно быстро, повела его за собой по хорошо утрямбованной дорожке к Волге. Примерно в середине этой дорожки она свернула направо, уже по обрывистой тропе. Протянув руку Ивану, она, держась за его ладонь, стала пробираться сквозь мелколесье. Спускалась она боком, уверенно ставя ноги, обутые в зашнурованные ботинки на довольно высоких каблуках.

Иван крепко сжимал её ладонь в белой перчатке, видел её ботинки и старался как можно твёрже ступать на каменистую

тропу. Мелкие камешки сыпались из-под их ног попеременно с сухой глиной, ветви кустарника закрывали тропу, но Анна уверенно продвигалась вперёд, крепко держа руку Ивана.

Вот ветви раздвинулись, и они вышли на площадку, которая нависала на вершине утёса.

— Вот моё место, — сказала она, радостно глянув на Ивана. — Я думаю, что как раз здесь и есть Вислый камень.

Иван был здесь давно и словно впервые увидел, что открылось перед ним. Каменистая площадка выдавалась вперёд, нависая над Волгой. Деревья и кустарник оставались позади, а впереди открывался водный простор, серебристой гладью стелящийся к дальним темнеющим кругам, которые несли в себе что-то тайное, тревожное. Эти круги переходили в длинные полосы, уходя туда, к горам, которые замыкали громадное пространство воды. Лесистые горы отсюда выглядели тёмными, хотя уже были покрыты желтеющей листвой. Там, где берега сходились, образуя створ, названный Жигулёвскими вратами, сейчас лежала лёгкая, как вуаль, сизоватая дымка.

Вид открывался величавый, торжественный. И в то же время холодом и тайной веяло от реки, от крутых гор, сходящихся вдаль. А сам обрыв, на котором они стояли, был и могуч, и красив, и опасен.

— Хорошо, правда? — она подошла ближе к обрыву. — Я люблю высоту. А вы?

Он подошёл к ней, и непреодолимое желание обнять её смешалось с чувством тревоги и страха за неё: так она близко подошла к обрыву.

— Я боюсь за вас, — он преодолел робость и обнял её за талию. — Вы слишком смелы.

— А вы? — она повернула к нему лицо, и он увидел её глаза совсем близко. Оказывается, они были не только тёмными, коричневыми, а с зеленоватым отливом.

— У вас глаза зелёные.

— Как у кошки.

— Нет, я не то хотел сказать.

Она отстранилась от него, и камешки посыпались из-под её ботинок.

Он отпрянул назад, потащив её к себе и невольно крепко прижав.

— Да не упаду я, не бойся.

Не понимая, что делает, Иван крепче прижал её к себе, нашел её губы своими губами.

Поцелуй был как эта осень — свежим, пьянящим.

Она отстранилась от него, отошла от обрыва.

Минуту они молчали, и он уже подумал, что надо найти какие-то слова не то извинения, не то признания, как она повернулась лицом к нему и первая прервала молчание:

— Всё-таки я думала, что ты не решишься.

— Анна, я давно, уже очень давно, как только увидел тебя...

— Знаю, не надо ничего говорить. Давай лучше ещё посмотрим на Волгу, на горы. Вот мне казалось, когда я первый раз пришла сюда... что там, впереди... Что это Геракл раздвинул горы... и получился пролив! Забыла, как называется...

— Гибралтар, — он подошёл к ней и снова обнял, но она убрала его руки с талии.

— Да, так. Я читала... И знаешь, хочу поехать туда... посмотреть. И сравнить: где красивее, у них или у нас? А? А у тебя какая мечта? — неожиданно строго и прямо она посмотрела ему прямо в глаза.

— Да вот уж про Гибралтар я никогда и не думал.

— А о чём же? О славе, о том, что напишешь роман и станешь знаменит... Да?

— Нет, я не об этом... Хотя и об этом тоже. Но не слава главное, нет.

— А что?

— Ты сама знаешь что.

— Любовь?

Он кивнул.

— Если любишь, то можешь не только роман написать, но и горы раздвинуть, как Геракл.

— А о чём будет твой роман? Ты уже его пишешь?

— Нет. Любовь должна быть ответной.

— Ишь, какой хитрый, — она улыбнулась, засмеялась, и он опять увидел её белые острые зубки. — А ты стань знаменит, вот тогда и будет взаимность. А роман, — она протянула к нему руку и повела за собой вверх по тропе, — роман как раз и пишется, когда поэт страдает... Ну, ты же обещал почитать стихи. Слушаю!

— Подожди. Не могу же я читать на ходу.

— Можешь. Идём, уже прохладно стало.

Он остановился, оглянулся. И когда увидел волны, поднимающиеся от ветра, который дул резче, и темноту их, и прибрежные камни, отливающие чернотой, вспомнил «Лорелею» Гейне. Это стихотворение так ему понравилось, что он заучил его наизусть. Потому что сам переживал нечто подобное. А сейчас всё описанное немецким поэтом показалось ему как будто открывшимся въяве. Пусть она узнает про него, пусть...

*Бог весть, отчего так неожиданно
Тоска мне всю душу щемит,
И в памяти так неустанно
Старинная песня звучит? —*

начал он грустно, задумчиво.

Она остановилась, с волнением посмотрела на него.

Он продолжил:

*Прохладой и сумраком веет;
День выждал вечерней поры;
Рейн катится тихо, и рдеет,
Вся в искрах, вершина горы.*

*Взошла на утёсы крутые
И села девица-краса,
И чешет свои золотые,
Что солнечный луч, волоса.*

*Их чешет она, распевая, —
И гребень у ней золотой, —
А песня такая чудная,
Что нет и на свете другой.*

*И обмер рыбак запоздалый,
И, песню слышавши ту,
Забыл про подводные скалы
И смотрит туда — в высоту...*

*Мне кажется, так вот и канет
Челнок, ведь рыбак без ума,
Ведь песней призывною манит
Его Лорелея сама.*

Она смотрела на него пристальным, долгим взглядом. Потом пошла вперёд, раздвигая ветви.

Когда вышли на утрамбованную тропу, она остановилась, подождала Ивана.

— Это же не вы написали, — сказала она, и это «вы» сразу поставило его на место. — Это кто-то другой. Раз Рейн...

— Да, вы правы, — ответил он, подчеркнув, как и она, обращение на «вы». — Это немецкий поэт, Генрих Гейне. Вам понравилось?

— Нет, совсем не понравилось. Вот вы напишите... чтобы она ожидала рыбака... и побежала к нему...

— И чтобы всё кончилось хорошо?

— Да, чтобы всё кончилось хорошо. Идите, отдохните. А потом к ужину. Вы ведь останетесь ночевать?

Он сразу согласился, хотя и не думал оставаться на даче. Ничего не понимая, перебирая в памяти все её слова, всё то, что произошло и в кофейне, и на Вислом камне, он, совершенно растерянный, стоял у окна в чистой и светлой комнатке, смотря, как солнце уходит за лесистые горы.

Глава седьмая. Рождение знамени

Самара, осень, зима 1876 года

Матушка Антонина всё самое красивое увидела в церкви. Дом, где она выросла, хотя и зажиточный, купеческий, всё же оставался строгим, неласковым. Всё в нём было как-то слишком обыкновенно. И добротная мебель, вся тёмно-коричневая, и обои на стенах, хотя и посветлей, но тоже коричневые, и занавеси на окнах, тяжёлые, серые, схваченные посередине опоясками, тоже производили впечатление некоей холодности, хотя и были из дорогого бархата.

Когда её первый раз привели в храм, она даже рот открыла от удивления и радости, всю её охватившей. Охнула и, освободившись от руки матери, засеменила ножками к царским вратам, сияющим золотом и лазурью. Мать взяла её к заутрене, летом, накануне Троицыного дня, когда храм украшали берёзками, а полы устилали свежей зелёной травкой.

Народ только собирался, утренний ясный свет косо падал узкими снопами сквозь высокие окна на напольные паникадила, на малиновые и тёмно-синие лампы, висящие перед святы-

ми иконами, на иконостас, и дух чистоты и красоты навсегда вошёл в сердце девочки.

Ничто не могло сравниться вот с этим храмом, где всё сияло и будто пело о радости Божьего мира и о Ней, родившей Спасителя Мира.

И это ощущение свежести, сияния позолоты на образах, на витых колонках иконостаса, свет любви и святости самой девочка обрела здесь, в храме. И потому с детских лет думала о том, как бы поскорее уйти из родительского дома сюда, в монастырь.

Отец подумывал, как бы повыгодней выдать дочь замуж. Да где там! Пришлось смириться с тем, что дочь и слышать не хотела о замужестве, а каждое свободное от домашних дел время проводила в том самом монастырском храме, куда её впервые привела мать.

Лишь спустя годы отец понял, что молитвы дочери и помогли ему во всех его делах, во всей его жизни.

Настоятельница монастыря матушка Маргарита обратила внимание на молодую монахиню, усердную во всех послушаниях и молитве. Матушка завела в монастыре золотошвейную мастерскую. Видя, как Антонина тянется к этой работе и даже восхищается покровцами, воздухами, сделанными руками матушки Маргариты, игуменья стала обучать этому ремеслу и Антонину.

Начинали с самого простого — вышивки небольших платов, которыми покрываются богослужебные сосуды — потиры и диски. Эти платы и называются покровцами. Затем перешли к покровцам большего размера — воздухам. Матушка Маргарита показала своей ученице разные способы вышивки: сначала научила личной вышивке, то есть вышивке лика Спасителя, Богородицы или святых. Лица вышивали тонким шёлком разных оттенков песочного цвета, а одежду — золотыми и серебряными нитями, причём разными швами. Затем матушка показала, как делается объём на вышивке: под него подкладывается толстая льняная или хлопчатобумажная ткань, которая и придаёт рельефность изображению.

Пальцы у матушки Антонины вроде были большими и грубоватыми, но она научилась так управлять ими, что стежок ложился к стежку там, где и положено, — ровнѐхонько и красиво. Это было похоже и на её облик, и на характер: внешне грубый, а присмотришься — увидишь красоту и даже нежность души.

Матушка Маргарита скоро сделала Антонину казначеей, потому что увидела её сметливость и деловую хватку, унаследованную от отца. И в то же время продолжала передавать тонкости золотошвейного ремесла, которым её ученица с годами овладела в совершенстве, узнав особенности и сквозной вышивки гладью, и плоского шитья.

С годами матушка Антонина могла наносить на полотно орнаментальный узор или даже лик, что обычно делали знаменщики, то есть иконописцы. Они рисовали изображения на бумаге, а монахини потом переводили их на ткань. Могла делать и прописи, что обычно доверялось каллиграфам.

Дружба матушки Антонины с Варварой Васильевной Алабиной скрепилась ещё и их общей любовью к золотошвейному ремеслу. И когда Варвара Васильевна пришла в монастырь с предложением об изготовлении знамени, матушка обрадовалась и не могла скрыть этого. Сразу же принялись обсуждать, как должно выглядеть и полотнище, и изображение на нём, определив всё в самых общих чертах. Потом дождались прихода Николая Симакова, рекомендованного им в качестве художника, который изучал в Петербурге иконопись и церковное прикладное искусство.

И вот Симаков в очередной раз пришёл в монастырь с новым вариантом эскиза. Расстелил листы на столе. Теперь в центре креста было изображение Богородицы Иверской, а на обратной стороне — святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славян. В полный рост, с крестом, который соединяет их, поднимаясь над их головами.

Матушка Антонина, Варвара Васильевна и лучшие золотошвей монастыря столпились у стола, хорошо освещённого солнцем в просторной келье, служившей сёстрам мастерской. Здесь соблюдалась особенная чистота. Недаром такие комнаты назывались светелками, недаром в них занимались золотошвейным делом и царевны, и княгини, и другие знатные жёны русские с древних времён.

— Какие красивые орнаменты вы подобрали, Николай Евстафьевич, — сказала Варвара Васильевна. — Или сами придумали?

— Нет, эти арабески я зарисовал, когда учился в Академии. Они мне понравились изяществом рисунка. Я ведь изучал и прикладное искусство.

— Вот игодились ваши труды, — матушка Антонина улыбнулась. — Фон у арабесок, как вы орнаменты определили, чёрный?

— Да. Хорошо будут смотреться золотые нити.

— Согласно. А Святители на каком фоне? Кирилл в монашеском облачении, Мефодий в архиерейском... Это правильно. А Богородица-то как хорошо выглядит. Да, Варвара Васильевна?

— Если благословите, матушка, я возьмусь вышивать лик Богородицы.

— Ну что ж, берись. Заслужила. Давайте, Николай Евстафьевич, теперь определимся с размерами. И потом можно благословиться у архиерея.

Симаков облегчённо вздохнул. Он боялся, что опять будут замечания, особенно по орнаментам, которые ему так нравились. Но вот же, матушка всё поняла, и переделывать больше ничего не надо. Можно делать картоны, а с них переносить рисунок на ткань — шёлковую, конечно. Шилом накалывать точки по рисунку, метить отверстия белилами на ткани, а после этой кропотливой работы приниматься за другую, такую же многотрудную и неторопливую — уже саму вышивку.

— Деньги на все расходы городская управа даёт, — сказал Симаков. — Пётр Васильевич эти заботы взял на себя. Вы скажите ему, Варвара Васильевна, сколько и какого материала покупать. А я картоны быстро подготовлю. Времени у нас с вами совсем нет.

— С Богом, Николай Евстафьевич,— матушка Антонина перекрестила художника наперсным крестом, и Николай приложился к нему губами.

Наступили дни, когда улицы Самары перестали быть пыльными и душными: первые осенние холода умили и пыль, и духоту. По утрам хрупкий ледок покрывал лужицы, и там, где обычно возникали тучи пыли или от ветра, или же от проезжающих колясок, тарантасов, телег и прочего конного городского разнокалиберного транспорта, сейчас было сухо и свежо.

Ещё не ударили дожди, и потому даже на немощёных и безтротуарных улицах и переулках Самары можно ходить без страха завязнуть в грязи или с головы до ног покрыться слоем жёлтой пыли, едкой и удушливой.

Ефим Тимофеевич Кожевников, как только его избрали городским головой, основные свои усилия направил именно на заботу о том, чтобы улицы города стали чище и благородней. Для этого хотя бы некоторые улицы, прилегающие к центральным, шедшие параллельно Волге, и поперечные, называемые в Самаре проломами, надо было вымостить булыжником. Немощёных улиц даже в центре города большинство, не говоря уже о проломах, которые почти всегда в грязи: по ним свозили мусор к Волге, отходы после торговли на рынках и сезонных ярмарках.

Ефима Тимофеевича почти всегда поддерживал Пётр Владимирович Алабин, с которым у него сложились самые добрые отношения. Когда Алабина избрали гласным, Кожевников решил провести через Думу решение, чтобы на мощение улиц выделялось бы больше денег в будущем, 1887 году. И на освещение улиц тоже требовалось больше средств, так как фонарные столбы установлены только на Алексеевской и Хлебной площадях около присутственных мест да на улицах около богатых особняков.

Всё это хорошо знал Пётр Владимирович, как управляющий палатой государственных имуществ сделав немало, чтобы Самара очистилась от грязи, осветилась фонарями, приросла каменными домами. А если строились и деревянные, то всё же по большей части с каменным первым этажом. Потому как деревянные дома при пожарах сгорали, как спички, а если пожар возникал при сильном ветре, как дважды в пятидесятых годах, то город почти весь выгорал дотла.

Алабин понял, что для Самары чрезвычайно важно наладить пожарную часть, и потому согласился принять командование пожарным обозом.

Дома стали строиться по утверждённому плану застройки — с соблюдением ровности городских линий, с достаточно широкой проезжей частью, опять-таки для того, чтобы при пожаре свободно проезжали водовозы.

Сегодня Ефим Тимофеевич решил встретиться с Алабиным, чтобы не только узнать, как продвигаются дела с изготовлением знамени. Но ещё и о военных делах на Балканах: тревожные вести дошли и до него.

— Знаешь, Пётр Владимирович, я вчера с губернатором говорил: он советует переждать со знаменем. Говорит, что сейчас не то время. На театре войны. Говорит, что совсем плохи наши дела.

— Верно, хорошего мало, — Алабин сидел напротив Кожевникова, за небольшим столом, поставленным у стены, рядом с печью, выложенной тёмно-голубой изразцовой плиткой. Окна в кабинете Кожевникова высокие, мягкий осенний свет ложится на изразцы, они матово поблескивают. Столик на прочных ножках, из хорошей древесины, лакированный. И рабочий стол Кожевникова тоже из хорошей древесины, скорее всего, морёного дуба, покрытый зелёным сукном. На столе дорогой чернильный прибор из чёрного чугуна, уральских мастеров. Ефим Тимофеевич любит, чтобы всё у него было не только добротным, но и хорошего вида.

— Но, поверь, Ефим Тимофеевич, это даже к лучшему, что сейчас нам плохо.

— Как так? — лицо Кожевникова напряжено и удивлено.

— Да, армия генерала Черняева разбита, это правда. Впрочем какая там армия! У него скорее были какие-то разрозненные отряды. И каждый сам себе голова. Что болгары, что сербы. Про гайдуков и говорить нечего: те вообще никому не подчинялись. Турки победили кадровой армией и хорошим оружием. А у Черняева солдатам стрелять-то было нечем. Мне знакомый офицер по Севастополю написал. Он доподлинно знает. Чудом выжил.

— И что пишет?

— Турки без особого труда окружили наших. А черняевцы были измучены, голодны, а главное, уже без свинца. Михаилу Григорьевичу надо бы поскорее отходить, да где там: не тот он генерал, чтобы драпать. Принял бой. Это произошло при местечке Джунис, так, кажется, называется это роковое место. Это на юге Сербии, река там Южная Морава.

Алабин замолчал, глаза его сосредоточились на какой-то одной точке, будто он сейчас видел долину той самой реки, где оказались окружёнными сербские воины вместе с ополченцами из Болгарии, России. Как будто сам он сражался в том бою. Как будто сам прорывался сквозь редуты турок вместе с лихими гайдуками.

— И не то чтобы черняевцы проиграли этот бой. Нет, они дрались до последнего бойца. Турки их просто вырезали.

— И после этого ты говоришь, что это к лучшему? — Ефим Тимофеевич даже встал, отодвинул стул, зашагал по кабинету. — Ведь там погибли и наши добровольцы!

— Да, и наши, — спокойно ответил Алабин. — Горстка провалилась с Черняевым. Это ведь первое поражение у Михаила Григорьевича. Понимаешь, Ефим Тимофеевич, что значит для боевого генерала поражение? Это значит, что он будет всеми силами души снова рваться в бой. Да только кто его при нынешних обстоятельствах пустит снова в Сербию!

Кожевников всё никак не мог успокоиться:

— Вот расплата за самоуправство! Ведь его никто в Сербию не пускал. Насколько я знаю, он, как в авантюрном романе, и парики надевал, и прочие фокусы применял, чтобы через границы пройти. И что из этого вышло? Сербы с болгарамы ему сплошь и рядом не подчинялись, считая его чуть не самозванцем. А гайдуки просто шли в леса, на свои становища, уходили, когда хотели. Это ведь вольный народ! Попробуй, отличи их от разбойников!

— Верно. Но я бы не стал во всём винить Черняева. Он герой. На Малаховом кургане у Нахимова первым помощником был. А когда Севастополь покидали, он с последними воинами уходил, когда уже понтонные мосты были убраны. Этого нашим доморощенным чиновникам никогда не понять. А князь Милован Обренович понял, что только такой герой и должен возглавить его армию. И наш Славянский комитет, и Иван Сергеевич Аксаков способствовали тому. Да только чиновники стали стеной: куда, мол, без высшего дозволения лезешь! Ведь у нас как: пока решение примут, крови надо пролить, ну, если не реки, это слишком громко будет сказано, то, по крайности, речку вроде Татьянки нашей — это точно!

Алабин тоже разгорячился, бледность лица уменьшилась, слегка порозовели щёки, на высоком лбу собирались морщины, когда он произносил особо гневные слова.

— Так ведь и мы с тобой, Пётр Владимирович, чиновники, вспомни про это, — урезонил Кожевников.

— Да как не помнить. И мы с тобой, Ефим Тимофеевич, не должны осуждать Черняева. А отдать ему должное. У нас ведь все подвиги совершаются вопреки разным там уложениям и решениям.

— Так что, законов, что ли, не признавать? — опять возмутился Кожевников.

— Отчего же. Надо чтить и законы. Но есть нечто выше их, — Алабин поднял указательный палец вверх. — Понимаешь ли,

выше! Я потому и сказал тебе, что поражение Черняева есть победа, что после этой резни не останется в стороне Россия. Помяни моё слово! Поймёт государь, что Россия должна поработителям славян дать отпор!

Кожевников остановился прямо напротив Алабина. Они смотрели в глаза друг другу молча, с минуту.

— Так что, Пётр Владимирович, война?

Широкое, скуластое лицо Ефима Тимофеевича, с прямой купеческой бородой, росшей без всяких затей, выражало сейчас решимость и твёрдость.

— Да, Ефим Тимофеевич, война. И наше знамя как раз будет готово в урочный час.

— Вот как, — Кожевников чуть улыбнулся. — Значит, не зря мы стараемся?

— Не зря. Славянские комитеты теперь и в Нижнем, и в Ярославле, и в Рязани. Да вся Россия теперь живёт славянским вопросом. И если мы встанем во главе и болгар, и сербов, и черногорцев, то никакая армия не устоит против нас. Так весь православный мир душой понимает. А слова находят люди поумнее нас с тобой.

— Да, конечно. Прочёл я и Аксакова статьи, и Достоевского. Спасибо, что подсказал. Журнальные книжки тебе вернуть?

Он подошёл к письменному столу, достал из ящика «Эпоху», журнал братьев Достоевских, подшивку газеты «Москва» Ивана Сергеевича Аксакова.

— Славно пишут. Смело. Тут недалеко и до края.

— Недалеко. Вот Черняев уже собой пожертвовал.

— Думаешь? Его не позовут больше?

— Не позовут.

— Почему?

— Будто не знаешь? Будто не прочёл закладки, мной сделанные?

Ефим Григорьевич усмехнулся, развёл руками:

— Прочёл, прочёл. Да только кто такие речи вслух будет произносить.

— Ну да. Все мы смелы задним числом. Сначала надо предать, а потом покаяться, — Алабин принял журналы, газеты, поискал и нашёл, что хотел сказать Кожевникову:

«Как трудно живётся на Руси!.. Есть какой-то нравственный гнёт, какое-то чувство нравственного измора, которое мешает жить, которое не даст установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования, фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы и чувство безнадёжности, беспроглядности давят на нас».

— Это Иван Сергеевич написал. Но если бы он только на этой точке и остановился, не стал таким бойцом, какой он есть сейчас. Не внимала бы его словам вся Россия, в том числе и мы с тобой. Потому что он верил и верит, что Россия воспримет, непременно займёт место во главе славянских народов и победит.

Алабин встал, намереваясь уходить.

— Да, чуть не забыл тебе сказать, что древко к знамени готово. Чёрное с вызолоченным в византийском стиле копьём. Мастера с фабрики Овчинникова в Москве не подвели. Всё точно сделали, как на рисунке художника Рошфора. А на позолоченной скобе надпись: «Болгарскому народу г. Самара 1876 год».

— Давай в Иверский подъедем, посмотрим? Не терпится посмотреть, — предложил Кожевников. — Заодно и про улицы наши поговорим. Какие, на мой взгляд, в первую очередь надо замостить.

Алабин кивнул.

— Посмотришь, как Варвара моя лик Богородицы вышила. Работу закончила.

Ефим Тимофеевич распорядился, чтобы подавали его коляску, и они поехали в Иверский монастырь.

Глава восьмая. Проводы

Самара, весна 1896, весна 1877 годов

Деятельная натура Петра Владимировича не могла мириться с праздностью. Он, что называется, места себе не находил, если не занимался каким-нибудь делом.

Выйдя из кабинета, он прошёл гостиную, в прихожей надел чёрное пальто, двубортное, в талию, чёрную шляпу с узкими полями, какие вошли в моду в конце века, и оказался во дворе дома.

Кучер Кузьма, сидевший на лавочке около конюшни, заметив хозяина, встал, поклонившись слегка:

— Христос Воскресе, Пётр Владимирович.

Алабин ответил на приветствие, кивнув кучеру:

— Пойду прогуляюсь немного. На Волгу посмотрю.

— И то. Погоды-то вон какие хорошие.

Весна и в самом деле уже набрала силу. Пахнуло жаром из заволжских степей, ветви деревьев торопились поскорее дать возможность зацвести яблоням, вишням, кустам сирени и черёмухи, которые уже покрылись листочками и за ночь прибавили в росте.

Алабин шёл по улицам, которые хоть здесь, в центре, по газонам были обсажены деревьями. За те шесть лет, что он стоял во главе города, многое изменилось в облике Самары. Он продолжил мостить улицы и освещать их, что начали при Кожевникове. Фонари теперь освещались газом, а не спиртово-мазутной смесью. Владелец пивного завода Альфред Филиппович фон Вакано при своём предприятии построил небольшой заводик, который из привозной нефти вырабатывал газ. Его стали подавать не только на уличные светильники, но и в Драмтеатр. Осветили и аллеи Струковского сада.

Да, улицы Самары изменились, и в домах стало благородней, уютней: провели водопровод, забыли про пожары, которые сжигали деревянные дома. Но люди-то остались теми же. И впредь будут такими же: как-то вспомнят его, Петра Владимировича Алабина?

Неужто как казнокрада?

Он вышел к Волге.

У пристани, ближе к берегу, толпились лодки, покачивались на волнах. К пристани шли люди, вот-вот должен отправиться пароход. Интересно, какой?

Он почувствовал, как быстрее забилося сердце. Как будто от того, какой именно пароход, зависело что-то очень важное. Может быть, даже его дальнейшая жизнь.

«Да что такое, — подумал он и быстрее зашагал вниз по спуску, будто тоже торопился на пароход. — Как мальчишка, право».

Вот и пристань. Он прочёл название парохода: «Вестник».

Он посторонился, давая пассажирам дорогу к трапу на пароход.

— Пётр Владимирович? — услышал он и оглянулся. Увидел молодую даму, в широкополой шляпе, в платье с вздутыми плечиками, похожими на фонарики. Дама держала в руках какие-то коробки, зонтик, ещё что-то. Позади дамы приостановился

господин приятной наружности, улыбающийся, с аккуратными чёрными усами и мушкетёрской бородкой.

Алабин узнал сына купца Головкина.

— Тоже едете? — спросила дама, показывая, что надо идти вперёд, иначе можно опоздать, вот и рында уже дала сигнал к отправке парохода.

— Нет, я так... по другому поводу. Идите, идите, иначе опоздаете!

— А мы в Москву! А потом в экспедицию! — продвигаясь вперёд, крикнула дама. — Ни за что не угадаете куда!

Она засмеялась, смех её, переливчатый и звонкий, был так приятен, что Алабин не мог не улыбнуться ответно.

— В Китай! — уже с борта «Вестника» крикнула дама. Милое лицо её так и сияло от счастья.

«Как же её зовут? — пытался вспомнить Алабин. — Его — Константин, а она...»

Он снял шляпу и слегка поклонился, выражая тем самым одобрение намерениям молодых людей. Головкин увлекается живописью и этнографией, собирает коллекцию, как в молодости собирал и он. Дай Бог им удачи и счастливого путешествия. Ибо что может быть прекрасней молодости и путешествий!

— Бог в помощь! — крикнул он и смотрел, как пароход отваливает от пристани, как растёт пространство воды между ними, как машут ему с палубы не только Головкин со своею счастливою спутницей, но и ещё какие-то люди, которые узнали его.

Как будто он специально пришёл проводить их.

Или это они провожают его?

Да, всё это так напоминает весну 1877 года. Когда он вот так же стоял на палубе этого же парохода с таким прекрасным названием «Вестник». И тоже уезжал туда, в Москву. Сначала до Сызрани, Волгой, а уж потом на паровозе, до Москвы.

А рядом стоял Ефим Тимофеевич, держась за развёрнутое полотнище, а он держал древко Знамени, и народ, запрудивший весь откос, до самого верха, кричал громогласное «Ура»! И ещё что-то кричал, и оркестр дул в медные трубы, играя, что есть сил, победный марш. И в воздух летели фуражки гимназистов, кепки и шляпы купцов и инженеров, шапки и картузы простого самарского люда, и вся Самара ликовала, как никогда прежде, провожая Знамя туда, на Балканы.

Да, всё так и было без малого двадцать лет назад.
А помнится всё, до малейшей подробности.
Будто всё произошло вчера.

...Вознесенский собор переполнен. Но странно: несмотря на толщу людей, всем хватает места, все молятся, все внимают громовому голосу протодиакона:

— ...о плавающих и путешествующих, недугующих, страждущих, пленённых и о спасении их Господу помолимся...

«Да-да, — повторял за протодиаконом слова Великой ектеньи Пётр Владимирович, — это молитва за нас, именно «о плавающих и путешествующих»...»

И широко крестясь, каждый раз, вслед за очередным прошением, возглашенным протодиаконом, склонялся в низком едином поклоне, вместе со всем народом самарским.

— ...заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию...

Он повторял про себя слова, хранившие в себе заповедный, великий смысл, и хотя сейчас некогда было размышлять о прошениях ектеньи, каждое её слово отзывалось в сердце, переполняло его мудростью своею и силой:

— ...о избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся... Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим...

Заканчивается литургия, затем молебен, и преосвященный Герасим сходит с амвона, и идёт к хоругвеносцам, которые стоят по обе стороны от Знамени. Владыка в праздничном пасхальном облачении, которое так прекрасно сшили и украсили медальоном с ликом Спасителя, орнаментами с крестами, золочёными, на светло-красном фоне, монахини Иверского монастыря.

Знамя стоит в специально изготовленной подставке. Епископ окунает кропило в серебряную чашу со святой водой и, высоко подняв над его собой, размашисто окропляет Знамя:

— Во имя Отца... и Сына... и Святого Духа... Аминь.

Он двигается дальше, туда, где стоят Кожевников и Алабин, окропляет их и всех, кто стоит рядом. Затем что есть силы ма-

шет кропилом в сторону толщи народа — прямо, направо, налево, на протянутые ладони тех, кто стоит далеко от кропильной чаши, чтобы хоть капелька святой воды досталась и им.

Вода вспыхивает, попав в солнечные столпы, косо падающие сквозь высокие узкие окна, и кажется, что это серебряный шарф залетел с небес в собор.

Потом народ расступается, пропуская к выходу хоругвеносцев, крепких молодых алтарников. Они несут и икону Богоматери — всю в цветах и лентах, в дорогом позолоченном окладе.

Торопятся певчие, поспешают, подобрав рясы совсем юные подростки, которые, как водится, хотят выглядеть посолоднее.

Вот выстроились у собора, все встали на свои места вслед за преосвященным Герасимом и остальным духовенством. Путь неблизкий, по Дворянской, до Иверской обители: решили, что там надо непременно совершить молебен.

А как иначе — и дело не только в том, что монахини шили и вышивали Знамя. А в том, что Сама Пресвятая будет оберегать и знаменосцев, и всех, кто будет сражаться под Знаменем за веру Христову, за освобождение братьев славян.

Да, Иверский монастырь стал духовным центром города. Кто-то мог выразить эту мысль словами, кто-то не мог, но все, особенно сейчас, когда ветер овеивал Знамя и лик Пресвятой в центре креста был отчётливо виден, сердцем понимали, что именно Иверская обитель — душа Самары.

Знамя несли, сменяя друг друга, Кожевников, Алабин, их помощники по Славянскому комитету.

Чем дальше шли, тем больше народа присоединялось к шествию. Из окон домов, с балконов смотрели, как движется процессия, как поёт самарский народ:

*Спаси, Господи, люди Твоя
И благослови достояние Твоё...*

На белоствольной колокольне Иверского праздничный перезвон. Ворота распахнуты, матушка Антонина с монахинями встречает народ, несущий Знамя.

После молебна идут к набережной, к пристани. Народу становится всё больше: пришли с хоругвями из дальних церквей Самары. Из Всесвятской, из Михайло-Архангельской, из Предтеченской.

Ближе к пристани — народ знатный, купеческий. Попадают-ся и дворянского звания, учёные люди, но их мало. А за ними больше всего народа самого обыкновенного — плотники да каменщики, маляры да жестянщики. Есть и люди дел волжских, которые только здесь водятся. Это сильные, будто из одних мускулов сложенные крючники. Они мешки с мукой на баржи грузят, на спинах таскают, крюками укрепляя их на деревянных подставках, вроде детских стульчиков. Потому и крючники, раз крюки у них, как мастерки у каменщиков или лопаты у землекопов, — главные инштрументы для работы.

Пришли и горчишники — удалой народ из Запанской слободы. Одна из поперечных улиц Самары названа Панской, потому как дома на ней по преимуществу заселили ссыльные поляки. А там, где эта улица заканчивается, поселился народ попроще, да и бедняков немало. Вот здесь, где ночью темно, хоть глаз выколи, весной и осенью грязь непролазная, лучше всего ходить в светлое время и когда грязь подсохнет. И не приведи Господь заспорить с ними — так наподдают, будто тебе самых злых горчишников наставили.

Народ шумит, воодушевление написано на многих лицах.

Переговариваются:

— Прон, а Прон, ты у Сурошникова служил. Это который в шляпе котелком?

— Не, то Аннаев.

— А кто рядом?

— Невестка.

— Красотка.

В другом месте:

— А этот, который в мундире с крестом, где воевал?

— В бухарских песках.

— Ну? Турков бил?

— Там не турки. Кипчаки.

— Всё одно.

— Не, тамошние полютее будут. Это они с Фомы нашего кожу сдирали.

— А, я слышал. Правда, что ль?

— Истинная. Заставляли от Христа отречься, а он не стал.

— Страсть!

— Турки тоже. Головы режут, кого в плен берут.

— Как баранов.

В третьем месте:

— Зосима, ты что-то не в себе.

— А ты? — отозвался тот, кого называли Зосимой.

— Я чего. Мне мамашу жалко оставлять. Сам знаешь.

— Да! Гляди, Пронька, как народ ликует! Праздник!

Прон, здоровенный малый из крючников, вид имел задумчивый. А Зосима, давний товарищ его, стати такой же могучей, как у напарника, наоборот, прямо сиял от воодушевления:

— Не дрейфь, Прон. Уладится. Надо нам с тобой записаться. Чего ждать.

— Да я не против.

— Так-то!

К этим разговорам невольно прислушивался Иван Тепляков, стоявший тут же, среди народа. Он заметил Анну, стоявшую впереди, но не стал пробираться сквозь толпу поближе к ней.

Она стояла рядом с Терентьевым.

«И чего я жду? — думал Иван. — Уйти, и всё. Самое время».

Через минуту подумал: «А кем меня возьмут? Писарем? Я ведь ничего другого не умею. Впрочем научат. Стрелять — не такое мудрёное дело».

Но Анна, словно почувствовала его взгляд, неожиданно быстро оглянулась и увидела Ивана. Поманила его рукой в белой перчатке, улыбнулась. И ему пришлось пробираться к ней, хотя минуту назад он приказал себе не подходить к ней.

Терентьев, увидев Ивана, покривился, пренебрежительно и надменно.

— Здравствуйте, Иван Иванович!

Она сказала это громко, не столько для Ивана, сколько для Терентьева.

— Здравствуйте, Анна Викторовна.

Терентьеву он поклонился так же, как тот ему.

Анна продолжала улыбаться. Но улыбка была какая-то странная, чужая.

— Где вы пропадали? Вас нигде не видно.

Он пожал плечами. Где это, интересно, его должно быть видно? Почему она делает вид, будто бы ничего не случилось? Будто бы не было Вислого камня, слов, «Лорелей», надежды, когда она сказала, что стихотворение должно заканчиваться счастливо.

Тут за их спинами раздалось:

— Гляди, кажись, Алабин говорить будет.

Алабин и в самом деле собрался сказать прощальные слова. Он вместе с Кожевниковым стоял на носовой палубе «Вестника». В мундире, со всеми орденами и медалями, в воинской фуражке.

— Самарцы! — что есть силы выдохнул он. — Нам с городским головой выпала великая честь доставить это Знамя туда, где сражаются русские воины вместе со своими братьями болгарами. Заверяем вас, что мы выполним порученное нам святое дело. И под нашим Знаменем, которое есть символ правой нашей веры, нашего братства, будет сражаться с врагом и наша Самара. Сражаться до победы! Ура!

И громогласное «ура» грянуло над пристанью, над набережной, над всей Самарой.

Алабин и Кожевников развернули полотнище Знамени.

«Ура» загремело с новой силой.

«Вестник» стал отваливать от причала. Вот он выполнил разворот, вышел на стремнину реки и направился туда, где чернел створ Жигулёвских ворот. Голубое небо, синь водной глади и белый «Вестник», удаляющийся в эту даль, были так хороши, что у многих на глазах выступили слёзы радости и ещё чего-то, тех чувств, которые переполняли сердце и не поддавались выражению словами.

Снова и снова гремело «ура» на откосе Самары, пока «Вестник» не скрылся вдали.

Глава девятая. Москва

Весна 1877 года

Москва!

Как хороша она своими заботами, своей оживлённостью, в которой есть что-то от нетерпеливой радости встречи, к которой торопятся все эти люди. Рассыльные, приказчики, служивые, идущие по тротуарам, едущие по мостовым на телегах с товарами, на пролётках, колясках, то щёгольских, то в обветшалых, но всё равно бойко торопящихся по каким-то своим делам.

И всё это движение почему-то не кажется беспокойным, а, наоборот, каким-то своим, родным, как тот самый дом, где тебя

ждут, встретят и обогреют, и выполнят всё, что тебе предназначено.

Москва!

Петербург, линейный и дворцовый, официален, хотя и красив своими каменными громадами, рекой и каналами, где на парапетах смотрят в воду заморские каменные львы, вздыбленные кони или вовсе диковинные полузвери, полулюди.

Москва уютней, родней. Здесь каждый камень помнит своих героев, своих царей и разбойников.

Москва!

У тебя не чиновничий вид, хотя и стараются придать его тебе всё настойчивей. Зачем-то перестраивают здания, которые надо бы хранить, как зеницу ока.

Вот здесь, на Варварке, храм во имя святой великомученицы по приказу митрополита Платона разобрали, а построили новый, с колоннами, на западный манер. И древние ворота не сохранили, в которые после поля Куликова въезжал князь Дмитрий.

Но всё-таки сам дух старой Москвы остался витать здесь, на Варварке. И палаты Романовых выжили, которые строил первый из рода Романовых, Андрей Кобыла. И аглицкие хоромы, которые при Иване Грозном для торговых людей, из-за морей приехавших, построили, тоже живы.

И церковь во имя иконы Божьей Матери Знамение, что дальше, на улице, на Кулишках, тоже стоит, сияет своими крестами на куполах и на колокольне. Правда теперь говорят на Куличках и имеют в виду что-то очень далёкое, где и бывать не надобно. Но кто поймёт эти переделывания, эту игру словами, на которую горазд московский народ.

Вот здесь же церковь святого Максима Блаженного. Одна такая в Москве. Ходил Максим наг и зимой, и летом, прикрывая лишь чресла. Христа ради приял подвиг юродства. Спрашивали его: «Максимушка, что же ты голый ходишь в лютый мороз?» А он отвечает: «Оттерпимся, и мы люди будем; исподволь и сырые дрова загораются; за терпение даст Бог спасение».

Но не только слова утешения говорил святой. Его гневных обличений страшились сильные мира сего — купцы и московская знать, которая селилась здесь же, на Варварке.

И не потому ли так стали у нас почитать святую Варвару великомученицу, дочь знатного и богатого человека, которая предпочла великие страдания вынести, но не отречься от Христа. Потому что поняла, что Он свет миру, а весь прекрасный мир сотворён Его Отцом, Господом Вседержителем.

Москва!

Дивны храмы и улицы, переулки твои заповедные, хранящие тайны, радости и горести столетий. Говорят, что церквей у тебя сорок сороков. Неужели в Москве действительно тысяча шестьсот церквей? Нет, в Москве действительно сорок церквей, вот только почти в каждой четыре престола, потому большинство храмов пятиглавые. А над каждым престолом возводилась главка со крестом, да ещё крест над колокольней. Вот и получается сорок сороков. И улицы, в большинстве своём, названия свои ведут от имён, во имя которых и названы построенные здесь храмы.

Варварка — одна из них, любит её здешний исконный московский народ — торговый, бойкий, купеческий по большинству своему.

На Варварке — ряды магазинов, лавки, чайные и питейные заведения, где тебя накормят, чарку поднесут с самым крепким и хмельным напитком. Пей, но голову не теряй, дело разумей и веди его как надо; здесь же, на Варварке, открылись к веку девятнадцатому акционерные общества и банки.

Тянется Варварка к Красной площади, к собору невиданной красоты, ещё одного Христа ради юродивого — Василия Блаженного.

Москва!

Смотрит на тебя приезжий люд, смотрит и не может понять этого, казалось бы, беспорядочного людского движения. А оно упорядочено веками, хотя веками старались нарушить его и иноземцы, и свои, отечественные умники.

Везли по Варварке на казнь Стеньку Разина.

Вся выгорела она в восемьсот двенадцатом году.

Но отстроилась, стала уже сплошь каменной, а не деревянной.

И зажила ещё лучше прежнего.

...Извозчик остановил лошадь около высокого каменного здания на Варварке. Здесь банк Второго общества взаимного

кредита, где теперь служил и принимал посетителей Иван Сергеевич Аксаков.

К нему и направились Кожевников с Алабиным. По чугунной лестнице поднялись на этаж, который им указал швейцар. В длинном коридоре стояли деревянные лавки, на которых сидели разного рода посетители.

У двери кабинета, нужного самарцам, стоял высокого роста швейцар. Усатый, военной выправки, он больше походил на солдата или на офицера нижних чинов.

— К Ивану Сергеевичу, — на вопрошающий взгляд швейцара сказал Кожевников.

— Как доложить?

— Самарский градоначальник Кожевников и гласный городской думы, действительный статский советник Алабин.

Не успел Кожевников сказать эти слова, как дверь распахнулась, и в её проеме показались двое. Один, торопливо шедший впереди, по всей видимости, какой-то чиновник, лысенький, быстрый. А позади — представительный господин с крупным, сразу запоминающимся лицом, с рыжеватыми усами и пышной, мягкой бородой, с густыми волосами, зачёсанными назад и открывающими высокий сократовский лоб. Глаза зоркие, внимательные, глянули на приехавших сквозь небольшие круглые очки и сразу подобрили:

— А, добрые самаритяне? — приветливо сказал он, услышав, как представились приехавшие. — Прошу, прошу, — и он пропустил в кабинет Кожевникова и Алабина. — Простите меня за эти хоромы, но что поделаешь — служба! Здесь такая обстановка принята, — он показал на простые деревянные стулья, стол, где лежали многочисленные бумаги, книжный шкаф самого обыкновенного вида. — Приходится и в моих летах служить по банковскому делу. А любимое своё журнальное, литературское, отставить. Сейчас, я свои дела завершу, и поедем в более благоприятное место для нашей беседы.

Чтобы иметь средства для содержания семьи, Иван Сергеевич вынужден был работать в банковском учреждении. Ко всем прочим своим талантам владел и талантом распутывать запутанные дела, так как имел и юридическое образование.

Он выглянул в коридор, осмотрел посетителей быстрым взглядом. К одним подошёл, тут же подписав протянутые ему

листы, с другими переговорил, решив дело на словах, третьих выслушал, сказав: «Да-да, конечно, выправим, но только завтра» — и вернулся в кабинет.

Собрал со стола нужные бумаги, уложил их в папку с гербом и увлёк за собою приезжих. Наказав дежурившему у дверей отложить все приёмы до следующей недели, он двинулся по длинному коридору к выходу.

На улице взяли извозчика и поехали на Остоженку, где помещался Славянский Благотворительный Комитет, переименованный теперь в Славянское Благотворительное Общество.

Там обстановка была совсем другая. Здание не такое большое, но вместительное, с уютными комнатами и приличной гостиной, обставленной мягкой мебелью. Пол паркетный, по углам гостиной вазы, на стенах картины — хорошего старого письма пейзажи.

В кабинете, сразу за гостиной, за столом, покрытым зелёным сукном, в кресле сидел бородатый человек и что-то писал. Вид имел профессорский — в таких же очках, как у Аксакова, но не такой солидный.

Иван Сергеевич представил гостей своему давнему сподвижнику и другу Александру Ивановичу Кошелеву.

— Вот, Александр Иванович, это те самые славные люди, о которых я тебе говорил. Прошу присаживаться. С Александром Ивановичем сейчас принимаем меры по возобновлению своей газеты. Ибо время сегодня требует, чтобы мы не молчали, как мыши. Верно, Александр Иванович?

В Кошелеве, хотя он и был профессорского вида, всё же трудно было признать крупного помещика и землевладельца, миллионщика. Правда миллионы он эти заработал, образцово поставив ведение своего хозяйства, введя крестьянское самоуправление, которое контролировал сам, применяя в обработке полей машины, выписанные из Европы. Школу, больницу построил на заработанные деньги, а другие заработки отдавал на издание как раз тех газет, которые издавал Иван Сергеевич Аксаков. Газеты последовательно закрывала цензура. Последним по времени изданием Аксакова и Кошелева была «Москва».

— Сумку здесь можно открыть. Не терпится посмотреть, — сказал Аксаков, глазами показывая на специально изготовлен-

ную для транспортировки знамени сумку, скреплённую поперечными ремнями.

Кожевников стал растёгивать ремешки.

И вот перед москвичами предстало во всей своей строгой красоте Самарское Знамя.

Алабин и Кожевников держали Знамя за края, развернув его так, чтобы солнце, светившее в окно кабинета, падало на полотнище, украшенное изображением креста, в центре которого сиял лик Иверской Богоматери.

Кошелев поправил очки, ближе подошёл к Знамени. Потом отошёл к двери кабинета, рассматривая Знамя издали. То же самое сделал и Аксаков.

— Хорошо, — сказал Кошелев. — Весьма.

Увидел обратную сторону Знамени, где в центре креста были изображения святых Кирилла и Мефодия, удовлетворённо кивнул.

— Молодцы, — подхватил и Аксаков. — И как славно всё продумали. Это ведь Иверская? Монахини шили? Как вы писали мне?

— Они, — Алабин не мог скрыть волнения, которое испытывал с того момента, как оказались в Москве. А вдруг Знамя будет принято совсем не так, как в Самаре? Ведь это же не кто-нибудь, не какой-то там чин, а Иван Сергеевич Аксаков. Это Иван Сергеевич сумел возвысить свой голос в защиту славянства так, что он прогремел на всю Европу. Нашлись люди в Болгарии, которые даже предлагали избрать Ивана Сергеевича болгарским царём.

И статьи Кошелева Алабин читал, и тоже поражался, как сумел этот помещик, этот сатрап, как писали демократы о крупных землевладельцах вроде Кошелева, стать другом крестьянства, их радетелем и заступником даже перед самим царём. Разве чета этот помещик тому же самарскому Терентьеву? И тот, и другой обрабатывают землю машинами, но разве в одних машинах дело?

Александр Иванович вошёл в Славянский комитет, который возглавил Иван Аксаков ещё в те годы, когда Сербия поднялась на борьбу с османами. И черногорцы к ним примкнули, но потерпели поражение. Кошелев в то время писал о том, что Россия должна встать во главе славян, и тогда можно победить сильного врага. Его и Аксакова обвинили в панславянизме, газету закрыли.

— А знаете, Иван Сергеевич, что наши новые друзья, — он показал на Алабина и Кожевникова, — как раз и подтверждают правоту моей мысли о том, что именно пожертвования, а не приказы о новых займах и налогах дадут России силы, чтобы помочь братьям славянам выстоять и победить. Ведь Знамя будет олицетворять именно добровольную жертву, а не принуждение.

И он опять подошёл поближе к Знамени.

Насмотрелись, уложили Знамя в сумку.

— Вот что, друзья. Время обеденное... Едем. Только не во французский ресторан у Дюссо, где вы остановились. Гостиница хороша, не спорю. Бывал я там, когда Фёдор Михайлович Достоевский приезжал в Москву. Но кухню признать не могу.

Кошелев посмотрел на друга, улыбнулся:

— Щи да каша — пища наша?

— Смотря, какая каша и какие щи, — возразил Аксаков. — Вы не против, надеюсь, нашей русской кухни? Нет? Тогда едем в «Славянский базар».

Проехали по Волхонке, мимо Боровицких ворот, потом по Никольской и скоро оказались у здания, где находился ресторан «Славянский базар».

Вошли в ресторан, уселись на стулья с деревянными спинками, на которых был вырезан узор в виде лучистого солнца.

— Знаете, Пётр Владимирович, — обратился Аксаков к Алабину, — в нашем Комитете, как только раздался клич сбора средств для южных славян, действительно было нечто подобное славянскому базару: столько нагрянуло к нам разного люда отдать даже самое последнее. Одна старушка при мне долго не могла развязать грязненький платочек. А в нём оказалась асигнация на десять тысяч рублей!

— И я хорошо помню то славное время, — Кошелев улыбался и уже не казался Алабину и Кожевникову профессором, а своим, будто давно знакомым человеком. — Вот я думаю: если взять главную черту русского человека. Какая тут выйдет на первую позицию? Я так думаю, в роковые минуты, а именно они и выявляют главную черту народа, эта черта — жертвенность. Ибо русское сердце отдано Христу. А он сие и заповедовал нам.

Тут подошёл распорядитель ресторана, хорошо знавший знатных посетителей, которые пришли с гостями. Он был в красной шёлковой рубаше, поверх которой надет чёрный жилет,

в плисовых синих штанах, заправленных в хромовые сапоги. Лицо его, торжественное и серьёзное, несло на себе печать гостеприимства, но без заискивания, с той степенью ответственности и чувства исполнения своего долга, которые исключали фамильярность, а тем более иронию над его старорусским нарядом, уже казавшимся просвещённой интеллигенции смешной отрыжкой прошлого.

— Кулебяки здесь хороши, — сказал Аксаков Кожевникову. — Вот Трофим Аристархович может нам предложить по случаю вашего приезда кулебяки с тремя углами, — он посмотрел на распорядителя ресторана как на хозяина, который никогда не откажет в просьбе.

— Можно и с четырьмя, — невозмутимо ответил Трофим Аристархович. — Начинка из кролика в первый угол, утка — во второй. В третий — телятина, четвёртый фарш — говяжий. Соус из белых грибов со сморчками и трюфелями. Слоёное тесто с белыми грибами и гречей.

Стоит пояснить, что «углами» назывались слои начинки, которые клались «под углами», между слоями теста.

Кожевников не мог не удивиться: именно кулебяки готовила у них в доме повариха-татарка. Да так знатно, что про это знало всё близкое Ефиму Тимофеевичу купечество Самары.

— Вы прямо в точку попали, — сказал он Аксакову. — Кулебяки — наше любимое блюдо в моём доме. Правда начинки у нас чаще всего в два угла. По праздникам — в три. Соус, конечно, не такой изысканный. Но тоже хорош, хотя и без трюфелей.

— А как насчет щей? — спросил Кошелев. — Я хоть нынче и не такой едок стал, но щи по-прежнему для меня к обеду часто подают. Тем более таких, как здесь, вы не едали, гости дорогие.

Трофим Аристархович удовлетворённо кивнул. Он ничего не записывал, всё запоминал до тонкостей. И этому учил своих подручных.

— Щи сегодня из квашеной капусты, вами любимой, Александр Иванович. — Лук, морковь, петрушка по норме. Отварное мясо, ветчина, варёная колбаска и всё прочее. Готовим в горшочках, как вы любите.

— Так, — удовлетворённо кивнул Кошелев. — Ну, закуски... Пить я предпочитаю водку на клюкве настоящей. Клюковка, значит... да и вам советую.

— А ещё и медовушки, нашенской, московской, — поддержал Аксаков. — Морсу... Или квасу, которым нас дразнят? Или у вас в Самаре иное пьют?

— Как же, как же — все мы квасные патриоты, — смеясь, сказал Алабин. — Однако как бы нам после такого обеда не скиснуть.

Чувствовал он себя превосходно. Волнение, ожидание встречи с Аксаковым прошли. И дорога на Балканы уже открылась, не казалась трудной и опасной, потому что с такими могучими людьми, как Аксаков и Кошелев, которые так радушно их приняли и поддерживали, самое трудное дело не казалось невыполнимым.

Принесли томлёную тыкву, холодную телятину с салатом из маринованных вишен, ещё закуски, питьё, и после выпитой первой и второй рюмок разговор пошёл ещё более сердечный и по существу дела, с которым приехали саратцы.

— Вот что, друзья, — провозгласил Аксаков. — Я думаю, Знамя наше — а оно теперь и наше — надо выставить для обозрения москвичам. У нас в Славянском обществе. Напишем в газеты, оповестим кого нужно. А за это время решится, куда именно доставить Знамя и кто будет его встречать. Что немаловажно.

— Хорошая мысль, Иван Сергеевич, — Кошелев ел не так аппетитно, как Аксаков. Года всё-таки брали своё. Но всё же он старался не отставать от своего друга. — Но после того, как государь объявил Манифест... Думаю, Знамя положено выставить в самом Кремле. Скажем, в Георгиевском зале. Зале нашей славы. А? Вот если генерал Столетов...

— Николай Григорьевич? Так ведь он уже там, на театре войны. Или ещё не уехал? Выясню, — Аксаков вытер салфеткой свой рот, обмахнул усы и бороду. — А вы, Пётр Владимирович, не звали Столетова?

— Нет. По Севастополю хорошо знал Черняева, Михаила Григорьевича. Впрочем и о Столетове много хорошего слышал.

— Да, с Михайло Григорьевичем лучше бы иметь дело. Да и картину войны на Балканах кто лучше его знает? Но у нас ведь как: не дай Бог в немилость к начальству попасть! Потом доказывай, что ты беленький, а не чёрненький.

Аксаков тяжело вздохнул, но тут подали с пылу-жару румянистые, на загляденье, кулебяки.

— Ну что, Ефим Тимофеевич, — обратился Кошелев к Кожевникову. — Не хуже, чем в у вас, в Самаре, наши кулебяки?

— Сейчас попробуем. Но вот что я подумал. Может, прежде чем выставлять Знамя на обозрение, отслужим молебен у раки нашего Небесного покровителя, святителя Алексия, митрополита Московского. Как думаете?

— Да, замечательно. Его преосвященство митрополит Иннокентий разве откажет? Я лично у него благословения буду просить. А вот насчёт Георгиевского зала тебе, Александр Иванович, действовать. Я сегодня же напишу ходатайство, а отвозить будешь ты.

— Да, Владимир Андреевич тебя давно просил. И сам тебя рад будет ублажить по такому патриотическому делу. О генерал-губернаторе Долгорукове речь, — пояснил он Кожевникову. — А идти к нему надо всем вместе... Ну что же вы, Ефим Тимофеевич, про кулебяки забыли?

— Да как-то при таком разговоре... не с руки.

— Очень даже с руки. Давайте по клюковке. Вы теперь поняли, откуда в русском языке взялся глагол наклюкался? — и Аксаков рассмеялся, довольный.

Выпили по стопке, и Кожевников, пригладив бороду, широко открыв рот, надкусил кулебяку прямо с руки, отхватив приличный кусок. Пожевал с завидным усердием, тараща глаза, обжигаясь начинкой и тестом, сказал: «Да!» — и тут же взял свободной рукой предложенную Алабиным глиняную кружку с квасом. Потушил пожар во рту, ещё раз сказал смачное: «Да!»

Тут принесли щи в глиняных горшочках. Отдельно — разваристая гречневая каша в глиняных мисках. Казалось, что щи только-только ухватами вытащили из русской печи.

— Как? — осведомился о щах Кошелев.

— Отменные, — отозвался Алабин, а Кожевников удовлетворённо кивнул, с аппетитом вкушая щи. Надо сказать, что ели они деревянными ложками, очень удобными для принятия такой пищи.

— Сейчас вспомнил, как с тобой, Иван Сергеевич, однажды обедали с твоим тестем, Фёдором Ивановичем, царство ему небесное. Как раз в ресторане «Дюссо», где вы изволите сейчас проживать. Представьте, подают нам нечто, жидкое, коричневого цвета, а в серединке плавает отварное мясо. Это, говорит супруга Фёдора Ивановича, суп *Con-sommer*. Пробую. Бульон, он и есть бульон. Крутой, правда. И мясо переваренное. Кое-как съел.

Домой прихожу, полез в словарь: что значит консоме это ужасное? Оказывается, просто-напросто бульон, который из разного мяса сварен. Гадость получается ужасная. До сих пор помню.

— Однако ж тесть мой, Фёдор Иванович Тютчев, не только французскими бульонами известен. Да и со вкусами жены ему приходилось считаться.

— Ох, верно, — согласился Кошелев, зная роковые романы Тютчева. — У Фёдора Ивановича какие прекрасные стихи. Помню, как на открытии нашего Комитета он читал. «К Славянам». Признаться, я наизусть потом этот стих выучил. Хотя он и длинный.

— Да, такого поэта долго ещё на Руси не будет, — подтвердил Аксаков.

— Как? А вы? Разве ваши стихи хуже? Нет, я вовсе не хочу вам польстить. Но ваши стихи трогают не только моё сердце, — серьёзно сказал Алабин.

— Благодарю. Но стихи мои ни в какое сравнение не идут с тютчевскими. Я сейчас, Пётр Владимирович, пишу большую статью о творчестве Фёдора Ивановича. К его юбилею. Поверьте, это поэт! Восхищаюсь. И благодарю Бога, что он дал мне радость быть не только знакомым с Фёдором Ивановичем, но и породниться с ним.

Обед заканчивался.

— Вам в провожатые надо казаков снарядить, — сказал Кошелев. — Мало ли что по дороге может случиться.

— Непременно, — поддержал предложение Аксаков. — А сейчас едем отдохнуть. Утром встретимся в нашем Комитете на Остоженке. Думаю, ты прав, Александр Иванович, сначала пойдём к градоначальнику. Всё же он человек замечательный, хотя и бранит нас частенько. Такова должность у князя!

Простились сердечно и разъехались — самарцы в гостиницу «Дюссо», где Алабин и прежде останавливался, а москвичи по своим домам.

Генерал-губернатор Москвы князь Владимир Андреевич Долгоруков, узнав о Знамени, велел немедленно явиться к нему посланцам Самары. Повсеместно, по всей России, ширилось движение в защиту славян, и сам боевой генерал, прославивший себя и в Польской кампании, и на Кавказе, горячо привет-

ствовал все инициативы, связанные с борьбой против угнетателей славян. Владимир Андреевич приобрёл авторитет не только в боях, но и как великолепный организатор, проверяющий и снабжение армии, и её боеспособность, верный «слуга царю и отец солдатам». Нерадивых он выявлял и строго наказывал, а смелых, верных и честных делал своими помощниками.

На посту градоначальника Москвы Долгоруков снискал любовь всех москвичей, так как проявлял личную заинтересованность и деловое участие, как в соблюдении порядка, так и в содержании домов и улиц не только в центре города, но и на его окраинах, контролируя проведение благоустроительных работ.

Аксакова и Кошелева он ценил и любил, но как только они переступали грань, как только на них поступали из цензурного комитета донесения, он тут же принимал меры, как того требовало его положение.

Парадной лестницей Алабин и Кожевников, сопровождаемые, как и накануне, Аксаковым и Кошелевым, прошли в приёмную генерал-губернатора. Секретарь провёл их в просторный кабинет Долгорукова, где всё, начиная от паркетного пола, начищенного до блеска, до высоких окон, с шелковыми занавесями, обрамлёнными тяжёлыми портьерами, сияло чистотой и внушительностью.

И сам Владимир Андреевич, хотя и не в генеральском мундире, с орденами лишь высшего достоинства (всего только отечественных наград у него было двадцать четыре), в чёрном сюртуке, сразу же производил впечатление, какое и подобает хозяину Москвы.

— Рад, рад, сердечно рад, — сказал князь, выходя навстречу посетителям. — И вас рад видеть живыми и здоровыми, Иван Сергеевич и Александр Иванович.

— А чего же нам не быть живыми и здоровыми, — не без скрытого смысла ответил Аксаков. — Сколько нас ни бей, мы только крепче становимся. Увидишь скоро новую газету у себя на столе.

— Ну, за одного битого двух небитых дают, — губернатор чуть улыбнулся, усы раздвинулись, белые зубы блеснули. Бороды князь не носил, причёсывался, взбивая кок и делая зачёсы с висков на щёки. Подтянутый, молодцеватый, в нём сразу был виден военный человек, хотя и одетый в штатское платье.

Посмотрев Знамя, губернатор остался доволен. Поинтересовался, есть ли у самарян общество Красного креста, сколько воинов отправляется на войну. Узнав, что Красный крест в Самаре возглавляет жена Алабина, что добровольческий отряд воевал в Сербии и Черногории, князь оживился:

— Передайте от меня всем семьям, оставшимся без кормильца, что помощь будет обязательная. А вашей супруге — особый поклон.

Договорились о воинском сопровождении Знамени. Узнав, что самарцы хотят отслужить молебен в Богоявленском, князь тут же отдал приказ снестись с преосвященным Иннокентием. Сказал, что пошлёт донесение великому князю Николаю Николаевичу¹, которому доверено встать во главе русской армии и болгарских ополченцев. Во главе русского передового отряда поставлен Николай Григорьевич Столетов. К нему и посоветовал обращаться Долгоруков.

На стене, прямо над столом градоначальника, висел портрет императора Александра II. В полный рост, в военном мундире. Он как будто принимал доклад подданных.

Пока разговаривали, уточняли подробности, прибыл нарочный с известием от митрополита Иннокентия. Молебен разрешено провести сегодня же.

Долгоруков распорядился передать митрополиту, что они выезжают.

Все вместе отправились в Богоявленский собор.

Москва, Москва!

Не только сорок сороков тебя хранят от врагов, мора и недругов. Берегут тебя и твои святые, незримый покров простерев над тобой.

Смотрел Наполеон, как горела Москва. Казалось, ты побеждена, всё, не останется и следа от твоего величия и красоты.

Но сгорели не все дома, разрушены не все храмы: главные святыни сохранил Господь для боголюбивого народа. Злато

¹ Великий князь Николай Николаевич Старший (27 июля 1831 — 25 апреля 1891) — третий сын императора Николая I и Александры Фёдоровны, генерал-фельдмаршал. «Старшим» его называли в отличие от Великого князя Николая Николаевича (Младшего) (6 ноября 1856 — 5 января 1929).

и серебро содрали с икон иноземцы, выгребли все сокровища из Кремля, лошадей держали даже под сводами намоленных церквей.

И всё равно главные твои святыни остались нетронутыми, нетленными.

Вот и рака со святыми мощами святителя Алексия, митрополита Московского, осталась цела и невредима.

В годы татарского ига ходил святитель в Орду по приказу хана Джанибека. Хан грозил: если не придёт святитель, если не вылечит от слепоты ханшу Тайдуллу, разорит он Москву и многих казнит.

Святитель двинулся в путь, плыл на струге по Волге, ехал на конях по степям, шёл пешком. И когда плыл мимо гор заповедных, когда миновал дивный излук в срединном течении реки, остановился на ночлег, испросив отшельника, молящегося в прибрежной пещерке: «Как зовутся эти места?» — «Самарой», — отвечал молитвенник.

И святителю по промыслу Божьему дано было откровение, чтобы провидеть и сказать: «В сих местах процветёт град, который никогда и никем разорён не будет».

И град Самара действительно процвёл, и действительно никогда разорён не был.

С той поры стал митрополит Алексей небесным покровителем не только Москвы, которую спас от разорения, вылечив от слепоты ханшу Тайдуллу, но и града Самары.

Вот и сейчас в Москве, в Богоявленском соборе, который ещё называют Елоховским — по месту, где он выстроен, служится молебен святителю.

Молятся самарские посланники, стоя на коленях перед ракой преподобного, просят его о помощи в битве за освобождение православного народа.

Просят даровать победу русскому оружию над сильным и коварным врагом.

Самарским Знаменем покрыта рака с мощами святого.

Преосвященный Иннокентий, высокий, в постах и молитвах закалённый духом седобородый старец, возглашает:

— Молитвами святых и преподобных, твоими молитвами, святитель Алексей, защити и помоги воинству русскому вме-

сте с братьями славянами одолеть супостата, победить во славу Твою, Господи.

А потом все, кто заполнил храм, от князя Долгорукова до нищенки, которая стоит во вратах храма, не смея вступить в него, поют, как пели и в Самаре:

*Спаси, Господи, люди Твоя
и благослови достояние Твое,
победы православным христианам
над супротивные даруя,
и Твое сохраняя Крестом Твое жительство...*

Эта молитва за Отечество. С церковного на русский она означает прошение: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови владение Твоё, подавая победы на врагов, сохраняя Твоё жилище Крестом Твоим.

И каждое слово этой молитвы впитано с молоком матери русским народом.

Потому и дух во время молитвы закалялся.

Капли святой воды летят от кропила митрополита на лица молящихся, на Знамя. Вспыхивают, как жемчуга, в свете весенних солнечных лучей.

И сам святитель Алексей сейчас стоит в воздухе над молящимися.

И тоже возносит молитвенные слова ко Господу.

Москва, Москва!

Вот и сердце твоё — Кремль. Вот и главные ворота твои — Спасские. На надвратной фреске «Спас Смоленский» — Спаситель в полный рост с раскрытым Евангелием на словах «Рече Господь... Аз есмь дверь, Мною аще кто внидет, спасется».

К ногам его припадают святые преподобные Сергей Радонежский и Варлаам Хутынский. Образ Спаса Смоленского, почитавшийся чудотворным, украшен золочёной ризой, помещён в киот, а перед киотом — фонарь. За огнём лампы следит причт храма Василия Блаженного.

Французы в 1812 году пытались похитить драгоценный оклад, но икона явила чудотворную силу: приставленная лестница опрокинулась, и святыня осталась невредима.

Спасские ворота — главные из всех Кремлёвских и всегда почитались святыми. Через них нельзя проезжать верхом, а проходящие через них мужчины должны снимать головные уборы перед образом Спасителя, освещённым неугасимой лампадой. Тот, кто ослушивался святого правила, должен был сделать 50 земных поклонов. На образ Спаса Смоленского молились приговорённые к смерти. Спасские ворота являлись парадным въездом в Кремль. От священных ворот уходили на битву полки, и здесь же встречали иностранных послов. Все крестные ходы из Кремля шли через эти ворота, все правители России, начиная с царя Михаила Фёдоровича, перед коронацией торжественно проходили через них.

Когда Наполеон проезжал через Спасские ворота в захваченной Москве, то порыв ветра стащил с него его треуголку.

При бегстве французской армии из Москвы Спасскую башню было приказано взорвать, однако подоспевшие донские казаки потушили уже зажжённые фитили.

Прошли москвичи, которых вёл князь Долгоруков, а следом за ними и самарцы, мимо колокольни Ивана Великого, мимо Царь-пушки и Царь-колокола и вышли на Соборную площадь.

Здесь стоят, облитые солнечными лучами, дивные твои храмы, Москва. Успенский собор, величавый, могучий, как сама Россия, как твой великий народ.

Благовещенский под стать Успенскому, но поменьше размерами — как жена праведная, верная, изукрашенная изнутри, как драгоценностями, дивными иконами и росписями кисти преподобного Андрея Рублёва и неизвестных, но столь же великих мастеров его школы. Посвятили собор празднику Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Святой Деве:

Радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою...

У собора девять глав, и это неудивительно. Потому как в русском церковном зодчестве девять глав символизируют образ Пресвятой Богородицы — Царицы Небесной Церкви, которая состоит из девяти чинов Праведников Небес и девяти чинов Ангелов. Напротив Благовещенского стоит собор — стройный, как воин, который обрёл силу и вышел в мир защитить жизнь праведную, наполненную молитвой и верой.

Это первый собор Кремля. Он воздвигнут в честь святого Архангела Михаила по приказу Ивана Калиты в память избавления Руси от чумы.

Здесь усыпальница великих московских князей и царей. Спят вечным сном Дмитрий Донской и Иван III, Иван Грозный, его сыновья, в том числе и убиенный царевич Димитрий.

Рядом с ними и другие великие сыны земли нашей.

Их охраняет Архангел Михаил, предводитель воинства Христова.

Где, в какой стране, в каком городе найдёте вы столь совершенную площадь, столь совершенные храмы, которым дано выразить душу народную?

Нет такой страны, и нет такого города, кроме тебя, Москва.

Депутация подошла к Большому Кремлёвскому Дворцу.

По величавой мраморной лестнице поднялись к аванзалу, перед самым большим из пяти парадных залов Дворца. Все прекрасны: Андреевский, Александровский, Владимирский и Екатерининский — все названы в честь орденов Российской империи, но самый большой и самый величавый — Георгиевский.

Вошли в него — и сердце дрогнуло, забилося учащённо. Надо идти по узорчатому полу, выложенному из более чем двадцати ценных пород — карельской берёзы, индийского палисандра, платана, чинары, ещё каких-то заморских деревьев. Как же не замереть, увидев восемнадцать мощных витых колонн, покрытых орнаментом и увенчанных статуями побед с лавровыми венками. Мраморные статуи на пилонах — символы областей и царств, которые составляют великое государство из множества народов.

А вот и они, знаменитые мраморные доски, на которых высечены названия 545 полков, флотских экипажей и батарей и более 11 тысяч фамилий офицеров и генералов, удостоенных этой высшей военной награды.

Белое и золотое — основные цвета зала.

Банкетки, обтянутые шёлком, цветов орденских георгиевских лент, стоят у беломраморных стен.

Генерал-губернатор, сам Георгиевский кавалер, идёт вперёд, в сопровождении офицеров. За ними идут и остальные прибывшие сюда, в главный зал воинской славы России.

В конце зала, на специальной подставке, устанавливается Самарское Знамя.

По бокам от него — почётный караул.

Долгоруков опускается на колено и целует край Знамени.

— Всем, кто пожелает увидеть Знамя, допускать к нему, — говорит он, выпрямившись.

Приказывает дежурному офицеру:

— За порядком строго следить. Помнить, где народ находится и на какую святыню лицезреет.

Князь повернулся лицом к самарцам:

— Ну что, друзья. Думаю, всё мы сделали правильно. Будет знать Москва, какое Знамя Россия передаст братьям славянам. В дорогу вас снарядим и отправим, думаю, через два-три дня. А пока займёмся делами подготовки к военным действиям. Их ведь немало.

Князь пожал руки — самарцам в первую очередь. Предложил осмотреть Дворец, распрощался со всеми и отбыл.

Глава десятая. Фома Данилов, самарский герой

Маргилан, Ферганская долина, ноябрь 1875 года

Доступ к Самарскому Знамени, как и определил князь Долгоруков, в Кремле продолжался три дня, и за это время Алабин с Кожевниковым многое успели сделать и повидать. Днём решали насущные дела, встречались с нужными людьми, а вечером, когда возвращались в гостиницу, ужинали и расходились по своим номерам.

Впечатления громоздились одно на другое, Алабин, оставшись один, обдумывал, что произошло за минувший день.

Назавтра назначили отъезд и зашли попрощаться с Аксаковым.

Он принял их у себя в Обществе.

— Простите меня, грешного. Сейчас живу на перекладных, потому не принимаю у себя дома. Его у меня просто нет. Жена собралась покупать дом в Варварино, не так далеко от Москвы. Там хорошо, я смотрел. Когда хлопоты улягутся, будет спокойно и благостно. Тишина, природа, сиди и пиши. А здесь суета сует!

Он тяжело вздохнул. Пуговицы сюртука расстёгнуты, виден чёрный жилет с цепочкой часов из кармашка на солидном уже

брюшке. Белая рубашка с галстуком-бабочкой под массивной рыжеватой бородой.

Он взял со стола журнальную книжку, показал гостям:

— Читали?

Это была январская книжка «Дневника писателя» Достоевского со статьёй об унтер-офицере Фоме Данилове, герое-мученике.

— Как же! — сразу же оживился Алабин. — Жена лично просила Достоевских, чтобы подписали нам два номера «Дневника». Один для себя, один для городской библиотеки. Январский номер, слава Богу, получили.

— Видите, как всё сошлось, — сказал Аксаков. — Фёдор Михайлович пишет, что подвиг вашего земляка есть эмблема всего русского народа. Вот ведь как! Пусть и Знамя будет подобной эмблемой!

— Как хорошо вы сказали, — откликнулся Кожевников. — Хочу вам доложить, Иван Сергеевич, что после того как появилось сообщение в «Русском инвалиде» о Фоме Данилове, у нас в Самаре сразу же озаботились судьбой его семьи. Пенсию из государственного казначейства назначили в 120 рублей в месяц. А Земское собрание постановило пожертвования собрать. Здесь Пётр Владимирович руководил.

— И много собрали? — поинтересовался Аксаков.

— Прилично. Свыше тысячи рублей. Шестьсот положили дочери Улите до совершеннолетия, а остальные отдали вдове.

— Славно. У нас все купечество бранят. Мол, жадные. А как поглядишь, то как раз купцы всё строят и строят, всё помогают страждущим и помогают. Вы ведь, Ефим Тимофеевич, тоже из купцов будете?

— Точно так. Наша Самара на купцах и держится.

— Ну, не совсем так. Данилов-то из простых крестьян, — сказал Алабин. — Село Кирсановка, Бугурусланский уезд. Я интересовался. Семейство самое простое. Сам он, как говорят, обыкновенный крестьянин. Служил, значит, хорошо, если в унтеры произвели.

Аксаков внимательно слушал. Его карие глаза, смотрящие сквозь маленькие круглые очки, наполнились выражением внутренней силы, смешанной с глубокой грустью. Огромный лоб придавал ему вид мудреца, узнавшего о жизни немало печального, жестокого, но всё-таки не одолевшего его веры.

— Прав Достоевский, тысячу раз прав, — сказал он. — Вот пишут и говорят о дикости, невежестве нашего народа. Есть всё это в нём, есть. А только настанет минуточка, и полезет наш просвещённый парижанин ноги целовать поработителю. И ведь докажет, что иного выхода у него не было. И что это даже полезно. А вот явится такой Фома и покажет, что действительно полезно всем нам, Отечеству. Да, друзья, под нашим Знаменем и соберутся даниловы. В добрый путь, в добрый путь...

С тем и простились.

Вечером Алабин пришёл в свой гостиничный номер. Думал, что сразу же уснёт, потому что на завтра рано вставать.

Не тут-то было.

«Ведь в этой самой гостинице и Фёдор Михайлович останавливался, — подумал он. — Может, в этом самом номере. Да, как он написал о Данилове... Фома. Какой же он неверующий? Как раз верующий. Уже тот Фома, который стал апостолом и принял во имя Христа смерть мученическую...

И долго ещё Пётр Владимирович думал о Фоме Данилове, и картины жизни русского солдата, каких немало повидал Алабин более всего в Севастополе, представляли перед его богатым воображением.

...Если посмотреть на Ферганскую долину с гор, то она предстанет пред тобою как чаша, наполненная зеленеющими долинами, которые по большей части стелятся вдоль Сырдарьи, ухоженными хлопковыми полями, садами в селениях, где живут люди. Но есть в Ферганской долине и солончаки, а там, куда не доходит вода, встречаются и пески.

Отряд казаков, который двигался из Ташкента в Наманган, следовал по караванному пути, всё дальше удаляясь от мест, обсаженных пирамидальными тополями, от благодатных тенистых садов у оазисов, всё больше попадая на открытые солончаковые пространства.

Отроги каменистых гор здесь стали желтоватыми, с примесью глины.

Стоял ноябрь, солнце к полудню уже не жгло, светило мягче, но всё же от дороги вздымалась жаркая и душная пыль из-под копыт скачущих лошадей, из-под колёс телег, гружёных до отказа разной разностью, необходимой для гарнизона, стоящего в Намангане.

С самого начала пути каптенармусу унтер-офицеру Фоме Данилову не нравилось, как укладывалась на телеги поклажа, как сами телеги были подготовлены к довольно долгой дороге. Слишком многое решили погрузить на выдавшие виды повозки. Крытые высокие двухколёсные повозки, которые здесь назывались арбами, были получше, но и их не хватало.

Начальник отряда, капитан, уже несколько раз проскакивал вдоль отряда к обозу, который отставал, тянулся слишком медленно.

— Данилов, опять еле тащишься! — крикнул он, придерживая своего норовистого скакуна. Сдвинув офицерскую фуражку с потного лба, он зло смотрел на Фому, который опять вынужден был остановить четырёхколесную телегу, которая совсем завалилась набок и, того гляди, могла опрокинуться под тяжестью поклажи.

— Так видь что, — Фома извинительным взглядом посмотрел на капитана. — Навалили поклажи сверх меры. Он, гляньте, ось у колеса-то совсем доломалась.

И верно: капитан глянул на телегу, и гнев его окреп:

— Куды ж смотрел? Теперь что?

— Дак я говорил, вашество. Не послушались, — Фома присел на корточки у колеса, покачал его, и телега рухнула.

— Вот что, Данилов. Перегружай, сколь поместишь, на арбу. И догоняй нас: тут рядом селение есть. Моget, разживёмся телегой.

Он развернул коня и поскакал к голове отряда.

Фома посмотрел ему вслед, потом снова присел, изучая поломку.

— Ну да, кто ж такую ступицу ставит. Ох, греховодники. Мирский, Кузьмин! — окликнул он товарищей по полку, которые сидели на арбе, так как своих коней потеряли в недавней переделке. — Перегружать будем.

Подошли сотник Кузьмин, обер-офицер Святополк-Мирский, дальний родственник князьям этой фамилии.

— Вот, господа, какую нам телегу подсуропили, — Фома продолжал производить осмотр поломки. — Ступица не так на ось надета. Да и сама ось никудышная.

— Погоди, Данилов, — сказал Святополк-Мирский, из дворян, молодой, ушедший воевать, потому что поскорее хотел из

младших офицеров перейти в старшие. Но всё никак не удавалось попасть в такую переделку, где можно проявить доблесть и храбрость. Были бои, но какие-то обыкновенные, а он всё ждал героических. Вот и теперь его определили в помощь капитанармусу, что раздражало.

Кузьмин воевал, потому что надо было воевать, раз он выбрал путь армейского служения. И потому ко всему происходящему относился с казацкой прямой рассудительностью.

— Думаю, надо продовольствие взять. Больше ничего в арбу не поместится.

— А я считаю, что надо взять ящики с вооружением, — сказал Святополк-Мирский. — Еду у местных можно добыть.

— Подсобите-ка, — Фома взял ящик, на котором был нарисован красный крест. — Лекарства возьмём, потом остальное.

Кузьмин помог ему поднять ящик на плечо, и Данилов пошёл к арбе, которая стояла позади сломанной телеги. Только он перегрузил ящик с лекарствами, как заметил, что из-за отрога, выступающего над дорогой, показались всадники.

— Мать Божья! — вскрикнул Фома, резко повернув голову туда, где должен находиться передовой отряд. Но увидел лишь пустую дорогу.

— Кипчаки! — крикнул товарищам, осматриваясь. Ружьё лежало в повозке, и Фома побежал к ней.

Скакуны у местных резвые, а наездники они прирождённые. Сторожевой отряд узбеков давно наблюдал за русскими, которые двигались по тракту. Прятались, выжидая, когда удобнее напасть. А тут добыча сама шла в руки.

Святополк-Мирский и Кузьмин успели вскинуть ружья.

— Не стреляйте! — что есть силы крикнул Фома, видя, что отряд нападающих слишком большой — драться с ними бесполезно. Можно что-нибудь придумать: наши не раз и не два менялись пленными, бывало, что и выкупали попавших в беду.

Но поздно: грохнули выстрелы, два всадника, скакавшие впереди, вылетели из сёдел.

Тут же налетели другие, окружили русских полукольцом, наставив ружья и размахивая саблями.

Наши перезарядить ружья не успели. Святополк-Мирский потянулся было к сабле, но один из всадников, видимо, старший, выстрелил, ранив его.

Он спрыгнул с коня, вырвал из рук Мирского ружьё, жестом показал Кузьмину бросить оружие.

Пришлось послушаться.

Тот, кто приказывал, что-то сказал своим, и те быстро подошли к офицерам, ловко развернули их, связали руки.

Другие всадники, спешившись, уже рылись в добыче, переговаривались, смеясь. Русских привязали за аркан к задней оси арбы.

Двинулись в обратную сторону по тракту. За выступом горы вилась ещё одна дорога, уходившая на юг. Нашим пришлось бежать за арбой. Возчик продолжал нахлёстывать лошадь, не оглядываясь на пленённых.

Хуже всех приходилось Святополку-Мирскому, потому что из раны на плече продолжала сочиться кровь.

Фома, бежавший рядом, видел это.

— Эй, бабай!— крикнул он возчику. — Стой! Ярдам! — он, как мог, показывал, что товарищу нужна помощь: это слово он выучил и запомнил.

Разные племена и народы входили в Кокандское ханство, где теперь приходилось воевать русским. Жили здесь более всего таджики, называющие себя персами, узбеки.

Простой русский народ называл их всех кипчаками, хотя кипчаков-то здесь было меньшинство, и проживала эта народность неподалёку от Ашхабада.

Правил в Маргилане, куда везли пленников, и вовсе киргиз. Звали его Пулат-хан. Он поднял восстание против главы Кокандского ханства Худояр-хана. Никаким Пулат-ханом он вовсе не был, а явился, как наш Гришка Отрепьев, объявив себя наследником известного и почитаемого местным народом Алим-бека.

В плен русских офицеров взял Абдул-Мамын, верный слуга Путат-хана и первый его помощник. Ему как раз нужны были русские офицеры, которые бы учили военному делу его плохо вооружённое и плохо обученное войско.

Солончаки закончились, показались поля с точащими жёлтыми стеблями уже убранного хлопка, потом стены крепости Маргилана, этой столицы шёлка, самого знаменитого на Востоке. Вот и сады, где голыми стояли сливовые, шелковичные, персиковые деревья. Зеленели туи во дворах богатых домов.

В большинстве своём дома были глинобитные, с глухими дувалами — стенами, которые образовывали узкие улочки.

Выехали на базарную площадь, сейчас малолюдную. Направились о дворцу, в котором теперь жил и правил Пулат-хан.

Рядом с ханским дворцом золочёным куполом сверкала мечеть. Около — высокая остроконечная башня, минарет. Мечеть облицована светло-синей и белой плиткой, покрытой глазурью. Сверкали и золотые вкрапления в глазурь.

И купол дворца столь же красив и наряден.

Перед мечетью росла чинара — священное дерево, «дающее тень», метров десяти в высоту, широколиственное, со светло-желтым могучим стволом в несколько обхватов. Сколько лет было этой чинаре, или по-нашему платану, никто не знал. Говорили, что нескольких столетий, по крайней мере.

Пленников втолкнули в полутёмный подвал. Святополк-Мирский с половины пути потерял сознание. Его везли, перекинув через хребет лошади, а потом просто бросили в этот подвал. Здесь было прохладно, и когда Фома отдышался, он, осмотревшись, нашёл глиняный кувшин, надеясь, что в нём есть вода.

Тщетно.

— Кардэш, су, — позвал он.

У них в Кирсановке, под Бугурусланом, где Фома вырос, жили калмыки отдельной слободой, встречались и татары, и некоторые слова, и даже отдельные фразы на их языке Фома знал. Он попросил воды, а к стражнику, которого приставили к двери, обратился как к «другу».

— Ек, — послышался раздражённый ответ.

— Чего там «нет», когда человек умирает. Ярдам, понимаешь? Зови турэ, понятно?

— Ек турэ¹, — ответил стражник.

— Я тебе дам «ек туре», — стараясь говорить грозно, выкрикнул Фома. — Турэ! Турэ!

За дверью послышалось какое-то движение, шаги, потом дверь открылась, показался Абдул-Мамын, тот самый человек, который стрелял в Мирского.

— Чего кричать? — сказал он по-русски. — Плеть хочешь?

— А-а, ты и по-русски говоришь. Умрёт раненый — чего беку скажешь? Выкуп как получишь? Неси воды.

— Шайтан, — огрызнулся Абдул, — Эт²!

¹ Нет начальника.

² Собака.

— Эт не эт, а су давай, — спокойно возразил Фома.

Принесли воды, Фома умыл Мирского, перевязку, сделанную наспех, переменял, промыв рану. Мирский очнулся. Бледное, удлинённое лицо его, с ниточкой чёрных усов, страдальчески смотрело сейчас на Данилова, если не как на отца, то как на родного дядьку. Светлые волосы совсем по-детски спутались клубком, напоззли на лоб.

Фома, широколицый, голубоглазый, с мясистыми щеками, маленьким, пуговкой, носом, лысоватый, с большим лбом, всем своим обликом будто говорил своему младшему товарищу, как ребёнку: «Ничего, потерпи, всё обойдётся».

— Данилов, — с трудом проговорил Мирский. — Что же наши-то... нас бросили?

— Эх, милый. Не бросили. Наверняка за нами вернулись. Но кони-то у басурман быстрые. А у наших — усталые. Да и куда в погоню мчаться? Так что капитан верно рассудил: надо самим ноги уносить. Лучше трёх потерять, чем весь отряд.

— Что же, пропадать? — спросил Кузьмин.

Данилов вытащил из кармана кителя платок, обтёр пот.

— Ну, ещё поглядим.

Кузьмин, казак, привыкший действовать, стал осматривать стены подвала. Достав из сапога ложку, поковырял стену и сказал:

— Вот и ладно. Подкопать можно.

Но тут дверь опять отворилась, и пленников повели на допрос.

Вывели во двор, потом по боковой лестнице поднялись в ханские покои. В просторной комнате пленников бросили на пол перед человеком, который сидел на тронном кресле.

Пол выложен цветной плиткой, кресло с резными подлокотниками и высокой спинкой, из палисандрового дерева. В кресле сидит человек в шёлковом халате с золотыми орнаментами. За поясом, также богато украшенным, в узорчатых ножнах кинжал. Человек в белом тюрбане. Лицо у него тёмно-жёлтого цвета, скуластое, глаза раскосые, смотрят, не мигая, на пленных.

Это и был Пулат-хан.

— Которые из них стреляли? — спросил Пулат.

Абдул-Мамын услужливо показал на Кузьмина и Святополка-Мирского. Последнему опять стало плохо, он свесил голову и застонал.

— От этого толка не будет, — сказал Пулат, посмотрев на Мирского. — Убить.

Они говорили на тюркском, и по отдельным словам Фома понял смысл сказанного.

— Постой, хан. Резать ведь просто. Ты объясни,— обратился он к Абдул-Мамыну. — Молодой офицер, горячий. Да и как быть, когда на тебя нападают? Рассуди.

Пулату приходилось не раз и не два общаться с русскими, и он понял, что сказал Фома.

Покачал головой:

— Двух моих верных батыров убили. И я двух убью.

— Не торопись, хан.

— И ты не торопись, — хан-самозванец перевёл взгляд на Фому, стал рассматривать его долгим взглядом. — Жить хочешь?

— Кто ж не хочет.

— А послужить мне хочешь?

— Да вить оно как. Я бы и послужил, но вить присягу давал. Присяга, она не только царю даётся. Да ты и сам понимаешь.

— Я-то понимаю, а ты, вижу, нет.

Повернулся к Абдуле:

— Веди их на площадь. Казнить будем неверных.

На площади, там, где росла священная чинара, прямо перед ней установили помост, на который и вывели русских.

Кузьмин, приготовив себя к смерти, помолился вместе с Фомой.

Мирский, всё ещё не веря, что пришёл смертный час, недоуменно смотрел на толпу, собравшуюся у помоста, на палача, худого и маленького человека, которому всё равно кого было резать — баранов ли, людей ли: одинаково быстро и ловко он перерезал горло. Раздетый до пояса, в плотных штанах с кожаным верхом, он поглядывал на русских, которых поставил на колени ещё один палач.

Этот был рослый, крепкий человек, тоже в штанах с кожаным верхом, но и в жилетке, открывавшей сильную грудь и сильные руки. На правом боку у него болталась сабля.

Пулат, сидящий в поставленном для него кресле, на сделанном для таких случаев возвышении на помосте, махнул рукой.

Рослый палач схватил Мирского за светлую копну волос и приподнял её. Маленький палач быстро подскочил сзади и

молниеносно полоснул по белому горлу. Нож у него был кривой, особенный, он отрезал голову от шеи так, как будто разрезают арбуз одним ударом.

Рослый палач поднял голову Мирского, показывая её толпе, зажав волосы в руке и отставив её так, чтобы кровь стекала на землю. Он прошёлся по краю помоста, затем бросил голову на приготовленную мешковину, лежащую позади пленных.

Пулат снова махнул рукой, и теперь голова Кузьмина отделилась от его крепкого казацкого тела.

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости мне прегрешения вольные и невольные», — шептал Фома, подняв глаза к небу, стараясь не видеть отрезанных голов своих товарищей. Но как он ни отводил глаза, всё же видел обезглавленные тела и лежащие на мешковине головы. Странно, но у Мирского глаза были открыты, и в них застыло страдание, а глаза оренбургского казака были закрыты, и выражение лица хранило спокойствие.

Пулат-хан встал и, обращаясь к толпе, сказал о том, что все неверные будут так же казнены.

— Но тот, кто будет верно служить нам, — он показал на Данилова, — тому дарую жизнь. Поднимите его.

Рослый палач поднял Фому с колен.

Обескураженный Фома, невысокий, широкоплечий, с крупной головой, на которой торчали по бокам в разные стороны русые волосы, недоуменно смотрел на Пулат-хана. Китель с него сняли, оставили лишь исподнюю рубашку да брюки. Сапоги тоже сняли.

— Вот тебе раз, — сказал Фома. — Это как же?

— Русский офицер будет учить воевать наших воинов, — продолжал Пулат. — Стрелять из ружей и пушек. И примет нашу веру. Уведите его.

Фому отвели, но уже не в подвал, а в жилую комнату, где находился слуга. Он дал Фоме шёлковый халат, мягкие сапоги. Стоял, согнувшись подобострастно, ожидая приказаний.

— Да не нужен мне твой халат, — Фома отшвырнул чужую одежду. — Умыться дай. И принеси мой китель и сапоги.

Он жестами показал, что ему нужно, вставляя в речь слова, которые знал по-азиатски. Языки татарский и калмыцкий схожи, близки они и другим тюркским языкам, и то, что помнил Фома, с трудом, но можно было понять и местным, тем более

что в Маргилане, столице шёлка, стоящем на Великом Шёлковом пути, проживало свыше тридцати народностей.

Слуга понял лишь про воду, принёс её. Потом принёс еду.

Но есть Фома не мог. Сидел, уставившись на ковёр, висевший на стене, думал. Время от времени видел отрубленные головы товарищей, их тела. Мотал своей головой, будто проверяя, цела ли она.

«Господи, спаси и укрепи. Матерь Божья, Пречистая и Преблагая, молись за душу мою грешную. Я ведь не давал никакого согласия, Ты знаешь. И не дам. Не буду предавать моих товарищей, умру, но не буду иудой проклятым, — вспомнил о жене: — Ты прости меня, Фросенька, но нельзя мне по-другому. Думал, отвоюем, вернусь к тебе, милая моя жёнушка. И ты прости, Улитка, доченька моя славная. Хотел гостинчик тебе привезти. На платица шёлку вам обоим припас. Уж больно красивый он здесь. Да и народ хороший. Вот только ханы да беки у них кровавые. Ну, что ж, значит, Господь мне такую долю уготовил... И вы простите, товарищи мои полковые. Я виноват. Надо было телегу-то эту не брать. Вернее всё как следует посмотреть. Ведь если плохая ступица, плоха и ось. А какова ось, таково и колесо. Всё важно, до каждой спицы. Иначе колесо не будет крутиться. Сломается...»

Он встал с колен, прилёг на постель.

«Ишь, как мягко постелили. Да жёстко спать... Если рассудить, как батюшка Владимир нас учил в Кирсановке... хороший был батюшка, царство ему небесное. Венчал нас с Фросенькой... Учил, чтобы умели сами рассудить... Вот про ступицу. Она ведь как сердце человека. Если барахлит, то и ось барахлит. А ось — что? Конечно, это вера наша православная. Она и даёт правильно нашему колесу жизни вращаться. Вот и едем мы по нужной дороге. А если ось лопнет, колесо сломается... Эка я рассудил! Прямо как по писанному...»

Фома не заметил, как заснул.

Проснулся от того, что кто-то теребил его за плечо.

Это пришёл слуга. Звал Пулат-хан.

Уже в другой комнате усадил его на ковёр напротив себя. За угощением сидел и Абдул-Мамын.

— Ешь, пей, — сказал Пулат.

«А что, перед смертью можно и поесть», — решил Фома.

Сел.

Налили ему в пиалу вина из золоченого кувшина.

Фома перекрестился, выпил.

— Креститься больше не будешь, — сказал Пулат. — Нашу веру примешь.

Фома уже научился есть плов пальцами, ловко собирая его в щепоть и отправляя в рот.

— Хорош плов. Ты скажи хану, — обратился он к Абдул-Мамыну, — что от веры своей отказываться негоже. У нас так никто не делает.

— Делает, делает, — сказал, ухмыляясь, Пулат. — Вот я тебя во дворце поселю, женщин пришлю. Разве не откажешься от своей веры?

— Да зачем я тебе такой понадобился? Неужто никто из пушки пальнуть не может?

— Может, да мимо. А ты научишь прямо бить в цель.

— По своим? Ну сам посуди, хан. Стал бы ты бить по своим?

— Я? Как смеешь равнять меня и себя? Абдул, ну-ка, плети ему. Сколько выдержишь?

— Да сколько будет твоей душе угодно.

— Ладно, — взгляд Пулата опять стал неподвижным, лицо опять словно окаменело. — Поглядим, какой ты храбрец. Завтра на площадь тебя выведут и будут не только плетью пороть, но ещё и кожу снимать. Про это знаешь?

— Слышал.

— До утра подумай как следует.

— Подумать обещаю.

— Чтобы лучше думалось, плетей ему, Абдул. Но в живых оставить.

— Слушаюсь.

Фому увели во двор. Привязали руки к низкому каменному столбу, поставив на колени.

Порол его особый палач, умеющий бить с оттяжкой.

Сначала палач считал удары. Потом перестал, видя, что тело Фомы обмякло, повалилось на землю.

Фому унесли в комнату, где он уже спал. Слуга обмыл его спину, смазал каким-то снадобьем.

Боль не отступала. Фома забывался, теряя сознание.

Потом всё же заснул.

Утром его снова привели к Пулат-хану. Он сидел на тронном кресле. Лицо опять, как и вчера, тронула улыбка:

— Хорошо ли спал? Желаешь ли поесть?

— Да чего уж нам тары-бары разводить. Кончать пора эту музыку.

— Какую музыку? Говори ясней, — обратился к нему Абдул-Мамын.

— Да чего уж там ясней. Всё ясней ясного. Не стану христо-продавцем. Вашу веру я уважаю, и вы уж будьте так любезны мою веру уважить. Учить ваших тоже не буду, потому как царю и отечеству присягу давал. Вот и вся музыка.

Лицо Пулат-хана стало каменным:

— Ведите его на площадь.

Повели Фому туда же, где казнили Святополка-Мирского и Кузьмина.

Фома опять подивился громадному дереву, стоящему в стороне от помоста.

«Вот ведь какое, — подумал он. — А коры, как у наших деревьев, нет. Как же без коры? Как без кожи и человеку? Если с меня её будут сдирать? А ведь таким чинарам, говорят, бывает и по пятьсот лет. Недаром их называют священными...»

Его завели на помост. Он был в нижней рубашке, в солдатских брюках, босиком. Посмотрел на запрудивший площадь народ, вскинул голову:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Матерь Божья, простите, если буду кричать, но вас не предам и крест свой не сниму. И вы простите, люди грешные. Если в чём-то перед вами виноват. Скажи, чтобы руки развязал, — сказал он Абдул-Мамыну. — Дай перед смертью перекреститься.

Абдул сказал о просьбе Фомы Путату, который сидел, как и в прошлый раз, на своём возвышении.

Тот кивнул.

Фоме развязали руки, он осенил себя широким крестом.

Рослый палач взял руку Фомы и положил на плаху.

Стал поочерёдно отрубать фаланги пальцев.

Маленький палач подхватывал обрубки, показывал народу и бросал в ведро.

С каждым ударом топора толпа вскрикивала.

Кричал и Фома.

Когда отрубили все десять фаланг пальцев, толпа замерла. В наступившей тишине отчётливо прозвучал крик Пулата:

— Отрекайся! Будешь помилован!

— Нет, — прошептал Фома и для убедительности поводил головой из стороны в сторону.

Рослый палач взял его за плечи, а маленький выхватил свой кривой нож и надрезал кожу на спине Фомы. Потом провёл своим ножом по левой стороне спины, потом по правой. Из кожи Фомы получилась полоса, называемая ремнём, и палач показал её замершей толпе.

— Ну, Фома?! — грозно крикнул Пулат.

Фома поднял голову.

— Не дождёшься, — выдохнул он.

— Режь! — приказал Пулат.

Тряпкой палач вытер кровь со спины Фомы и стал вырезать второй ремень.

Вырезал.

Показал толпе.

Повесил её, как тряпку, на тонкий кол, рядом с головами Святополка-Мирского и Кузьмина.

Фома потерял сознание, голова его поникла.

Маленький палач плеснул воду из приготовленного для этой цели кувшина.

Фома очнулся.

В толпе началось движение, слышались какие-то крики. Видимо, у кого-то не выдержали нервы, кто-то начал сочувствовать русскому мученику.

Толпа уже устала от вида крови и ужасов пыток.

— Режь! — приказал Пулат.

Голову Фомы за волосы взять было нельзя, потому как она почти лысая.

Рослый палач за подбородок приподнял её, и маленький ловко, одним движением срезал голову.

Палач вскинул голову убиенного вверх.

Народ молчал.

Надо расходиться, но почему-то никто не трогался с места.

— Батыр, — внятно сказал кто-то в толпе.

— Батыр! — раздалось и в другой стороне.

— Батыр! — повторялось ещё и ещё.

Пулат-хан встал, подошёл к краю помоста.
— Да, батыр. Тело не выбросим собакам, а предадим земле.
Уходя, он глянул на голову Фомы Данилова.
Глаза были закрыты, на лицо легла печать вечности.

Глава одиннадцатая. Знамя в строю

Самара, весна 1896 года, Плоешти, май 1877 года

Бывают такие дни, такие минуты, когда с поразительной ясностью встаёт вдруг перед глазами пережитое.

Вот и сейчас, когда скрылся в створе Жигулёвских ворот «Вестник», когда Алабин пошёл от пристани не вверх по откосу, а почему-то вдоль берега, переступая через брёвна, полусгнившие доски, валяющиеся здесь ржавые бочки. Остановившись у разлапистой коряги и глядя на её причудливые изгибы, мысль своей зацепился за тот день, который встал перед ним во всех подробностях. Он подумал, что тот день, может быть, стал для него самым важным в жизни. И минувший, и предстоящий суды показались ему до того ничтожными, случайными, что он даже тихонько засмеялся.

«Суды, как вот эта коряга, — подумал он. — Валяются, неизвестно откуда взявшись и неизвестно зачем. Валяются на пути и вот эти брёвна, никому ненужные, гнилые. Их вроде бы не обойти. Но всё-таки можно выйти вон на то место, на чистый песок».

Он так и сделал, и на душе почему-то сделалось легче, спокойней.

И свежий волжский ветер, и это утро, и река, и горы вдаль — всё помогло ему сейчас увидеть тот вечер накануне шестого мая и сам незабываемый день в лагере болгарской дружины.

Там, в прекрасной румынской долине, под небольшим городком Плоешти...

...Лагерь болгарских дружин расположился на просторном зелёном поле, хорошо освещённом солнцем. На небе ни облачка, и оно такое синее, какое бывает только дружной весной здесь, в предгорьях Балкан.

Плоешти — городок ничем не примечательный, но завтра ему предстоит стать известным не только в Румынии, которая выступила на стороне России, объявившей Турции войну.

Плоешти станет известен и Болгарии, и всей России.

Отсюда до Болгарии ближайший путь, и потому здесь, в удобном для наступления месте, собраны болгарские ополченцы и русские, всему миру объявившие, что не могут остаться в стороне, когда братьев-славян вырезают, сжигают живьём, насилуют, обращаются с целым народом хуже, чем со скотом.

Алабин и Кожевников вошли в палатку генерал-майора Столетова. Они прибыли в лагерь утром, уже доложились Николаю Григорьевичу, который был назначен командовать болгарскими дружинами и русскими ополченцами. Здесь и решено передать Знамя болгарам.

Столетов пригласил самарян, чтобы обсудить подробности церемонии. У него в палатке уже находились офицеры, которых он и познакомил с Алабиным и Кожевниковым. Это были командующий знаменной дружины подполковник Пётр Павлович Калитин и унтер-офицер, назначенный знаменосцем, Антон Марчин.

Николай Григорьевич Столетов относился к тем генералам, которые не любят светских церемоний и более всего ценят тех людей, которые проверяются в деле, а более всего в бою. Именно таких офицеров он и подобрал.

Об Алабине и его спутнике он узнал и по официальной почте, и в письме от Ивана Сергеевича Аксакова.

Столетов, прекрасно и разносторонне образованный, один из лучших студентов физико-математического факультета московского университета и в то же время явно одарённый музыкально, выбрал всё же путь воинский и начал его фейерверкером¹ в Крымской войне.

Алабин знал от боевых товарищей по Севастопольской обороне и по печати, что Николай Столетов произведён в офицеры потому, что проявил себя героем, защищая знаменитый четвёртый бастион.

Уже офицером участвовал в не менее знаменитом сражении на Чёрной речке и в других боях и дослужился до чина генерал-майора. Среднего роста, крепкий, с густыми волосами, расчёсанными на пробор, и с такими же густыми усами, но без бороды, с высоким лбом, с волевым взглядом, смягчённым выражением ума и доброты, Столетов сразу же располагал к себе.

¹ Фейерверкер — унтер-офицерское воинское звание и должность в артиллерийских частях российской императорской армии.

Он происходил из старинной купеческой семьи. Младший брат Александр уже в те годы проявил себя как выдающийся учёный — через годы его имя станет известным не только в России, но и в Европе. А Николаю в сорок шесть лет предстояло прославить себя как выдающегося военачальника.

— Ну что ж, друзья, кажется, всё обсудили, — сказал Николай Григорьевич, когда разговор о порядке проведения торжественной церемонии закончили.

— Утром прибудет великий князь Николай Николаевич. Все же дал согласие. А то хотел вместо себя прислать сына.

— Сын ведь тоже Николай Николаевич? — спросил Калитин, которому предстояло стать во главе знаменной дружины.

Сухощавый, стройный, в тридцать лет уже подполковник, отмеченный золотой саблей «За храбрость» в Туркестанских походах генерала Скобелева, Павел Калитин все чины и награды, как и Столетов, тоже получил за боевые заслуги.

— Да, — ответил Николай Григорьевич. — Ему двадцать один год. Капитан. Говорят, храбр и рвётся в бой. Что и немудрено: в молодые года все мы таковы. Прошу, господа, к столу. Как говорится, чем Бог послал.

Обед приготовили самый простой, походный. Мясные наваристые щи, перловая каша, горячий чай.

— А что, Павел Петрович, — обратился Столетов к Калитину, — у Скобелева обедали получше, чем у нас?

— Ну что вы. И в Азии щи хлебали такие же, какими вы нас потчуете. А если местные баи нас принимали, то уж обязательно плов. Ничего плохого об их пище не скажу. Вот только руками едят. Но и к этому привыкаешь.

— Хочу вас спросить, — вступил в разговор Алабин. — Что с Пулат-ханом? Вы слышали о его зверствах?

— Как же. Я ведь участвовал в Кокандском деле. И Маргилан брали. Вы, наверное, о вашем самарском герое спрашиваете? Фамилию вот не запомнил...

— Фома Данилов, — подсказал Кожевников.

— Точно. Этого хана повесили на той же площади, где Фому пытали. Между прочим, он никакой не Пулат. Самозванец оказался. Пощады просил.

Ефим Тимофеевич пил чай, откусывая по маленькому кусочку колотого сахара.

Столетов заметил это, улыбнулся:

— А вы, Ефим Тимофеевич, из купечества будете?

Кожевников перестал пить, остановив кружку на весу:

— Точно так. Вы вот по этому определили? — он показал кусочек сахара. — А я о вас по газетам и журналам знаю. Читал, что и вы, Николай Григорьевич, из нашего сословия будете, — и он продолжил пить чай. — Жаль, что у вас блюдец нет. Купцы из них любят чай прихлёбывать, — он тоже улыбнулся. — А самовар у вас славный.

Столетов дружески смотрел на Кожевникова.

— Блюдца я вам в Москве подам. Как врага разобью. Да, друзья, Знамя — это ведь святыня. И будем это помнить, даже если смертный час придёт, — он посмотрел на молодого унтер-офицера. — Вас, Антон Евгеньевич, мне рекомендовали как смелого и сильного офицера.

Антон Марчин, лишь недавно произведённый в унтер-офицеры, встал. Был он среднего роста, плечист, силён. По утрам поднимал пудовую гирию, подбрасывая её, как мячик, ловя на лету и снова подбрасывая, — и так раз до пятидесяти.

— Я клятву дам, ваше превосходительство. И благодарен, что вы меня выбрали.

— Да вы садитесь, Антон. Не перед строем ведь. Знаете, мне про Михал Дмитрича рассказывали, что он, ещё когда в академии учился, в каникулы в Данию уехал. Там тогда воевали. А он, значит, для практики туда рванул безо всякого разрешения. И знаете, что отчебучил? Во время боя пробился к датскому знаменосцу, вырвал из его рук знамя и вернулся к своим. Просто вырвал — и всё. Без единого выстрела.

Лицо Калитина выразило неподдельное восхищение:

— Он вообще удивительный человек. В белом кителе, в белой фуражке, на белом коне — и в гуще боя! Всем виден — и нашим, и врагу. Палят в него, с саблями лезут, со штыками, а он словно заговорённый! Как тут не пойти вперёд за таким командиром!

Столетов перестал улыбаться:

— Храбрость его и впрямь не знает границ. Но ведь он и боевые операции умно организует. Потому и не знает поражений. Но это на поле боя, друзья. А вот во дворцах... — Столетов поставил на стол кружку и опустил голову, — во дворцах иначе рассудили. Надеюсь, однако, мнение своё они переменят.

— Что, вообще не дают ему и полка хотя бы? — изумился Калитин. — Ему, победителю трёх царств?

— Говорят, здесь не с халатами воевать, — ответил Столетов. — У турок ведь совсем другая армия. И вооружена она английскими ружьями и пушками.

— Уверен, он всё равно сюда прибудет, — сказал Калитин. — Разве его удержать, когда такая война началась?

— Да, друзья, война и в самом деле нам предстоит необычная. Мы знамёна понесём над полками братьев славян вместе с полками нашими, русскими. За веру нашу и Отечество не только земное, но и небесное.

...Утро 6 мая выдалось ясное, озарённое солнцем.

Оно наполнило душу Алабина, и он вдохнул полной грудью.

Из палатки вслед за ним вышел и Кожевников в расстёгнутом штатском кителе, с капельками воды на окладистой бороде. Посмотрел хозяйским взглядом на небо, солнце, приветствуя земляка:

— Хорош будет денёк, Пётр Владимирович. С праздничком вас.

— Вас также, Ефим Тимофеевич. Дождались, слава Богу.

— И как всё сошлось, прямо удивительно. Ведь сегодня память святого Георгия Победоносца.

Алабин быстро глянул на Кожевникова:

— И в самом деле. А я запомнил. Кто будет молебен служить? Вы узнавали?

— Их полковой священник. Отец Пётр, кажется. По-болгарски Петко... Гляньте, вон и наши идут.

От одной из палаток, установленных в длинный ряд, к ним шли Пётр Калитин и Антон Марчин. Поздоровались, как давние знакомые. И в самом деле, казалось, что они давно знают друг друга.

— Не сидится в палатке, — извинительным тоном сказал Калитин.

— Пришли в самый раз, — Кожевников застегнул свой чёрный китель с медалями на груди. — Древко понесу я, Пётр Владимирович — Знамя. Вы, Пётр Павлович, идёте следом за нами, несёте копьё на древко и ленты. Вы, Антон, несёте на подносе золочёные гвозди и молоток. Знамя к древку первым гвоздём

прибьёт великий князь. Затем Николай Григорьевич. Затем мы с Петром Владимировичем. Затем кто-то из болгар. Потом все дальше, как определились. Но могут быть высочайшие изменения — узнаем на месте.

Прозвучал сигнал к построению. Болгарские воины строились в шеренги по бригадам. Они уже надели ополченское обмундирование — меховые шапки с красным, синим и чёрным верхом, по принадлежности к бригаде, чёрные мундиры-плащи с шитьём, шаровары, мягкие полусапожки, называемые здесь опанками. Через плечо на ремне ружья. Мундиры подпоясаны кожаными ремнями, на которых укреплены прямоугольные сумки для патронов. Однако в шеренгах болгар была и пестрота: из-за нехватки обмундирования пришлось некоторым ополченцам пока быть в том, в чём прибыли воевать. Этих бойцов ставили во вторые шеренги.

Русские ополченцы выстроились в две квадратные коробки. Обмундированы в тёмно-зелёные куртки с отложными воротничками и красными погонами, подпоясаны ремнями с пряжками, брюки заправлены в сапоги.

Во главе первых шеренг встали военачальники. Их мундиры с витыми золочёными аксельбантами, с орденами блестели, вспыхивая на солнце.

Впереди болгарских ополченцев стоял немолодой воин, которому предстояло принять Знамя. Он был в остроконечной барашковой папахе, в меховой куртке, расшитой орнаментом, надетой поверх красной суконной рубахи, подпоясанной широким поясом — калаком, за которым торчали пистолеты и в позолоченных ножнах — ятаган.

Лицо волевое, с густыми длинными седыми усами.

Это был Цеко Петков, болгарский герой.

От них, несколько в стороне, стоял священник Петко Драганов, один из восьми уцелевших болгар — героических защитников Дряновского монастыря¹ — центра освободительного движения. Во время апрельского восстания 1876 года монастырь стал крепостью, которую болгарские воины сдали после кровопролитных боёв.

¹ Дряновский монастырь Архангела Михаила расположен в горном ущелье, близ рек Дряново и Андака, в пяти километрах от города Дряново.

Перед походным столиком, на котором он установил икону и положил крест, кропило и золочёную чашу с водой, стоял юный иподиакон.

Долина была зелена, её окаймляла на юге гряда гор, над которыми уже рассеялись облака. Светлые ряды воинских палаток не портили общего вида, а наоборот, сейчас придавали ему нарядность.

Из-за края палаток показалась небольшая кавалькада всадников, впереди которой на великолепном кауром жеребце скакал великий князь Николай Николаевич Романов, брат императора Александра II. Отличный наездник, с прекрасной кавалерийской выправкой, он сидел в седле со спиною прямой, как доска. Слегка придерживая поводья левой рукой, правой он отдал честь, приложив ладонь в белой перчатке к козырьку генеральской фуражки с красным кантом.

Грянуло громовое «Ура!».

Чуть позади генерала, назначенного императором командовать русскими и болгарскими войсками, скакал его сын, тоже Николай Николаевич. Его стали именовать Николаем Николаевичем Младшим. Лицо продолговатое, молодое, светлые пушистые усы.

В седле, как и отец, держится уверенно. Конь у него холёный, пегий, с чёрными пятнами на белом крупе, белой звездой во лбу.

За ними — свитские, тоже верхами.

Спешились. Великий князь поздоровался со Столетовым за руку. Кивнул Алабину и Кожевникову, которые стояли чуть поодаль от генерала.

Великий князь кивнул священнику, и тот начал молебен.

Голос священника, громкий, басовитый, хорошо слышен в чистом весеннем воздухе. Он разносился над шеренгами воинов, над всей долиной, летел прямо в небо:

— Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови благое намерение рабов Твоих сих и дело их еже благополучно начати и без всякаго преткновения к славе Твоей совершити...

И каждое слово молебна, совершаемого при освещении Знамени, было понятно и болгарам, и русским, и отзывалось в православных сердцах. Ибо этот язык был един, дан им, идущим на смертный бой, святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, просветителями славян:

—...делателем же благопоспеши и дела рук исправи, и в совершение силою Пресвятаго Твоего Духа спешно произвести сотвори, яко Ты еси Творец и Создатель всяческих, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

И Дух Святой, Благой и Животворящий, сходил на всех, стоящих в зелёной долине.

И все преклонили колена и склонили головы, сняв головные уборы.

Великий князь принял молоток и гвоздь и прибил его к дереву.

Снова опустился на колено и поцеловал край Знамени.

То же сделал и его сын.

Затем генерал Столетов, болгарские командиры болгарских бригад, Алабин, Кожевников.

Стук молотка был отчётливо слышен в утренней тишине.

Когда гвоздь прибил Цеко Петков и, поцеловав Знамя, поднялся с колен, то произнёс:

— Да поможет Бог пройти этому знамени из конца в конец всю землю болгарскую! Да утрут им наши матери, жёны и дочери свои скорбные очи! Да побежит перед ним всё поганое, злое, нечестное! И да ляжет позади него мир, тишина и благоденствие!

Он развернул Знамя и высоко поднял его над собой.

Тысячи шапок взлетели в воздух под громовое «Ура!»

У многих на глазах выступили слёзы.

Когда стихло, раздался приказ к церемониальному маршу.

Побригадно, равняясь на Знамя, прошли мимо него воины.

Вперёд выдвинулся Алабин:

— Прошли века с той поры, как в последний раз развевались болгарские знамёна в рядах свободных болгарских дружин, — начал он. Лицо его, взволнованное, волевое, выражало то, чем была полна душа. — Те знамёна потонули в реках крови на полях Косова. И вот опять над болгарской дружиной вздымается родное знамя. Издалека, через всю русскую землю, оно нами принесено к вам как живое свидетельство того, что даётся вам не одним каким уголком России, а всюю русской землёй. На знамени этом начертан 1876 год, то есть тот год, в который вся Русь затрепетала при виде ваших невыносимых страданий. Тот

год, который истощил меру долготерпения вашего и на восстание прав ваших вложил меч в руку. Идите же под сенью этого знамени. Пусть оно будет знаменем водворения в вашей много-страдальной стране мира, тишины и просвещения. Пусть знамя это останется памятью вашим потомкам!

Снова грянуло «Ура!»

Отдав честь, проскакал вдоль строя, прощаясь, великий князь. И только после этого отдана была команда разойтись.

Глава двенадцатая. От Волги до Дуная

Июнь 1877 года

Путь Ивана Теплякова из Самары на Балканы, от Волги до Дуная, оказался совсем не таким, каким он его намечал. До Москвы он добрался обычным порядком, так как не один раз преодолевал этот путь. А вот от Москвы даже до Кишинёва доехать получилось крайне затруднительно.

Неприятности начались с выправления нужных бумаг уже в Москве. Слава Богу, помог совет Петра Владимировича Алабина обращаться в затруднительных ситуациях в Славянский комитет, а то и прямо к Ивану Сергеевичу Аксакову. На документ от «Самарской газеты» внимание если и обращали, то как-то снисходительно, чуть ли не с насмешкой, мол, что вы эдакую провинциальную бумагу предъявляете. Это всё равно, что и ничего не предъявлять, так как здесь всё-таки Москва, а не какая-то там Самара.

Иван уже подумывал найти военное ведомство, где идёт формирование отрядов, отправляемых на войну, записаться вольноопределяющимся. Краем уха он слышал о таких военнослужащих, хотя толком и не знал, чем отличается вольноопределяющийся от простого солдата.

Иван Сергеевич, принявший молодого литератора, объяснил, что Теплякову для того, чтобы быть в курсе событий, прежде всего, нужна свобода перемещений и связь со штабными офицерами, чтобы передавать сообщения с театра военных действий. А вольноопределяющийся, хотя и имеет некоторые преимущества перед рядовыми солдатами, но всё равно скован уставными требованиями.

Иван Сергеевич дал Теплякову солидную бумагу от Славянского комитета и связал с людьми Российского Телеграфного

Агенства, которое находилось в Петербурге, но и в Москве имело своих представителей. Аксаков пожелал молодому человеку не лезть в опасные предприятия, чтобы сберечь свою голову, которая, кроме всего прочего, нужна теперь ещё и делу.

Иван, окрылённый, что получил нужные документы, а более всего радуясь тому, кто вручил их, в тот же день выехал из Москвы.

До Кишинёва он добирался почти неделю, на перекладных. Но ещё труднее оказалось добираться по земле румынской, до городка Зимницы, где, как он с большим трудом выяснил, располагался штаб дивизии, которой командовал генерал-майор Драгомиров. Именно к нему и адресовал Теплякова Аксаков, объяснив ему, что это за генерал, и какую роль ему предстоит сыграть в начавшейся войне.

Аксаков сказал, что нет в России, да и во всей Европе, пожалуй, более опытного и умного военного тактика. Ведь неслучайно Михаил Иванович преподавал тактику в Академии генерального штаба и всеми признавался как крупнейший авторитет. Причём свои знания и опыт он приобрёл не только в учебных заведениях и в Академии, но и во время войны.

Уже наступал вечер, когда Иван добрался до штаба дивизии. Голодный, вконец измученный бесконечными вопросами: кто он да что он, к кому направляется и зачем — в изрядно пропылённом своём дорожном плаще, клетчатом кепи, более годящимся для загородных прогулок, чем для военной обстановки, Иван, сопровождаемый лейтенантом, проявившим к нему участие, вошёл в каменный одноэтажный дом, более деревенский, чем городской, где разместился генерал Драгомиров.

В сенях лейтенант попросил Теплякова подождать, дожидаясь дежурному офицеру, и через время Ивана ввели к генералу.

Тепляков увидел человека средних лет, в генеральском мундире, сидящего у стола. На столе лежала карта. Всё остальное в комнате состояло из обычного деревенского убранства. Цветные занавесочки на окнах, цветки в горшках на подоконниках, деревянные табуретки вокруг стола, лавки вдоль стен, в красном углу — иконы с расшитым рушником сверху и вдоль них.

В этом доме генерал жил уже более месяца, с того дня, как стали готовиться форсировать Дунай.

Иван смотрел на генерала так, как смотрит ученик на преподавателя, ожидая, какую ему поставят оценку или вообще отправят домой.

Выглядел Драгомиров достаточно сурово в наглухо застёгнутом чёрном кителе. Почти лысый, с седыми волосами, которые лишь окаймляли его круглую голову, с чёрными усами, без бакенбардов и бороды, которые были в моде у военных высших рангов, он производил впечатление совсем не генеральское. И не погоны, которые указывали на его чин, а по взгляду глубоких тёмных глаз, по серьёзности и пристальности, с какой этот взгляд устремлён на собеседника, сразу можно было понять, что перед тобою именно тот человек, который и предназначен к управлению солдатскими массами.

Рассмотрев документы, выданные Аксаковым, Драгомиров передал его рядом стоящему рослому, крупному человеку с солидной чёрно-белой бородой, такими же густыми волосами на голове, к удивлению Теплякова, в штатском костюме и с очками, привешенными к кармашку тёмного широкополого пиджака. Человек этот надел очки, прочитал аксаковские бумаги, улыбнулся и шагнул навстречу Теплякову, протянув руку:

— Рад приветствовать товарища по служению музам. Верещагин, Василий Васильевич. А вы, значит, Иван Иванович?

— Да, — отозвался Тепляков, ещё не веря, что перед ним знаменитый художник. — Я тоже рад... очень. А то меня за ревизора какого-то принимают, то за шпиона, прямо напасть какая-то. Почти как у Гоголя.

— А зачем вы аглицкую кепи надели? И плащ у вас французский, верно? Как же вас за своего принять?— Верещагин продолжал улыбаться, его широкое, с мужицкими чертами лицо сейчас выражало добродушное лукавство.

— Да как-то так, — растерянно ответил Тепляков. — Под рукой ничего другого не оказалось.

Драгомиров, которому Верещагин вернул бумаги Теплякова, снова внимательно рассмотрел их.

— Тут ещё одна бумага от «Самарской газеты», — сказал Драгомиров. — Что же вы со своими-то не поехали?

— Да я хотел! — горячо ответил Иван. — Но тут матушка как раз захворала. И не с кем было её оставить. Да и если признаться... Впрочем это уже личное, не имеет значения.

— Не хотела отпускать на войну? — сказал кто-то за спиной Теплякова. Он резко оглянулся и увидел лицо с пышными усами, бородой, разделённой надвое, соединённой с такими же пышными бакенбардами, росшими почти перпендикулярно к щекам. Глаза офицера хитровато смеялись и в то же время изучали Ивана.

Офицер снял шинель, положил её на скамейку, и Тепляков увидел генеральские погоны.

«Кто это? — быстро подумал он. — Как будто знакомое лицо...»

— Да, вы верно заметили. Вот я и отстал от самарских, — ответил Иван.

— Вы из купцов будете? Раз самарский, — сказал генерал с пышными бакенбардами.

— Нет, в Самаре не только купцы живут. Отец — дворянин. Было имение под Рязанью. Но он его продал и купил немного земли в Самарской губернии.

— Почему же? — этот вопрос задал знакомый-незнакомец генерал.

— Отец не поладил с губернатором... Была тяжба из-за поместья... Отца пригласил в Самару его давний друг по военной службе.

— А вашего батюшку звали...

— Иван Егорович Тепляков, майор, участник Крымской кампании. Скончался от ранений уже в Самаре.

— О нём слышал, ведь и я к Рязани имею отношение. В Ряжском уезде Заборово, не слышали? — сказал всё тот же генерал. Похоже, он непринуждённо вёл допрос и сейчас ждал ответа.

— Как же, слышал! — радостно воскликнул Иван. — А наше было в Кораблино, знаете?

Генерал кивнул, уже не притворно улыбаясь:

— Что же вы, Иван Иванович, прямо с дороги? Голодны? Михаил Иванович, разрешите заняться господином литератором?

— Да, разрешаю, — ответил Драгомиров, выяснив, кто таков прибывший к ним. — Размести его, Михал Дмитрич.

— Это уж мне позвольте, господа генералы, — вмешался Верещагин. — В моей хате места предостаточно. Надеюсь, вы не храпите, молодой человек?

— Нет, такого греха за мной не водится, — Иван вздохнул с облегчением, радуясь, что допрос благополучно завершился.

Слава Богу, этот генерал тоже рязанский, знал батюшку. Поймай, да его имение было вроде как рядом с нашим. Заборово, Рязского уезда...

«Скобелев!» — чуть не крикнул он, догадавшись наконец, кто перед ним.

Вот это награда за мытарства! Каких людей сразу же увидел и с кем познакомился!

— Чему вы обрадовались? — спросил Верещагин, глядя на лицо Ивана, которое так и просияло от улыбки. — Что я, при моей комплекции, не храплю, раз об этом спрашиваю?

— Не угадали. Радуюсь, что в первый же день познакомился со знаменитыми полководцами и не менее знаменитым художником.

— Во как! — засмеялся Скобелев. — Всем сумел польстить. Звать вас буду — Иван. А вы зовите меня без всяких там «превосходительств» — Михаил Дмитриевич.

— А меня Василь Васильич, — сказал Верещагин.

— Донесения, или как там у вас называется, будете отправлять через Михаила Дмитриевича, — сказал Драгомиров. — Ступайте, голод не тётка — хоть в Рязани, хоть в Самаре.

Уже совсем смеркалось, когда Иван и Верещагин шли улочками городка. То, что здесь разместилась дивизия, можно было определить только опытному глазу. У некоторых домов, которые скорее можно назвать хатами, потому что в большинстве своём они построены из глины и щебня, лишь изредка они видели солдат. Когда переходили овраг, разделяющий городок, Иван заметил пушки, закиданные ветвями и дерюгами. Около них солдаты тоже чем-то занимались — Иван лишь понял, что все они готовятся к чему-то важному, которое должно скоро наступить. Зимница находилась неподалёку от Дуная, но со стороны реки нельзя было понять, что происходит в городке.

Тепляков уже хотел спросить Верещагина, неужто что-то такое особенное произойдёт именно этой ночью, как Василий Васильевич остановился у небольшого дома.

— Вот здесь мой бивуак, — сказал он. — Проша! — окликнул он солдата, которого ему определили в помощники. Из сеней вышел солдат, приветствуя пришедших.

В доме он зажжёт свечу и сразу отправился собирать на стол, услышав распоряжение Верещагина.

Иван осмотрелся. Две лежанки по бокам комнаты, посредине стол, на котором стояла кружка, в ней карандаши, кисти. Рядом с лежанкой, у стены, деревянный ящик на ремне, походный этюдник художника.

Ничего, относящегося к боевой экипировке, в палатке Иван не заметил.

— Кто-то жил с вами? — спросил Иван, присаживаясь на свободную лежанку. На ней находились соломенные тюфячок и подушка. В головах кто-то оставил скатку. Но цвет её не пехотный, серый, а тёмный, морской.

Рядом сиротливо стояла кружка.

— Был у меня постоялец, мичман.

— Уехал?

— Можно сказать и так. Если брезгуешь, можно другую кружку попросить и ложку тоже. И скатку заменить. Об остальном не стоит беспокоиться: мы временные жильцы и здесь, и вообще на земле.

Иван заметил, что Верещагин посерьезнел, хмуря свои густые брови.

Расторопный Прохор принес хлеб, сахар, развернул тряпицу с завернутом в неё куском вареного мяса.

Пока ожидали кипятка, Теплякову не терпелось узнать, что намечается в ближайшее время — может быть, даже этой ночью. Но он боялся показаться слишком назойливым и положился на участие в его положении художника, который должен же ввести его, хоть в малой степени, в курс дела.

Верещагин заварил чай прямо в кружке, подал её Ивану. Неторопливо прихлёбывая чай, сказал:

— Нам с тобой надо, чтобы глаз не дремал, а уши держать востро. Никто нас в дело не возьмёт. Наоборот, есть указание Михаила Ивановича строго-настрого запрещать мне лезть туда, где идёт драка. И всячески меня оберегать. Такое указание, думаю, будет и в отношении тебя. Но вот моя позиция: художник должен видеть, как происходит то, что он собирается изобразить. А если и сам участвует в деле, то ещё лучше. Меня вот ругают ругательски: слишком, де, у тебя всё натурально. А я отвечаю: а как иначе? Тем более если ты взялся изображать войну? Тут не до сантиментов. Тут, брат, нужна правда. Да, жестокая. Да, больно смотреть. И что? Прятать го-

лову в песок? Или показывать, как эту голову отрубили? А? Ты как считаешь?

Верещагин сурово смотрел на Ивана. Будто на своего противника.

Тепляков выдержал испытующий, не моргающий взгляд острых глаз художника.

— Я так думаю, Василий Васильевич, что правда, конечно, самое главное. Но ведь мы же говорим про искусство. Как нас в университете учили, эта правда должна быть выражена художественно.

— Само собой! — оживился Верещагин. — Какой ты художник, если не умеешь владеть кистью? А вот ты — пером? Речь о другом, дорогой мой. Вот за этим столом я ел и пил вместе с мичманом Костей Нелюбиным. Он всё сделал, чтобы турецкий флот убрался отсюда, а кое-какие корабли пошли на дно. И чтобы мы смогли наконец форсировать Дунай. У турков корабли, у нас лишь минные катера после Крымской кампании. Костя командовал одним из них. Знаешь, какие мины они используют? Объясню. Бывают шестовые, бывают буксируемые. Шестовые крепятся на шестах метров семи, буксирные тянутся на тросе под водой. Катерам надо как можно ближе подойти к вражескому кораблю, нажать на спуск и мину выпустить. С шеста она летит, под водой движется по инерции, когда её отпустят. И тоже бьёт насмерть. Представляешь, каким ловким и умелым надо быть моряку? Незаметно подойти, точно выпустить мину. От собственного взрыва уцелей, от вражеских пуль уклонись. Ты — как карлик против великана. В тебя с корабля палят, ты всем открыт и полагайся только на своё умение и на помощь Божью!

У Ивана воображение работало, он живо представил себе картину боя.

— И что же... с Нелюбиным?

Верещагин подлил в кружку кипятку.

— Я же тебе сказал, он уехал. Нет, скорее улетел. Туда, — он поднял палец вверх. — Но потопил корабль. Монитор¹ называется. И друзья его неплохо действовали. Потому турки драпанули.

¹ Монитор («наблюдатель, контролёр») — класс низкобортных броненосных кораблей с мощным артиллерийским вооружением, преимущественно прибрежного или речного действия.

В облике Верещагина была основательность и сила, и говорил он убеждённо.

Иван смотрел на художника во все глаза.

— Но можно сказать, что сражался не карлик против великана, а Давид против Голиафа.

— Э! Сказать-то можно, а вот изобразить надо не в мифологической форме, а в реальной. Я ведь не Айвазовский, море не писал. И бои на море — тоже. Но сейчас, кто знает, может, и возьмусь.

Вошёл Прохор, предложил горячей каши.

— Давай, — Василий Васильевич принял котелок, поставил его на стол. — Каша у нас что надо, Иван. Обязательно с мясом. И разная — эта перловая, а бывает и овсяная, и даже пшёнка. Михаил Дмитриевич лично заботится, чтобы солдат у него был сыт, пил горячий чай, одет и обут в сухое и тёплое. Это у Скобелева чуть ли не на первом месте стоит.

— У Скобелева? Ведь командующий — Драгомиров.

— Э, — Верещагин улыбнулся, поблагодарив Прохора кивком головы. — Они сейчас — одно целое. Знаешь, кем Скобелев сейчас служит? В жизни не догадаешься, — и, запустив ложку в котелок, набрал каши, с аппетитом отправил её в рот. — Ординарцем!

Иван и есть забыл:

— Что? Генерал-майор — ординарцем?

— Да, брат, ординарцем. Никуда Михаила Дмитриевича не могли определить наши чиновники. Он и напросился к своему бывшему учителю по Академии — хоть ординарцем. И тот, конечно, его взял. Увидишь, после первого же дела Скобелев опять по меньшей мере дивизией будет командовать.

Ел Верещагин с аппетитом, наворачивая кашу.

— Не думай, что теперь переправляться будет просто, — продолжил Верещагин. — У них не слабее наших береговые батареи. И позиции укреплены крепко. Так что дело предстоит горячее.

После ужина улеглись. Верещагин задул свечу.

В голове у Теплякова мелькали разные картины и лица — то Скобелев с огромными бакенбардами и бородой, то лысоватый Драгомиров, то могучий Верещагин и его знаменитые картины «Апофеоз войны» и «Победитель», на которой то ли перс, то ли турок держит отрубленную голову казака. А то и Волга вставала

перед глазами вместо Дуная. И он опять увидел себя на Вислом камне и Анну рядом. Она приблизилась, и он крепко поцеловал её в губы. И опять вспомнил, как равнодушна она была после того свидания, когда встретились в театре, и она спросила, как бы между прочим: «Говорят, вы на войну собираетесь?» — «Да, — ответил он. — А что?» — «Нет, ничего. Просто спросила, может, болтают». — «А вы, говорят, уже объявили о помолвке? Что же не через газету?»

Она улыбнулась как-то неловко, пожала оголёнными плечами. Платье на ней было чудесное, нежно-розового цвета, до пола, с декольте. Разговаривали в фойе театра, в перерыве между вторым и третьим действиями комедии Шекспира «Много шума из ничего». «Нравится спектакль?» — «Да, весело, озорно. Но я больше люблю драмы. Шиллера, например. «Коварство и любовь».

Она опять усмехнулась. «Попрощаться зайдёте?» — «Нет. Счастливой вам супружеской жизни, Анна Викторовна. Вон ваш жених спешит с конфетами и мороженым».

Он поклонился и пошёл в толпу людей, которые торопились занять свои места, потому что гремели звонки.

«Может, я зря так с ней расстался? — в который уже раз думал он. — Может, проститься надо было по-другому? Ведь я могу не вернуться. Как мичман Нелюбин. Ведь он спал вот на этой лежанке. Погиб как герой. А меня могут просто хлопнуть из ружья или проткнуть штыком. Пусть так, чем в плен. Чтобы с моей отрезанной головой не стоял турок, как на картине Верещагина».

И он заснул чутким, коротким сном.

Глава тринадцатая. Переправа

Дунай, июнь 1877 года

Проснулся Иван от какого-то стука и резко поднял голову. Огляделся, соображая, где находится.

— Прости, это я громыхнул, — сказал Верещагин. — Кружка упала.

— Доброе утро, Василий Васильевич.

— Доброе. Ну, как солдатская лежанка? Болят бока?

— Не особо.

— Привыкай. Идём, я тебе полью, а ты мне.

Вышли из дома. Утро свежее, ясное. Солнышко светит по-летнему ярко, освещая городок.

Позавтракав, Верещагин предложил Теплякову «осмотреть позиции», как он выразился.

Тепляков заметил и жилища посolidнее, из камня. Правда таких домов было всего несколько: в одном из них и находился штаб дивизии.

Вышли к оврагу, которым шли вчера, забрались на вершину холма. Легли, укрывшись в кустарнике. Отсюда хорошо видны оба берега реки.

Дунай, широко разлившийся, красивый и спокойный, казался прибежищем счастливой и мирной жизни. Река напоминала Ивану Волгу. Вот только нет на холмах деревенок с разбросанными тут и там домишками под деревянными, а то и соломенными крышами, не толкаются лодки у причалов. Там, на том берегу, притаилось что-то неведомое, незнаемое.

— Худо для нас, — сказал Верещагин, — что прибрежная полоса правого берега болотиста. Видишь, дальше идут высокие холмы? Там брустверы. За ними — пушки.

Иван обратил внимание на лесистый остров, ближе к нашему берегу.

— Вот на него-то и надежда, — сказал Верещагин, видя, куда смотрит Тепляков. — Михаил Иванович планирует до него скрытно добраться. А там уже сапёры и пластуны. Подготовились, чувствуешь? Оттуда — на плотках и лодках — на правый берег.

Иван кивнул, хотя впервые услышал слово «пластуны».

— Пластуны — народ хваткий, ловкий, — продолжал Верещагин, — уже многое разнюхали. Да и казачки тоже. Хотя если взять недавний случай, то выйдет, что казачки пластунам уступят.

Они лежали на зелёной травке, под кустом с узкими листьями, похожими на нашу вербу. Казалось, что выбрались на пикник: так хорошо и покойно здесь веял лёгкий ветерок, зеленело и голубело вокруг. Невозможно было даже представить, что пройдёт совсем немного времени и здесь будут рваться снаряды, свистеть пули и литься кровь.

— Какой случай? Почему казачки хуже пластунов? — спросил Иван.

— Да вот сам посуди, — охотно ответил Верещагин. — Посылает Михаил Иванович казачков на разведку. Надо переплыть Дунай ночью. С лошадьми, конечно. С ними плывёт Скобелев.

И представь!— Верецагин сел, обернувшись лицом к Ивану, так, что он впервые увидел осветившееся весёлостью лицо художника. — До правого берега доплывает только Скобелев и всего один казак! Остальные не справляются с течением. Их сносит вниз. И они вынуждены вернуться обратно. А Скобелев, — лицо Василия Васильевича ещё больше выразило восторг, — сам проводит разведку и возвращается назад. Вот тебе и генерал! Вот тебе и казаки!

Иван тоже устроился поудобней, чтобы лучше видеть художника.

— Значит, правду говорят, что Скобелев — редкий храбрец?

— Ни пуля, ни штык его не берут.

Иван помолчал.

— Может, полководцу всё же не стоит так рисковать? Вспомните Суворова.

— Ага, ты и его читал! У него как: «Солдату — выносливость, офицеру — храбрость, генералу — мужество». А я тебе так скажу, что у Михал Дмитрича все эти три качества совмещаются. Плюс и четвёртое.

— Какое?

— «Он заговорённый». Так дураки болтают. А я тебе скажу: храбрость его и бережёт. Потому что она идёт вместе с умением. И я так думаю, что коли ум и расчёт Драгомирова соединить с храбростью и силой Скобелева, то кто нас может победить? А?

— Никто, — не столько ответил, сколько всей душой подтвердил Тепляков.

Верецагин удовлетворённо кивнул, снова лёг на живот и стал наблюдать, что происходит на противоположном берегу.

— Главное, конечно, внезапность, — продолжал Верецагин. — Но Михаил Иванович был бы плохой стратег, если бы рассчитывал только на это. Обстреливали вражину вон там, слева, — он показал туда, где вёлся пушечный огонь. — Чтобы турок убедить, будто мы там переправляться будем. Дивизия генерала Циммермана ушла на запад, в Северную Добружду: будто бы и там готовится переправа. Генерал Гурко повёл своих молодцев на восток. Там ваши самарские, насколько я понял. Где наши главные силы, определи?

Он учительски посмотрел на Ивана.

— Не знаю.

— То-то. И турки сейчас гадают. А мы по ним ударим как раз здесь.

Пригнувшись, он поднялся с травы. Ивану показал, что надо двигаться скрытно.

— Теперь покажу ещё одно местечко. Для нас очень даже важное.

Они двинулись вниз.

Верещагин шагал уверенно. В фуражке, похожей на военную, в сером свободном пиджаке, с кожаной сумкой через плечо, он производил впечатление человека основательного, крепко стоящего на земле. Иван, шагающий за ним следом, благодарил Бога, что попал в такие крепкие и надёжные руки.

Внизу холма начинался перелесок. Перешли через него и оказались в балке. По ней текла протока. Тут и там у протоки грудились солдаты, что-то делая.

Иван заметил несколько пушек, стоящих чуть поодаль от солдат.

Верещагин и Иван приблизились к ним.

Это был понтонный батальон, проверяющий готовность к переправе.

Унтер-офицер, раздетый до пояса, загорелый, мускулистый, проверял, как склочены каркасы понтонов. Ряд из них обтянут парусиной: эти понтоны предназначались для наведения понтонного моста. Другие солдаты смазывали затворы, чистили длинными шомполами дула пушек.

Тут же стояли подготовленные для переправы плоты.

— Здравствуй, Шебаршов, — приветствовал загорелого Верещагин. — Бог в помощь.

— Здравствуйте и вам, Василий Васильевич, — Шебаршов выпрямился. Стало хорошо видно его стройное, мускулистое тело. Лицо открытое, обыкновенное русское, разве что примечательны густые усы, загнутые вверх на концах.

— Вижу, капитально готовишься, — Верещагин по-хозяйски осматривал понтоны, плоты.

— Да ведь неохота к рыбам на корм идти, — Шебаршов улыбнулся, стали видны его белые, крепкие зубы.

— Лучше пусть рыбка к нам на закуску идёт, — вступил в разговор немолодой солдат, пушкарь. — Она, дунайская, хоть и чужая, а не хуже нашего судачка.

— Это какого же вашего? Из Оки? Или из какой другой реки?
— Да вы, Василь Васильич, нашу реку не знаете. Маненькая она. Не то что этот Дунай. Зато своя красота есть.

Тепляков обратил внимание, что солдаты знают Верещагина и разговаривают с ним по-свойски.

— Как звать-то твою красавицу? — спросил Верещагин.

— Пóведь, — ответил немолодой солдат.

И улыбнулся так, будто вспомнил то ли жену, то ли дочку.

— Пóведь, — повторил Верещагин. — Звучит-то как. Что-то такое... тайное. А, Иван? Вот ты, литератор, объяснишь нам, что слово сие значит?

Тепляков ответил первое, что пришло на ум:

— От поведать, наверное. Вот и поведай нам, в какой это губернии?

— Тверской, — разулыбился солдат. У него зубы совсем не такие, как у Шебаршова, а жёлтые, прокуренные. Лицо небольшое, в бородке и усах, тоже пожелтевших от табака. — Тверь — она в сердце дверь. Так у нас говорят. А сам-то вы, барин, из каких?

— С Волги, — ответил Иван. — Из Самары. Слыхали?

— А то как же. У нас ведь тоже Волга течёт. Нелегко Волгу-то переплыть. А этот Дунай потяжельше выйдет.

— И не такие переплывали, — Шебаршов перестал улыбаться. — Не бойсь, Петухов.

— А кто боится, — ответил немолодой солдат, фамилия которого оказалась Петухов. — Я и в морях не тонул, а чего мне Дунай этот. Я, считай, не только артиллеристом могу, а при надобности и моряком.

— Разкукарекался, — подколол Петухова другой солдат, который перестал прочищать дуло пушки.

Петухов не обиделся, видать, не первый раз подшучивали над его фамилией.

— Если что, я к тебе пристроюсь, Веня, — потихоньку сказал Верещагин Шебаршову.

— Надо ли? В тот раз, помните...

— В тот раз, в тот раз, — буркнул Верещагин. — Мы с тобой не в Летнем саду прогуливаемся, Вениамин. А мне всё видеть надо.

«И мне тоже», — хотел сказать Тепляков, но не решился.

— Так меня начальство вздует, — недовольно буркнул унтер.

— Не вздует, это я тебе обещаю, — и Верещагин подморгнул унтеру.

Тот вздохнул, развёл руками и приказал:

— А ну, ребята, давай попробуем, как она себя покажет, — и он направился к пушке, примеряясь, где сподручней закатывать её на понтон.

Солдаты, оставив другие занятия, взялись за пушку и показали её к понтону.

— И — раз! — скомандовал Шебершов. — И — два!

Пушка закатилась на понтон. Он покачнулся, потом выпрямился, когда понтонеры установили орудие на середине понтона.

— Хорошо! — сказал Шебаршов и выпрямился. — Петухов, проверь осадку. Поглядим, выйдет понтон отсюда к реке аль нет.

— Пройдёт! Вона, погляди, сколь тут дна, — и он показал аршин, которым отмерял глубину протоки.

— Ладно. Укрыть орудие, — и унтер направился к другому понтону, стоящему неподалёку.

Верещагин выбрал себе местечко на берегу, уселся на пень, который стоял, специально приготовленный для него, открыл свою кожаную походную сумку, достал из неё альбом и карандаш.

Полистал страницы, отыскав чистую, посмотрел на небо, прикидывая, как лучше усесться, чтобы свет от солнца падал на страницу так, как нужно.

И принялся за работу.

Тепляков знал, что многие художники не разрешают стоять рядом, когда работают. Но всё же не справился с любопытством и встал за спиной художника.

Он увидел, как карандаш в сильных пальцах Верещагина двигается по бумаге, умело нанося штрихи. Вот уже появилось очертанье головы Шебаршова, потом нос, усы под ними, глаза. Не в первый раз Тепляков видел, как работают художники, бывал в мастерской не только у самарского товарища Коли Симанова, а всё же каждый раз удивлялся, как, словно из небытия, появляются очертанья лица, фигуры. И вот на листе возникает узнаваемое лицо, как, например, Шебаршова, который смотрит открыто, чуть наклонив голову и приоткрыв рот, словно говоря: да, вот такой я, русский унтер, пройду хоть через Дунай, хоть через какую другую реку и пушки перетащу на своём понтоне, и зададим вам такого жару, что только ай-ай-яй.

— Ловко, — сказал Петухов, проходя мимо и глянув на альбом художника, который Верещагин держал левой рукой, укрепив его на колене.

— А ты, погоди, Петухов, постой так, — сказал Верещагин. — Только не двигайся. Впрочем нет, — продолжал он, быстро работая карандашом. — Доставай свой кисет и трубочку. Закуривай. Но только не спеши.

Некоторые из солдат заулыбались, поглядывая, как Петухов позирует художнику.

— А вы, ребята, работайте, потом поглядите.

Шебаршов хотел было прикрикнуть на солдат, но они и сами понимали, что надо и свою работу продолжать, и художнику не мешать. Лишь тот из понтонеров — низкорослый крепыш, нрава весёлого, озорного, не удержался и выкрикнул, чтобы все слышали:

— Петухов, штаны подтяни! Они у тебя полны от радости-то! А то от твоего потрета запах пойдёт!

Солдаты зареготали, а громче всех крепыш, для которого не было ничего желанней, чем посмеяться. У него на лице словно бы застыло ожидание, что через минуту произойдёт что-то очень смешное и у него будет возможность всласть посмеяться. Смеялся он заразительно, от души, и невозможно не подхватить этот смех и не повеселиться вместе с ним.

Петухов, подыгрывая крепышу, подтянул штаны, похлопал себя по задку, словно проверяя, нет ли чего там. Видно, не в первый раз они подсмеивались друг над другом.

— Ты, Галушко, за меня зря беспокоишься, — ответил он и принялся набивать табачком свою трубочку, как просил его художник. — Ты лучше свои штаны потряси: а нет ли там галушек с творогом али с вареньем? Которые тебе Матрёша наварила?

Понтонеры, прислушиваясь к перешучиванию товарищей, смеялись, когда ответ одного из них казался веселее другого.

— Э, Петух, а ты не разумеешь, це такие галушки. С творогом — це вареники, поняв? Галушки — тильки тесто. И всё. А ты — с вареньем! Эх, Петух, видать, поклевав ты с утра не зерно, а говно!

Тут все зареготали, и Петухов в том числе.

Работа закончилась, Шебаршов скомандовал построение. Всё же на просьбу посмотреть рисунки Василия Васильевича

дал разрешение с согласия художника. Понтонеры столпились вокруг Верещагина, который полистал альбом, показывая зарисовки, сделанные в Зимнице.

Художника хвалили не столько словами, сколько одобрительными улыбками и восклицаниями.

Когда уже строились, чтобы идти на обед, приехали верхами генералы Драгомиров и Скобелев, другие офицеры, которых впервые увидел Тепляков. Среди них Иван обратил внимание на сухощавого офицера, который держался по правую руку от Драгомирова, и когда тот что-то спрашивал, осматривая понтоны и стоящие на них орудия, офицер давал пояснения.

Это был командир батальона капитан фон Фок.

На шаг позади него, готовый к любому приказанию, уже в застёгнутом мундире и фуражке, следовал Шебаршов.

По лицу Драгомирова нельзя было понять, доволен ли он подготовкой понтонов к переправе. А по улыбке Скобелева становилось ясно, что работа проведена как положено.

— Выдвигаться по сигналу. Его отдаст прибывший нарочный, — сказал Драгомиров, обращаясь к капитану. — От вас, Николай Викторович, многое зависит. Двигаться скрытно, не медлить.

— Понимаю, ваше превосходительство. Народ подобрался опытный, умелый. Есть севастопольцы. Не подведём.

Драгомиров сошёл с понтона на берег, пошёл вдоль шеренги солдат, остановился посредине строя.

— Воины России! — начал он глуховатым, но хорошо слышимым голосом. — Сегодня ночью начинаем наступление. Каково будет начало, таков получим и конец. Подготовились хорошо, теперь надо хорошо переправиться и ударить по врагу. Как высадимся — без команды не стрелять. Трудно будет: берег вязкий, да другого нет. Бежать на врага быстро, штыком бить насмерть. Впереди — только победа! Верю вам. И — с Богом!

Он отдал честь и пошёл вдоль строя. За ним Скобелев, другие офицеры. Вся группа двинулась дальше, вверх по протоке, где стояли на воде и на берегу подготовленные к переправе ещё несколько понтонов, плоты. И везде Драгомиров останавливался и кратко напутствовал воинов.

Затем, оседлав коней, направилась к другим расположениям дивизии — береговой артиллерии, пехотинцам, кавалеристам,

где пока ещё не знали, что именно сегодня ночью и начнётся переправа, а с ней и боевые действия этой войны.

Всё делалось скрытно, а для врага распространялись ложные приказы о наступлении, которое якобы должно начаться через день. Кроме того, накануне опять произвели бомбардировку крепости Никополь на правом берегу Дуная, чтобы убедить турок, что именно там начнётся переправа.

Снова и снова Иван думал об одном и том же: а что ему делать, когда начнётся переправа? Оставаться здесь, на левом берегу? Как-то некрасиво. Идти вместе с войском? Но для этого нужно хотя бы ружьё. А кто ему его даст? К кому обратиться? Ему ведь не положено воевать. Надо наблюдать, вот и всё. Но ведь Василий Васильевич попросился на понтон к тому унтеру, он же слышал.

Просить Верещагина взять его с собой как-то неловко.

Так и не решив, что делать, Иван всего себя отдал на волю случая.

К вечеру он обратил внимание, что воины надевают тёмные зимние шинели.

«Это для того, чтобы их не было видно, — понял Иван и сразу вспомнил о шинели мичмана Нелюбина, оставленной в домике, где он теперь квартировал. — Вот её и надену».

Он так и сделал. Теперь осталось достать фуражку: клетчатая кепка его слишком бросалась в глаза своим штатским видом.

«И как я не подумал о том, что ехать в таком виде нельзя!» — с досадой подумал он.

В этот момент в комнату вошёл Верещагин. Увидев Ивана во флотской шинели, спросил:

— Готовитесь к переправе?

— Да! Вот только кепка моя явно не годится.

— Эка беда. Проша! — позвал он. — Достань-ка Иван Иванычу головной убор.

Прохор кивнул и хотел было уйти, но Иван его остановил:

— Постойте. А ружьё... нельзя?

— О, так вы и воевать собрались? Впрочем и мне Михал Дмитрич говорит, чтобы и я всегда имел при себе оружие. Пожалуй, сейчас и этим озаботимся. Ночка будет жаркая.

Как только наступила наконец ожидаемая темнота, и в городке, и в его окрестностях началось движение. По протоке к

острову, который назывался Адду, двинулись понтоны, плоты, на которые с берега запрыгивали солдаты. На понтонах уже стояли пушки, теперь не прикрытые ветками и дерюжками. Офицер, стоящий на носу первого понтона, негромко командовал, всматриваясь в ночную мглу.

Это был капитан с фамилией, которую сразу же запомнил Тепляков, — фон Фок.

Иван пристроился на понтон к солдату Галушко, который днём подсмеивался над Петуховым. Галушко уже несколько раз с явным неодобрением посматривал на Ивана, который оказался с ним слишком близко, почти плечом к плечу. Один раз он даже подтолкнул Ивана, показывая тем самым, чтобы тот подвинулся.

Резче подул ветер, они выплыли на широкую воду Дуная. Луна выглянула сквозь рваные тёмные облака, и Тепляков увидел напряжённое круглое лицо Галушко, ещё одного солдата, незнакомого, маслянистый, весь в ряби волн, Дунай.

Верещагина Иван потерял на берегу протоки: художник исчез как-то сразу, вдруг, растворившись в темноте.

Иван сначала растерялся, но уже через минуту, запрыгнув на понтон вслед за каким-то солдатом, подумал, что даже хорошо, что остался без сопровождающего: боялся, что сделает что-нибудь не так, попадёт в неловкое положение. А более всего ему не хотелось выглядеть неумехой, а быть как все — воином. И — сражаться, а не наблюдать, как учил Верещагин. Это желание участвовать в сражении окрепло особенно после того, как он узнал о поступке Скобелева, который только с одним казачком переплыл на правый берег Дуная и разведал, где лучше высаживаться нашим воинам.

«Пусть я не совершу такой подвиг, — думал Иван, — зато я буду драться вместе со всеми как рядовой, но всё-таки участник первого сражения с врагом».

Правда он не очень-то представлял, как именно он будет сражаться. Он слышал, что стрелять без команды нельзя. Вообще двигаться надо как можно скрытней, чтобы застать неприятеля врасплох. И тогда действовать штыком.

«Пуля — дура, а штык — молодец», — только и помнил он. Но как действовать штыком, он совершенно не знал. Ведь не проходил военную подготовку, не колол штыком даже в меш-

ковину, набитую соломой. Стрелять приходилось несколько раз, когда покойный отец брал его с собой на охоту. Но ведь там, за Волгой, стреляли в уток, а сейчас предстояло стрелять в людей.

Он успокаивал себя тем, что, может, обойдётся и без стрельбы. Может, он и не окажется лицом к лицу с врагом.

«А как же тогда сражение? Подвиг?» — пронеслось в его сознании.

Но он тут же урезонил себя, посчитав, что не время думать о геройстве. Главное теперь — не отставать, быть рядом с бойцами.

Ветер подул ещё резче. Опять выглянула из-за туч луна, освещив движущуюся вдоль берега и по самому острову воинскую массу на понтонах и плотам по воде, сквозь заросли кустарника по берегу, туда, к оконечности острова, на простор Дуная, который под резким ветром вздымал волны всё выше и выше.

Вот миновали остров Адду. Понтон, где находился капитан фон Фок, по-прежнему шёл впереди. Другие понтоны сносило течением, хотя они старались следовать за флагманом. Плотам приходилось труднее: их сносило всё больше, потому что они были легче.

Уже прошли середину Дуная, а вражеский берег по-прежнему не подавал признаков жизни.

«Подпускают ближе? Чтобы вернее расстрелять?» — думал Тепляков.

Кто-то рядом с Иваном прерывисто вздохнул.

— Затаились...

— Та они дрыхнуть, — отозвался Галушко и нервно хохотнул. — Треба их пощикотати.

— А тобі лишь веселяти.

— А що? Рыдати?

Волна с силой ударила о борт понтона. Брызги обдали бойцов.

— Крапивенко, а ты зеркальце не забудь?

— Како тако зеркальце?

— Само простое. Чтоб собі узрети, кака у тебе рожа от страха перекосився.

— Чтоб тобі, чортов дурень! — рассердился Крапивенко.

На понтоне тихонько засмеялись, напряжённое ожидание уменьшилось.

Берег приблизился.

Вот унтер-офицер Шебаршов спрыгнул на мокрый песок. Попрыгали на берег и другие солдаты. С ходу скатили пушку, стали толкать её вперед.

Фон Фок, маша рукой, показывал, что пушку надо катить к нему, и Шебаршов понял, что капитан уже определил, где им предстоит передвигаться.

Здесь, как и на левом берегу, тянулась расселина, за которой можно было укрыться и занять позицию для стрельбы из орудия. Какой-то незнакомец жестом указал, чтобы Иван помог ему тащить ящик со снарядами.

Они, пыхтя от тяжести и быстроты бега, добрались до укрытия. Там пушка, уже развернутая к бою, дулом нацелилась на бруствер, видимый отсюда.

Из-за бруствера, до которого оставалось метров двести, выглянула голова в феске.

Раздался пронзительный крик.

Через минуту защёлкали выстрелы.

— Шебаршев, готов? — раздался голос капитана.

— Готов!

— Выстрел!

Грохнула пушка, от ядра полетели в разные стороны комья земли и щепы укрепления.

— Батальон! — крикнул фон Фок, выхватив из ножен саблю и подняв её над головой. — В штыки! Вперёд!

И первым побежал по откосу берегового укрепления, увлекая за собой бойцов.

Иван, не соображая, что делает, а увлекаемый охватившей его волной отваги, быстро снял с плеча ружьё, примкнул к нему штык и бросился вперёд вместе с другими.

Щёлкали беспорядочные выстрелы.

Вот и бруствер.

Иван спрыгнул в окоп и увидел перед собой перекосившееся от ужаса лицо с чёрными усами над оскалившимся ртом.

Не понимая, что делает, Иван что есть силы ударил штыком в живот, подпоясанный красным кушаком.

Турок отчаянно завопил, разинув рот ещё шире.

Иван выдернул из тела турка штык, смотрел, словно завороченный, как тот валился на землю.

Потом, очнувшись, вылез из окопа. Увидел, что солдаты бегут вперёд, к какому-то строению, откуда велась стрельба.

Впереди, по-прежнему с саблей в руке, бежал фон Фок.

Иван побежал следом. Что-то пронзительно просвистело рядом с его ухом.

Строение оказалось мельницей. И когда Иван добежал до неё, там уже кипел бой.

Внезапность и скрытность нападения ошеломили турок, и они, отчаянно отбиваясь, отступали. Те из них, кто не успел убежать, дрались.

Иван увидел, что у мешков с мукой, прижатый к ним, борется Галушко. Турок, одолев его, уже выхватил из-за пояса кинжал.

Иван вскинул ружьё и выстрелил.

Галушко, всё ещё не опомнившись от боли, от смерти, которая минуту назад нависла над ним, таращил шальные глаза на рухнувшего перед ним турка.

Иван, не менее удивлённый, также растерянно смотрел на убитого им турка.

Бой окончился.

Фон Фок осмотрел мельницу, приказал занять оборону для отражения атаки, которая могла последовать с турецкой стороны.

На мельнице турками было оборудовано нечто вроде штаба. Капитан понял, что захвачена выгодная для дальнейшего наступления позиция.

Её следовало как можно скорее укреплять.

Между тем по всей длине турецкого, а вернее сказать, болгарского берега, захваченного турками, продолжался бой. Там, где турки поставили береговую артиллерию, всюю шла пальба.

Второй волне наших наступающих пришлось куда тяжелее.

Несколько понтонов с пушками прямым попаданием были потоплены. Многие плоты снесло вниз по Дунаю, и солдатам пришлось с боем пробиваться к основным силам нашего войска.

Более тысячи наших воинов погибло.

Но плацдарм для наступления был не только захвачен, но и укреплён.

Сапёры стали наводить понтонный мост через Дунай.

С ходу удалось развить наступление на Систово, где турки не ждали русских.

Важнейший стратегический пункт был взят.

Глава четырнадцатая. Любить человека, убить человека

Самара, апрель 1896 года.

Болгария, Систово, июнь 1877 года

— Пётр Владимирович! — услышал Алабин и оглянулся. К нему шёл, улыбаясь, Кожевников.

— Вот встреча, не ожидал! — Ефим Тимофеевич подошёл к Алабину, они похристосовались. — А я дочку проводил: погостить приезжала. А вы?

— Да так, прогуливаюсь. Старшая, которая учится?

— Она. Вы-то как?

Они пошли по склону к лестнице, которая поднималась до набережной.

Алабин пожал плечами:

— Держусь. Про меня слышали?

Кожевников кивнул.

— В соборе видел, как вы с Александром Семёновичем вышли. Неужто он вам про суд сказал? Другого времени не нашёл?

— Да ведь мне днями на суд в Казань ехать.

— И всё же... В самую Пасху... Я уверен, Пётр Владимирович, всё обойдётся. Вот только нервы вам треплют почему зря. Тоже из лучших побуждений.

Алабин посмотрел на Кожевникова и улыбнулся. Поседела окладистая борода, на лоб легли морщины. А взгляд карих глаз остался тот же — дружеский, открытый.

«Почему я к нему не пошёл, не поговорил?»

— Я вот сегодня в воспоминания ударился. Как мы с тобой от этой пристани знамя увозили. Какое хорошее было время...

— Да, нравы другие... «Ндравы», как моя тёща говорит. Про Дурасова рассказала. Этот чего учудил! В подражание уральскому промышленнику Демидову решил себе титул приобрести. Да-да, я серьёзно. Демидов-то стал герцогом итальянским Сан-Донато. А наш Дурасов — теперь испанский граф Дурацци.

Алабин захохотал.

— Не шутишь? Серьёзно?

— Куда уж серьёзней! Представляю, сколько он в Мадрид денжищ увёз. И сколько они сил потратили, чтобы подыскать созвучную нашему Дурасову фамилию гишпанского происхождения.

Алабин только головой качал от смеха, посматривая, куда бы присесть: как-то ноги ослабели.

Ефим Тимофеевич понял, почему осматривается Алабин, взял его под руку и повёл к ближайшей скамеечке, стоящей у летнего буфета, организованного здесь по случаю праздника. Поставлено было и несколько столиков под тентами.

— Сельтерской, — сказал Алабин подскочившему к ним половому, который конечно же узнал знатных господ.

— Да, «ндравы», — продолжал Кожевников. — Я вспоминаю, как вы с Варварой Васильевной на свои деньги и полотнище, и копьё серебряное купили. И золотые нити, и всё прочее для знамени. А в вашем-то доме ведь целый госпиталь для раненых был. А сколько денег вы для сирот отдали. Сколько собрали! И после этого говорить, что вы народные деньги для голодающих присвоили? Да как у них язык не отсох после этого!

Кожевников взял бокал с сельтерской, повертел его в руках, поставил. Посмотрел на полового:

— Портвейн, говорят, тут хороший?

— Точно-с, первостатейный.

— Вот и отлично. Неси.

Помолчал, глянул на Алабина с участием любящего брата:

— Если хотите, я с вами поеду. Ну, как свидетель.

— Не надо, Ефим. Я всегда знал, что ты в мою вину не ве-ришь. А ведь она есть, коли разобраться. Я вот в эти дни опять думал. Всё вспомнил. Понимаешь, мне бы сразу надо, как вагоны пришли, и как Морев через Шадрина доложил, что зерно поганое, сразу бы и собрать комиссию для проверки. Но я понадеялся, что дело не такое уж и плохое. Что не посмеет этот Вайнштейн так нагло Шадрина и меня обмануть. А ведь его расчёт как раз на это и был! Денежки-то заплачены. Да и кто станет вагоны в такую даль обратно гнать! А народ-то голодает! Народ-то хлебушка просит!

— Успокойся, Пётр Владимирович. Вот так и скажешь.

— Да ведь уже говорил! — в сердцах сказал Алабин. — И вроде поверили. Так нет, выискался этот Кони! И у этого свой расчёт. Дескать, и городским головой, и губернатором был, какая уж тут неопытность, как в постановлении суда написали! Действительно, не в неопытности дело. А в том, что гордыня моя выиграла. Не посмеют они меня, действительного статского советника,

как раз опытного администратора, обмануть. А если и обманут, то не настолько же, чтобы хлебом из зерна этого травиться!

Кожевников увидел, что Пётр Владимирович покосился на принесённый графин с портвейном, и налил в бокалы вино Алабину и себе.

— Да знаю этих дрейфусов и вайнштейнов наизусть, — сказал Ефим Тимофеевич, поднимая бокал. — От жадности и мать родную продадут. С ними, конечно, надо осторожней действовать. Облапошат в два счёта. И так, что комар носа не подточит. Думаю, в Казани всё это поймут, и вас домой с миром отпустят. А если поступят иначе, мы апелляцию вмиг напишем и с нарочным в Петербург пошлём. За тебя, Пётр Владимирович.

— Нет, давай за наши дела выпьем. Всё же немало мы хорошего сделали.

Они выпили, хотя Алабину не стоило этого делать.

Посидели, глядя на Волгу, на празднично одетых людей, прогуливающихся вдоль небольшой набережной.

— Вот я думал в эти дни, Ефим Тимофеевич, как всё-таки рядом ходят жизнь и смерть. Иногда даже в ногу шагают. Ведь мы с тобой для людей старались всю свою жизнь. Где бы ни служили. А теперь меня вот, например, хотят убить. Кони прекрасно знает суть дела. Но ему надо на всю Россию прогреметь своей речью: повод-то превосходный. И он будет говорить, как он уже не один раз говорил, что он так поступает по любви к народу. Против таких мошенников, как я. Хотя знает, что мошенником я не могу быть, поскольку офицер. И что такого обвинения не перенесу.

— Перестаньте, Пётр Владимирович. Не дойдёт до такого. Не может дойти! Хотя жизнь и смерть действительно иногда в ногу идут. Возьмите Аннаева. Казалось бы, какой силы был человек! А раз — и удар. И лежит тряпичной куклой. Что теперь ему все богатства?

— Это верно замечено. Бога забываем, вот что.

— Да, так. У меня тут коляска, Пётр Владимирович. Может, заедем к нам, разговеемся?

— Да нельзя мне выпивать, Ефим. Домой давно надо, полежать.

— Тогда подвезу вас.

Но домой Алабин опять не попал. Когда проезжали по проломному спуску, его окликнул Иван Тепляков, подняв руку.

Алабин дал знак кучеру остановиться.

— С Иваном Ивановичем надо похристосоваться. Спасибо тебе, Ефим. Отлегло маленько.

— Вы не очень-то переживайте, берегите сердце-то.

— Стараюсь, — они обнялись и расстались.

К Петру Владимировичу уже спешил Тепляков. Следом за ним, чуть поотстав, шёл молодой человек. Алабин узнал журналиста из «Самарской газеты» Николая Егорова. После размовки в Струковском Николай на следующий же день отправился к Теплякову. Там ему сказали, что Иван Иванович на прогулке. На спуске к Волге они и встретились, и тут заметили коляску, в которой ехали Алабин и Кожевников.

— Христос Воскресе, Пётр Владимирович. Как хорошо, что встретил вас.

Они обнялись и троекратно расцеловались.

— И я рад. Тоже хотел вас повидать.

С Егоровым, как с человеком малознакомым, он христосоваться не стал, только пожал ему руку.

Неторопливо пошли вперёд.

— Весна, — сказал Алабин, оглядывая дома на проломном спуске, как называли вымощенную наклонную улицу, ведущую к пристани. Ветви акаций, кустов сирени, которые выглядывали через каменные и деревянные ограды около старых и новых построек, уже покрылись первыми листочками, нежными, как ладошки ребёнка. — А помните, Иван Иванович, что как раз весной этот спуск замостили. Вообще я заметил, что у меня происходят какие-то важные события как раз в это время. Мы тогда отсюда на «Вестнике» уезжали с Кожевниковым. Помните? И хорошо, что на нём, а то бы на субботинском «Пете».

Тепляков улыбнулся.

— Семён Устинович и правда свой пароход неловко назвал, — сказал он о Субботине, одном из самых богатых самарских купцов. — Пусть бы уж — «Пётр». А то — «Петя»... Да любит он своего внука, что поделаешь, — он покосился на Алабина. — Эта слабость простительна. Лучше своих детей любить, чем немецких идолов.

Алабин улыбнулся, поняв, что Тепляков имел в виду:

— А, вы про памятник Канту. Читал, читал. Нашей дури, как и уму, нет предела.

— Да уж. Додумать... Завещать своё состояние на памятник Канту! В Самаре! Решил себя выше Субботиных и Шихобаловых поставить. И католика Аннаева перещеголять.

— Всё же родня нашего доморощенного философа остановит. Не все у них дураки, думаю... Да, Иван Иванович, двадцать лет прошло. А будто вчера.

Тепляков понял, что Алабин вспоминает свой вояж со Знаменем.

— Если быть точными — девятнадцать. Действительно, как вчера... Я бы не немцу Канту памятник поставил в Самаре, а тем, кто лёг в болгарскую землю на той войне.

— Не только в землю, но и под снегами балканскими. И Дунай сколько наших поглотил...

...Да, надолго ты осталась в русской памяти, балканская земля. И Дунай, и твои чудо-долины между горами, красота которых не может не восхитить чуткое русское сердце.

И повсюду в прекрасных твоих местах есть могилы русских воинов — именные и безымянные. Поставлены в спешке кресты, да истлели они через время.

Но память — она ведь жива, как весенний дождь, пробуждающий к жизни новые побеги деревьев и кустарников, трав и цветов.

Нет, не убить память, как бы ни старались враги братьев-славян.

На что уж малый город Систово, а вот поди ж ты, всё же не забылся и он. Потому что оказался первым, в который вошёл русский воин-освободитель.

В Систове стояла артиллерия, и турки никак не ожидали, что русские, если даже начнут здесь наступать, то не сразу же, даже если им удастся форсировать Дунай. Но план генерала Драгомирова был рассчитан на внезапность и скрытность по всем правилам военного искусства. Однако план планом, а выполнение его зависело от отваги солдата, который с ходу, ведомый храбрыми офицерами, возьмёт укреплённые позиции врага.

Так оно и произошло.

Недолго оставался батальон капитана фон Фока на захваченной мельнице. Со второй и третьей волной переправы сюда добрались новые батальоны, усиленные артиллерией и кавалерией.

А с ними, к удивлению Теплякова, прибыли генералы Драгомиров и Скобелев.

Потери были: потоплено несколько понтонов, при высадке убита не одна сотня солдат, немалые потери и среди офицерства.

Генералы оценили обстановку.

— Благодарю за быстроту и смелость, — сказал Драгомиров, выслушав краткий рапорт капитана. — Молодцы. Решили, каким образом действовать дальше?

— Судя по тому, откуда бьёт артиллерия, нам надо двинуться вон к тому леску, по речке, куда снаряды не летят. Я уже послал разведку.

— Речка зовётся Такир-дере, — Драгомиров осматривал местность, затем перевёл взгляд на солдат. — А вы как здесь? — он заметил Теплякова, узнав его.

Лицо Ивана, бледное, осунувшееся, со следами копоты, говорило лучше всяких слов.

— Понюхал пороха, — одобрительно сказал Скобелев. — С боевым крещением.

— Проявил смелость и решительность, — сказал фон Фок, видевший, как Иван спас Галушко. — Выручил товарища метким выстрелом.

— Вот как! К награде его, Михаил Иванович? — обратился Скобелев к Драгомирову.

— Особо отличившихся — к Георгиевским крестам. Вас, Николай Викторович, к ордену Святого Георгия, — и пожал капитану руку.

Вернулись из разведки пластуны, доложили обстановку.

Приходилось рисковать, так как многое оставалось неясным. Но наступление следовало продолжить.

Так и сделали. Несколько раз пришлось отступать, но приходило подкрепление, и опять наступали.

К вечеру Систово взяли.

Иван старался держаться «своих» — капитана фон Фока и его батальона, усиленного пластунами и артиллеристами. После переправы и дневных боёв все эти люди, доселе неизвестные, действительно стали своими. Когда шли в наступление от мельницы, пробираясь вдоль речки, прежде чем выйти на открытую местность, Крапивенко, над которым подшучивал Галушко, уберёг Ивана. Тот хотел шагнуть из укрытия, но Кра-

пивенко резко дёрнул его на себя, пригнув к земле. Рядом грохнул снаряд, комья земли ударили по спине. Когда наступила тишина, Иван поднял голову. Лицо Крапивенко оказалось совсем рядом. Только сейчас Иван заметил, что у этого солдата веснушчатый нос и щёки.

— Слухай, когда снаряд летит, — сказал Крапивенко. — Успеешь на тот свет.

Он осторожно выглянул из-за края речного обрыва и показал Ивану, что теперь можно двигаться вперёд. Иван побежал за Крапивенко. Тот, выбрав местечко за бугорком, плашмя упал на землю. Ивану даже показалось, что Крапивенко ранен, но не тут-то было.

— Ишь, турок, целит прямо в лоб, — он махал ладонью, показывая, чтобы Тепляков ниже пригибался к земле. — Не, так его не возмёшь!

И правда, атака сходу захлебнулась. Капитан скомандовал отступление: слишком много оказалось убитых, требовалось подкрепление.

В дело включились наши пушки, и следующие атаки оказались успешнее.

Без Крапивенко, Галушко, Шебаршова, да и других, кого успел узнать в бою Тепляков, он теперь не представлял своей солдатской жизни. И когда устраивались на ночлег после взятия редутов Систово, Иван хотел было расположиться в том домике, куда вошли солдаты. Но Крапивенко опять остановил Ивана:

— Ни. Ступайте он туды, — и он показал на соседний каменный дом. — Вам до капитана.

Иван замешкался, но его увёл за собой Шебаршов, к тому времени уже выставивший посты и отдавший другие распоряжения перед ночлегом.

По лицу фон Фока было видно утомление боем, но он, лишь бегло осмотрев место, которое ему выбрали подчинённые, оставил в доме Теплякова и ушёл.

Иван оказался в довольно просторной комнате, посредине которой стоял стол с гладко оструганной, некрашеной столешницей. Около него лавки. Слева, у стены, печь. Цветная занавеска отделяла ещё одну комнатку, скорее всего, спальню. Две двери вели в боковые комнаты.

Занавеска раздвинулась, из-за неё вышла пожилая женщина, поклонилась Теплякову и Шебаршову.

— Здравейте, добри хора, — сказала она.

Непонятым оказалось лишь слово «хора», но Тепляков решил, что если «добри», то «хора» не может быть неприветливым словом. Позже он узнал, что это значит «люди».

— Здравствуйте, — отозвался он и тоже поклонился.

— Радван се, че, — сказал старик, вошедший в дом.

Тепляков опять всё понял:

— И мы рады. Умыться бы, — и он ладонями сделал жест, как будто плещет на лицо.

— А, измиване. В момента, — и поманил Теплякова и Шебаршева за собой.

Умылись, хозяйка стала собирать на стол.

— Да ничего не надо, — сказал Иван. — Только бы горячего чая.

— А, чай. Може и віна? — спросил старик.

Лицо его, морщинистое, с седыми усами, концами вниз, очень напомнило Теплякову украинское.

— Можно и вина, — согласился Иван. — Раз пришла первая победа.

— Победа! — согласился старик.

— Победа, — сказала и хозяйка, и глаза её увлажнились. — Тъй като ние я изчака! Благодарение, братя!¹ — и опять низко поклонилась.

Вошёл капитан.

— Что, ужинать?

— Вечеря, вечеря, — сказал старик. — Чай и вина, и всичко, което е.²

Турки спешно отступали и не успели до конца опустошить подвал стариков.

Хозяйка собрала на стол, старик принёс дров и затопил печь.

Скоро закипела и вода в чайнике, и стало по-домашнему уютно. Вино налили в стаканчики из зелёного стекла, наподобие мензурок. Пахучий, крепко заваренный чай — в глиняные расписные кружки. И закусить нашлось чем: хозяйка, как и говорила, выложила на стол всё, что оставалось в

¹ Как мы вас ждали! Благодарим, братья.

² Чай и вино, и всё, что есть.

доме — лепёшки, соленья, варенье. Вино оказалось терпким, чуть горьковатым, необыкновенно вкусным, как показалось Теплякову.

— Хозяин, что же вы? — обратился капитан к старику. — Выпейте с нами.

— С радостью, — отозвался тот, а у самого глаза были полны слёз. Вытер их рукавом, взял бокал и осушил его до дна.

— Жаль, сынки не могут с лоса.¹ Три сынка: Иван, Славко, Петко. Петко пятнадцать година. Запытали.

Капитан прямо посмотрел на старика, твёрдо сказал:

— Они погибли не зря. Понимаете? За Родину. За свободу. И честь им и слава, коли они бились, а не гнули спины. Понимаете?

— Разбёра. А ду́ша бо́ли.²

— Молитесь. Вы ведь православный?

— Мать, доста́вя иконы.

Хозяйка встрепенулась, ушла.

Вернулась с образами, завёрнутыми в мешковину.

Старик помог жене вытащить из мешковины иконы, завёрнутые в белую простынь.

И вот, как из-под туч, после ливня и грозы, выглядывает летнее солнышко, так и сейчас, в этом болгарском доме, после долгого заточения, тщательно спрятанные, явились святыни этой истерзанной семьи — образ Христа Спасителя, Богородицы Одигитрии и покровителя земли Болгарской, святого царя Бориса.

— Это Божья Матерь Путеводительница, — сказал Тепляков, вставая и крестясь. — А это... царь... Давид?

— Не. Наш царь, болгарский, Борис³.

— Борис. Ангел-хранитель вашего сына?

— Не, земя Български⁴.

Удивительно, первый раз они говорили между собой и на разных языках, а оказалось, что язык у них — общий. И понимали они друг друга почти дословно.

¹ Жаль, сыновья не с нами.

² Понимаю. А душа болит.

³ Царь Борис I, креститель Болгарии, канонизирован Болгарской церковью как святой.

⁴ Нет, земли Болгарской.

— А это что за образки? — спросил Иван, видя, как хозяйка целует маленькие иконки, которые были завернуты в отдельную тряпицу.

— Иконы дщерей: Варвары... младши Веселины...

— И что же, они... — начал говорить Иван и понял, что напрасно. Потому что хозяйка целовала иконки, обливая их слезами.

Фон Фок прервал молчание, наполнил бокалы.

— Что ж, помянем невинно убиенных. Вечная им память. А мучителей будем гнать с вашей земли. И поможет нам Господь.

Выпили, поблагодарили хозяев, стали укладываться спать. Капитана уложили в спальне, Теплякову постелили в горнице, на топчанчике. Шебаршова устроили в другой комнатке, в которую вела боковая дверь.

Иван быстро заснул. Но среди ночи внезапно проснулся, сам не понимая почему.

Занавески на окне были укреплены посредине, а сквозь верхнее стекло пробивался лунный свет.

Светло-голубой, он ложился на стол, придвинутый к стене, куда поставили иконы.

Они тоже осветились голубым лунным светом.

Иван смотрел на них, и ему казалось, что и Спаситель, и Богородица смотрят прямо на него.

Особенно выразителен был взгляд Богородицы. Её миндалевидные глаза, широко раскрытые, наполнились тем неземным светом, который сейчас особенно сильно проступил на Её лице.

Сын Божий сидел у Нёй на левой руке, а ладонью правой руки она показывала на Него, словно говоря: Он поведёт вас вперёд — идите и ничего не бойтесь. Он с вами, потому что война ваша праведна.

Осторожно, чтобы никого не разбудить, Иван встал с кушетки и неожиданно для самого себя опустился перед образами на колени.

Тепляков вырос в религиозной семье, особенно набожной была мать. Она приучила сына начинать и заканчивать день молитвой. Но чем взрослее он становился, тем реже молился вместе с матерью. После всех неурядиц и несправедливых решений, которые обрушились на отца, а потом и его смерти, в церковь Иван стал ходить по обязанности, чтобы не обидеть мать. Когда уехал учиться в Петербург, и вовсе забыл о Боге.

Там попал в кружок, где о вере в Бога говорили как о тёмном наследии народа и договорились до того, что нескольких студентов арестовали, а Ивана отправили к матери в Самару. Потом он узнал, что именно она спасла его от Сибири.

И вот сейчас Иван вдруг вспомнил о Боге, о матери.

Он начал молиться, просить, чтобы Пречистая уберегла его маму, дала бы ей сил справиться с болезнями.

Потом он вспомнил прошедший день и всё, что произошло так стремительно.

«Господь наш, Иисус Христос, я ведь и сам не знаю, почему я убил этого турка — там, в окопе, — шептал он. — Всё произошло так быстро. Я ничего иного и сделать не мог. Но ведь я убиваю врага — иначе для чего я здесь? Конечно, можно было остаться в стороне. Но я бы счёл себя трусом. Я должен идти вместе со всеми, ведь они не испугались. Наоборот, шли с твёрдой решимостью. Я и не знал, что они такие. Я выстрелил, когда увидел, что Галушко убьют. Господи, на войне надо убивать, прости меня! И прости мою гордыню, ведь я ликовал, когда Скобелев меня хвалил и к награде представил! Ликовал, и сердце моё было полно! Это грех!»

Он клал земные поклоны, продолжая стоять на коленях.

«Господи, и меня спас от гибели солдат. Пригнул мою гордую голову к земле. Спаси и его, Господи, в минуту опасности».

Он видел перед собой освещённые луной лики, смотрел на них, и ему казалось, что они здесь, рядом, и Господь, и Богородица, и царь Борис.

«Господи, молюсь тебе, — снова зашептал он. — Вспоминаю любовь свою несчастную. Может, так мне и надо? Руби дерево по себе? Но я не могу её забыть даже здесь, на войне! Пусть она будет счастлива со своим новым мужем. Она заслуживает счастья. Ведь она так много сделала для своей родни. Но сейчас-то зачем нужен этот... прости, Господи, даже имя его забыл. Ведь она уже отблагодарила семью, вышла замуж за генерала. Новый брак нужен для капитала? Так ли? Если и так, всё равно моли Бога за её душу, Пресвятая Богородица. И Терентьева этого прости. Вот, вспомнил его фамилию. Ведь он, в сущности, неплохой человек. Образованный. Правда, слишком уж на Европу смотрит, как на эталон. Но это пройдёт, пройдёт... Она его на путь истинный наставит, она сильная и умней его...

Господи, дай мне то, что мне и назначено. В Твои руки отдаю себя. Ибо чувствую присутствие Твоё и волю Твою».

Он троекратно перекрестился и встал с колен.

Глава пятнадцатая. Рай

Перевал Стара-Планина, Долина роз. Июнь 1877 года

Русская армия, разделившись на три крыла, стальным кольцом стала обхватывать турецкую армию. Одно крыло, куда входила и дивизия генерала Драгомирова, двинулось к Балканам. Предстояло через центральные районы Болгарии идти через перевал в горах Стара-Планина, по дороге Габрово — Казанлык.

Иван Тепляков решил во что бы то ни стало догнать «наших», то есть самарских, с которыми ему всё никак не удавалось встретиться на болгарской земле. Он узнал, что все шесть дружин ополченцев включены в передовой отряд под командованием генерал-лейтенанта Иосифа Владимировича Гурко. Там находилось более двенадцати тысяч человек при сорока орудиях.

Но «нашими» для Ивана теперь стали те, с которыми он принял боевое крещение, — капитан фон Фок и его батальон. Это подразделение Волынского лейб-гвардии полка было лишь частичкой в общей массе русских войск. Но именно эта частичка стала для Теплякова столь дорогой, что он не думал расставаться с ней.

И когда капитан спросил, куда же теперь направится Иван, он без колебаний попросил разрешения остаться с батальоном.

— Я и сам это же хотел предложить вам, Иван Иванович, — ответил фон Фок. — Поскольку на дорогах войны заблудиться легко, вам лучше пока хоть временно побыть с нами. И опыта в военных действиях наберётесь. Как я понимаю, у вас его пока маловато.

— Да совсем никакого, — ответил Иван, отметив деликатность капитана и его дружеское расположение. — Но я обещаю вас не подвести, Николай Викторович. По крайности, мешать не буду.

— Нет, отчего же, — капитан улыбнулся. — Вы уже показали себя в бою. Признаться, я от вас таких решительных действий не ожидал. Ведь это первый ваш бой?

— Первый, — Иван чувствовал, что, как и с Верещагиным, лучше всего не представляться кем-то вроде Печорина, а быть

самим собой. И не стесняться спрашивать. Тем более фон Фок был старше его всего лет на пять-шесть. — Скажите, Николай Викторович, а почему вы в Волынском полку оказались? Ведь это, насколько я понимаю, западная Украина? И воины ваши — украинцы?

Они шли в середине колонны, которая, вытянувшись вдоль дороги, поднимались по пологому скату зелёного холма. Тут и там стали попадаться деревья, уже всюду покрытые листвой. Иван видел дубы, как под Самарой, в предгорье Жигулей. Но стали попадаться широколиственные красавцы, непохожие на дубы, названия которых он не знал.

— Украинцы есть, но их не так уж много, — отозвался фон Фок. — Наш полк имеет славную историю. Он возник как охранный цесаревича Константина Павловича в одна тысяча восемьсот шестом году. Хотите, немного об истории полка расскажу? — капитан поглядывал на шагнувшего рядом Теплякова не как на ученика, но как на литератора, которого необходимо просветить, поскольку он обязательно будет писать. И надо, чтобы он не напугал, всё правильно изложил.

— Да, конечно, — как можно приветливее сказал Тепляков. К его достоинствам следовало бы отнести умение слушать — драгоценное качество газетчика, которое, увы, присуще немногим его сотоварищам по профессии. Но Иван и не догадывался о сем, просто поступал по сердцу — и тем располагал к себе многих, и не только как газетчик. Его рекомендовали Ивану Сергеевичу Аксакову как литератора, и на самом деле он таковым и являлся, имея уже публикации своих очерков и двух рассказов в Московских и Петербургских журналах. Но всё-таки сейчас он был именно газетчиком и не стеснялся этого, а наоборот, понимал значимость и ответственность газетного дела, хотя многими и оскорбляемого, и унижаемого.

— Полк наш особенно прославлен в деле восемьсот двенадцатого и четырнадцатого годов. За это полку передано Георгиевское знамя и серебряные трубы. Ещё ранее полк отличился при Фридланде¹, при императоре Александре I. Последняя во-

¹ Битва под Фридландом — сражение между французской армией под командованием Наполеона и русской армией под командованием генерала Беннигсена, произошедшее 14 июня 1807 года под Фридландом (ныне город Правдинск Калининградской области).

енная кампания, в которой полк показал себя с самой лучшей стороны, — Крымская война.

— При обороне Севастополя?

— Нет, мы воевали на Балтике, хотя война названа Крымской. И на море, и на суше дали сдачи англичанам. Что же касается состава, то полк в разное время формировался из разных губерний. Кроме великороссов, есть и белорусы, и украинцы, и поляки.

— А вы...

— Остзейские немцы тоже. Мой прадед служить начал при Петре I. За доблесть и отвагу император жаловал ему именье и дворянское звание. Но служить дед и отец начинали с нижних чинов. Выходили в отставку в чине майоров и полковников.

— Славно. Именье ваше на Балтике?

— Нет, — фон Фок опять улыбнулся. Тепляков не мог не обратить внимания, что улыбался капитан как-то светло, дружески.

Продолговатое лицо его, со светлыми усами и небольшой бородкой, выглядело в такие минуты совсем не воинским, а скорее всего студенческим. Да и волосы его вились, курчавились, укладываясь волнами. Когда он снимал фуражку, вытирая платком пот со лба, это особенно было заметно. Но стоило ему перестать улыбаться, как лицо его становилось строгим, может, даже излишне.

Он поглядывал на солдат, шагавших следом, подгоняющих лошадей, тащивших пушки, подводы, гружённые разным воинским снаряжением, и ни на кого не покрикивал. Но солдаты в его батальоне всё делали чётко, дружно, умело. Видно, хорошо знали своего капитана и уважали его.

— Наше именье в Псковской губернии. Лысые Горы, не слышали? Не так уж далеко от Михайловского.

— Как? Неужто? Того самого?

— Да, Иван Иванович. Как Хлестаков, не могу сказать, что «с Пушкиным на дружеской ноге». Но Александр Сергеевич всё же к нам наведывался. С отцом знакомство водил. Я, правда, тогда ещё совсем маленьким был. К сожалению.

Он опять улыбнулся, видя, какое впечатление это сообщение произвело на Теплякова.

— Вижу, что вы несколько удивлены. Офицерство не лишено литературных интересов. Хотя на войне не до поэзии.

— Нет, я не этому удивлён, — быстро возразил Тепляков, боясь, как бы дружеский тон разговора не оборвался. — Я не столько удивляюсь, сколько радуюсь тому, что вы самого Пушкина видели. Это же счастье.

— Так любите Пушкина?

— А разве его можно не любить?

Фон Фок хмыкнул:

— Вы Дантеса вспомните.

— Пример неудачный. «...смеясь, он дерзко презирал язык чужой и нравы...»

— Лермонтов... А вы, Иван Иванович, тоже стихи пишете?

— Нет, я газетчик.

— Скромничаете.

— Лучше говорить о вещах прозаических. Как высоко поднимается этот перевал? Вы наверняка знаете.

— Знают местные проводники. Перевал до двух тысяч метров. Видите, лиственный лес кончился. Теперь сосновый пошёл. Дальше пойдут луга, похожие на альпийские. Доберёмся до снеговых вершин. Вот там труднее всего будет.

Когда открылось пространство за сосновым бором, увиделись вершины гор, покрытые снеговыми шапками. Как перебираться через них с орудиями, подводами со всем снаряжением, Иван плохо представлял. Видно, генералы отобрали надёжных проводников, раз так смело повели вперёд дивизию через незнакомые горы.

Действительно, русских вели местные проводники, которых подобрала разведка из болгарских ополченцев.

Миновали луг, похожий на нежно-зелёное покрывало, пошла каменистая и сыпучая тропа, которая, петляя, взбиралась всё выше и выше. И дивизия поднималась вместе с ней. Солдаты, напрягаясь, удерживали подводы, соскальзывающие с узкой тропы. Это не всегда удавалось: несколько телег рухнуло в обрыв. Воздух становился все разреженней, некоторые солдаты дышали хрипло, с трудом. Повеяло холодным ветром, и странным казалось, что всего меньше часа назад шли по жаркой и такой ласкающей взор долине.

Надели зимние шинели, головы укутали башлыками.

Фон Фок уходил вперёд, выясняя, почему случались остановки.

Иван пристроился к одной из подвод, которую уже несколько раз поддерживали солдаты, когда она грозила съехать с тропы. Вместе с Шебаршевым и Галушко Панас, ухватившись за край подводы, толкал её обратно на тропу.

Вершина горы оказалась плоской. Как будто специально кто-то расчистил её. Хотелось отдохнуть, вздохнуть свободно. Но сзади поднимались другие, и площадка скоро оказалась заполненной. Прозвучала команда идти вниз, и пришлось отдышаться на ходу, держась за бревенчатый край подводы.

Спускаться оказалось не менее трудно, чем подниматься. Особенно в начале спуска, где тропа круто обрывалась. Пришлось прокладывать путь для спуска, чтобы удержать орудия от гибели. Это делали сразу несколько человек с обеих сторон каждой пушки, удерживая их, как детей, которые забрались на снежную горку и не знают, как съехать с неё.

Спина у Ивана взмокла, а лицо мёрзло от ледяного ветра. Он прятался, сгибаясь, за подводой. А Шебаршову и Галушко, шедшим впереди, приходилось смотреть вперед, чтобы не сорваться в пропасть.

Вот миновали самые опасные повороты первых метров спуска, дышать стало легче. Можно поднять голову, и Иван разогнул спину. Но сделал это слишком резко и едва не полетел вниз, успев ухватиться за край подводы.

Галушко с испугом глянул на Ивана.

— Вы чаво, барин. Я за вас испугавшись.

Иван извинительно кивнул Галушко.

«Я даже не знаю, как его зовут, — подумал он. — Нехорошо».

И когда спуск стал более удобным, он сказал, вытирая пот с лица:

— Никакой я не барин. Звать меня Иваном. По отчеству — Иваныч.

На Теплякова смотрело ушастое, удивлённое лицо с толстыми щеками:

— Чудно.

— Да ничего чудного во мне нет. А тебя как звать?

— Панас.

— Вот и будем знакомы.

Галушко пожал протянутую ему ладонь Теплякова, улыбнулся.

- Спасибо вам, барин.
- Опять — барин!
- Дак як же. Вы мне жизнь спасли.
- А ты в другой раз меня спасёшь. Так и будем воевать.
- Я согласный.

Он выпрямился во весь свой рост, сдвинул фуражку на затылок, глубоко вздохнув.

И вдруг замер, и охнул:

— Погляньте! Это чаво?

Глаза его расширились от удивления и восторга.

И в самом деле, было чему удивляться и восторгаться.

Перед ними лежала, вся утопая в алых цветах, нежно-розовая долина. Местами она темнела, становясь ярко-красной, местами светлела, переливаясь на солнце.

Тепляков, как и другие воины, тоже остановился, выпрямившись.

— Боже мой! — сказал кто-то рядом. — Да это же чудо!¹

Волнами на воинов шёл аромат — пряный, смешанный со свежестью ветерка.

Впереди тоже остановились, решая, как двигаться дальше.

На поле, сплошь покрытом цветущими розами, лишь несколько женщин собирали лепестки. Увидев русских, они стали наблюдать за воинами, остановившись в нерешительности.

Потом одна из них, срезав несколько стеблей с цветущими розами, пошла навстречу воинам.

Протянула цветы Драгомирову, который был во главе колонны.

Лицо Михаила Ивановича, сосредоточенное, утомлённое дорогой через перевал, ожиданием встречи с неприятелем, осветилось улыбкой:

— Первый раз в жизни мне дарят розы, — сказал он. — Спасибо, дорогая.

— Хорошо пожаловати!² — сказала женщина.

— А мне? — сказал подошедший Скобелев. — Я тоже генерал! Тоже розы хочу!

¹ Долина роз — расположена в самом центре Болгарии и своим названием обязана знаменитым болгарским розам, которые растут здесь более 300 лет.

² Добро пожаловать!

Все, кто стоял рядом, рассмеялись.

А женщина с загорелым, тревожным лицом, много чего повидавшим, улыбнулась материнской улыбкой:

— Уже розы к дарю, усю Долину розовый!¹

Глава шестнадцатая. Ад ***Казанлык, июнь 1877 года***

«Это рай, — снова и снова повторял Иван. — Настоящий, самый доподлинный».

Войско двигалось к Казанлыку по краю поля, и пряный, нежный аромат овеивал воинов, и глаза смотрели, и не могли насмотреться на красоту, которую даровал людям Господь.

Розы не только цвели, но и увядали, никем не сорванные.

Иван видел и бутоны, которые ещё только готовились к тому, чтобы явить миру свою красоту. И ему подумалось, что вот, сама природа утверждает не умирание, а жизнь, которая будет продолжаться. Её не смогут остановить страдания и смерть, которая идёт и по этой долине, размахивая косой.

Казаки вернулись из разведки. Началось перестроение дивизии. Без отдыха, без передышки Драгомиров и Скобелев двинули воинов на взятие городка. Расчёт опять строился на внезапности, и он опять оправдал себя.

Казанлык не был укреплён так, как Систово. Не ждали османы русских, которые стали наступать прямо по центральной части Болгарии. И в то же время крылья армии с востока и запада также шли вперёд, обхватывая войска врага.

В бою пало намного меньше людей, чем в самом городе, где османы, отступая, пролили кровь стариков, женщин, детей.

Словно хотели сказать: вот вам, глядите. Мы отступаем, но вас ждёт такая же участь, как и этих болгар.

«Это ад», — повторял Иван, идя по улицам Казанлыка и видя убитых людей, лежащих прямо посреди улиц и у входа в дома.

Вспоротые животы, перерезанные горла, валяющиеся головы, отрезанные от туловищ. Злодеяния свершились недавно, но кровь уже остыла, запеклась в ручейках, хорошо видных в свете летнего заходящего солнца.

Иван прислонился к стене какого-то дома, не в силах идти дальше.

¹ Все розы дарю, всю Долину роз!

— Вы ранены? — к нему подошёл, спешившись с лошади, старший офицер.

Иван посмотрел на незнакомца, сказал:

— Это ничего. Просто устал.

— Антон! — окликнул офицер. — Помогите. И посмотрите, можно ли в этом доме остановиться.

Подошёл рослый унтер-офицер, хотел помочь Ивану, но тот отстранил его:

— Я сам... сейчас.

— Да обопритесь на меня, — унтер ногой шире открыл незапертую калитку, повёл Ивана по дорожке, вымощенной булыжником, к дверям дома.

Двери открыты — видно, что хозяева уходили в спешке. Тут и там валялись на полу вещи, домашняя утварь.

Иван сел на деревянный диван, стоящий у стены, а унтер осмотрел соседние комнаты, убедился, что в доме никого нет.

Вышел во дворик, окликнул старшего офицера:

— Павел Петрович! Можно сюда.

Офицер, а это был командир знаменного батальона подполковник Павел Калитин, распахнул ворота и ввёл свою лошадь во двор.

Унтер между тем приводил в порядок горницу, убирая разбросанные вещи, прикидывая, где устроиться на ночлег и подполковнику, и себе, и молодому человеку, наверное, добровольцу из студентов, который ещё не успел получить полное воинское обмундирование. Иван по-прежнему был в пиджаке, в брюках, заправленных в высокие сапоги, которые ему принёс денщик Верещагина Прохор, в офицерской фуражке и скатке из флотской шинели Нелюбина, надетой через плечо. Подпоясанный ремнём с пряжкой, на котором висела сумка для ружейных патронов, с ружьём, которое Иван не выпускал из рук, словно боясь, что останется без оружия, Тепляков действительно производил впечатление ополченца, раненного в недавнем бою.

Унтер спросил Ивана об этом.

— Нет, я здоров. Просто эти трупы...

— А-а. Унтер-офицер Антон Марчин. А вы?

— Воинского звания не имею. Хорошо бы воды.

Антон принёс воду в кружке, которую нашёл в кухне.

Вошёл подполковник. Молодой, с высоким лбом, с узкими вьющимися бакенбардами, которые обрамляли его узкое лицо, мягкими усами.

Тепляков узнал офицера.

— Ну что, вам лучше? Вы не ранены? Может, прилечь? — спросил Калитин.

— Благодарю. Рад встрече, — Иван, выпив воды, вытер усы и бородку, отросшие у него за это время. Он ни разу не брился, как-то забыл об этом.

— А я вас сразу и не признал, — сказал Калитин. — Тепляков? Кажется, Иван Иванович? Да вы поставьте ружьё: бой кончился.

Иван поставил ружьё к стене, встал, протянув руку Калитину:

— Вы неожиданно исчезаете и так же неожиданно появляетесь.

— Война, Иван Иванович. Вы простите, что в Кишинёве я, не попрощавшись, уехал. Великий князь вызвал.

Когда Иван добирался на Балканы, в Кишинёве встретился с этим офицером. Ужинали вместе, а потом дружески поговорили.

А утром, когда Иван разыскивал Калитина, ему сказали, что подполковник уже отбыл вместе с прибывшим к нему нарочным.

Подполковник осматривался, и унтер-офицер поймал взгляд Калитина, вышел из горницы, окликаая ординарца:

— Дрожжин! Да куда ж ты запропастился?

В распахнутых воротах стоял, держа лошадь за уздцы, молодой, с щегольскими усами, Дрожжин, ординарец и во всём скорый помощник подполковника, а заодно и Антона Марчина, который был теперь неразлучен с Калитиным.

— Да это ж вы куды-то пропали, ищу вас, ищу.

— Давай, Влас, поищи, чего поспедать. Пошуруй по дому. И я пошурую.

— Счас, только лошадей пристрою, — отозвался Дрожжин.

Оба отправились искать, что поесть и попить. Не сидел без дела и Калитин, осмотревший комнаты. Свою саблю и шинель он оставил в спальне, где по стенам стояли две кровати.

— Иван Иванович, полюбуйте, каковы здесь кровати. С перинами! Одну кровать, пожалуй, надо перенести в другую комнату. Помогайте.

Так и сделали.

Тепляков, чтобы как-то занять себя, вышел во двор. Здесь росли яблони, сливы, ещё какие-то незнакомые Ивану плодовые деревья, а в глубине двора виднелось каменное строение, похоже, кладовая или мастерская. Машинально Иван направился туда, толкнул дверь, она открылась.

Иван разглядел полки, уставленные глиняными кувшинами. Понюхав, уловил запах розового масла. Видно, масло приготовлено для отправки на парфюмерную фабрику или на продажу.

Глубина помещения затемнена, но что-то, как показалось Теплякову, слегка белело в углу.

Иван заметил на одной из полок свечу. Зажёг и поднял её над собой, вглядываясь в тёмный угол.

Там стоял мальчик в серой рубашке навывпуск — она-то и выдала его.

Иван увидел лицо, на котором горели затравленные, как у пойманной бездомной собачонки, глаза. В правой руке мальчишка держал нож.

С минуту они молча разглядывали друг друга.

Иван прервал молчание:

— Я русский. Зовут Иван. А тебя?

Если бы не подрагивала рука, сжимающая рукоятку ножа, мальчишку можно было принять за гипсовую статую.

— У меня нет оружия, — Иван развёл руки в стороны. — Не бойся.

Мальчишка продолжал молчать, стоял, не двигаясь.

— Ну, хорошо. Не будем же стоять так до ночи? Пойдём ужинать. Там чего-нибудь да принесли. Вечерять по-вашему, я уже знаю. Разумеешь?

Мальчишке было лет десять-двенадцать.

В кладовую заглянул Антон Марчин. Ему пришлось согнуться, чтобы войти.

— Что тут у вас?

— Да вот, мальчика обнаружил. Зову ужинать, он не идёт.

Антон рассмотрел мальчишку.

— Видать, турки его... того... Видишь, без боя не сдаётся. А в этих горшках что? — Антон показал на кувшины.

— По-моему, розовое масло. Понюхай.

— А если попробовать?

— Попробуй.

Антон вытащил пробку и сделал глоток, запрокинув кувшин.

— Фу, гадость!

Иван улыбнулся:

— Теперь будешь благоухать.

И мальчишке:

— Мы у тебя гости. А ты — хозяин. Захочешь с нами поговорить, поесть — милости просим. Мы тебе не враги. Разумеешь?

Он вышел из кладовой, увлекая за собой Антона.

— Да он как бы чего не учудил, — Антон пошёл за Иваном в дом.

Ординарец принёс горячей перловой каши. К ней кошевой выдал сухарей и по кусочку колотого сахара. Из собранных яблок и слив приготовили компот.

Получился ужин.

— Помнится, мы с вами говорили о чём-то важном, — сказал Калитин. — Гостиница была совсем неплохая, а вы про Кишинёв какие-то пушкинские стихи привели... Помните?

— «Проклятый город Кишинёв, тебя бранить язык устанет, когда-нибудь на грешный кров твоих запачканных домов небесный гром, конечно, грянет»¹.

— Да-да, — улыбнулся Калитин. — Вы ещё рассказали, почему Пушкин на Кишинёв обиделся. Но я не о том. Мы говорили и недоговорили о чём-то очень важном... Не помните?

— Как же, помню. Обсуждали славянский вопрос.

Антон Марчин допил компот и поставил кружку на стол:

— Пойду до штаба. Узнаю, что у нас с утра.

Калитин кивнул, отпуская Марчина, посмотрел на Теплякова:

— Утомились? Не до разговоров?

Иван встал, сунул в карман пиджака несколько сухарей.

— Пойду нашего хозяина навещу.

— Подождите, Иван Иванович. Я вот в Туркестане на зверства насмотрелся, кажется, должен перестать ужасаться. Понимаете, если с детских лет тебя приучают резать баранов, ягнят, то человека зарезать совсем не трудно. Важно сделать это в первый раз. Не поверите, я видел мальчишку, который зарезал нашего солдата, когда тот вошёл в их дом воды попросить. Да и домом-то не назовёшь эту глиняную мазанку. Солдат вынес мне воды, а мальчишка лет двенадцати, не больше,

¹ А. Пушкин. Из «Письма к Вигелю».

солдату в спину нож воткнул. Солдат так и рухнул. Я онемел от растерянности, а мальчишка с ножом — на меня. Пришлось выстрелить.

— Убили?

— Убил. На войне, Иван Иванович, не до воспитательных речей. Если бы не выстрелил, он бы и меня зарезал. Потому что уже приучен был резать, понимаете?

— Всё же надо мальчишку проведать.

— Осторожней. Я ведь не случайно про туркестанского мальчишку рассказал. Это было в Коканде.

— Хорошо.

Иван вышел во двор, пошёл по уже знакомой аллейке. Спелые красно-жёлтые яблоки красовались на ветках, лежали в траве. Сливовые деревья с ветками, усыпанными плодами, гнулись под их тяжестью. Сливы налились медовым соком, просвечивали, янтарно желтея под солнцем. Чуть ближе к кладовой росло мощное ветвистое плодовое дерево. Только сейчас Иван понял, что это, потому что прямо ему под ноги упала груша.

В кладовой мальчишки не было.

Иван вышел в сад, остановился, раздумывая. Груша, упавшая на землю с дерева, была зелёной, неспелой. Значит, кто-то, пробираясь наверх, задел ветку.

Иван поднял голову:

— Я знаю, что ты там, наверху, — громко сказал он. — Я оставлю тебе сухариков, поешь, если захочешь. Есть и каша, но приносить сюда я её не буду. Она будет на столе, на кухне. Впрочем вряд ли ты войдёшь в дом. Мы завтра можем уйти утром, так что спать отправляйся в кладовку, там устроишься. Понял?

Мальчишка молчал, хотя понял, что его обнаружили. И если хотели бы убить, то пришли бы с ружьём. И подстрелили, как птицу.

А может, ещё что-то задумали?

Что?

— Русский! — сказал он. — Обмываете не?¹

— Ну вот, правильно, что откликнулся. Слезай!

— А... будешь... убивать не?²

Иван понял, что сказал мальчишка.

¹ Не обмываете?

² Убивать не будешь?

— Ну что ты! Зачем мне тебя убивать? Сам подумай. Мы пришли, чтобы турок выгнать.

И он показал жестом, чтобы понятней стали его слова.

Мальчишка понял Ивана, но всё не спускался с дерева.

— Ну слезай, я тебя прошу. Ну, ты же не воробей. И не ворона.

— Ворон? — переспросил мальчишка. — Какаа ворон?¹

— Ты — не ворона, — Иван опять прибегнул к жестикуляции. — Ты — человек! Надо ходить по земле, а не сидеть на дереве!

Жесты Ивана показались мальчишке смешными, он хохотнул.

— Ну вот, это уже лучше. Давай, спускайся. Видишь, уже темнеет. Да и устал я.

Мальчишка осторожно стал спускаться с дерева.

Слез, встал напротив Ивана, отряхнулся.

Опять с минуту они смотрели друг на друга.

Глаза у мальчишки крупные, как сливы. Только не янтарные, как в этом саду, а фиолетовые, почти чёрные.

Иван протянул руку:

— Давай знакомиться. Иван.

— Иоанн.

Ладонка у мальчишки холодная, маленькая.

Но на пожатие он ответил твёрдо, по-мужски.

Глава семнадцатая. Звёздная ночь

Казанлык, июнь 1877 года

Тепляков слышал, что в соседней комнате Калитин встал с кровати и вышел в горницу. Не мог заснуть и он и потому тоже встал.

— Душно, — сказал Калитин.

Они вышли в сад, уселись на скамейку, стоящую под окнами.

Звёзды густо усыпали небо. Их свет разлился по небу сиене-сизой рекой, по ней плыла луна, и в её мерцании возникала та вечная тайна, пред которой замирает душа. И деревья, и дома, и горы, поднимающиеся за городом, всё, освещённое этой звёздной рекой и её лунными переливами, казалось сейчас настолько чудесным, божественно красивым, что Тепляков не удержался и сказал:

— Какая благодать! Какой прекрасный мир уготован для нас!

¹ Какая ворона?

— Такие звезды видел в Туркестане, — отозвался Калитин. — В Хивинском походе. Правда звёздами тогда пришлось не любоваться, а по ним определять, как двигаться дальше.

— Вы ведь со Скобелевым воевали. Может, расскажете?

— Охотно. Потому что Михаил Дмитриевич... это Скобелев!

Калитин повернулся к Теплякову лицом, и Иван увидел, как лунный свет будто тронул холодным огнём его глаза.

— Однажды пришлось при звёздах, примерно таких же, наступать. Под Хивой, местечко Итыбай. Там по колодцу места жизни определяют. Потому как вода в пустыне и в степи — жизнь. И вот отряду нашему предстояло охранять путь, проложенный от колодца к колодцу до самой Хивы. Казахи перешли на сторону хивинцев и отбили караван примерно в двести верблюдов. А в этом караване — всё необходимое для нас, понимаете?

Иван кивнул, хотя не очень-то представлял, что такое караван верблюдов, везущий что-то там нашим воинам. Разве что видел верблюдов на картинках.

— И вот представьте, к этому Итыбаю несутся на скакунах всадники. Числом втрое больше, чем наш отряд. Но Скобелев знал, что будет атака, и к ней мы приготовились. Отдаёт приказ скакать навстречу врагу. Сам — впереди. Сшиблись! Расчёт у Скобелева такой: мы отдохнувшие, сытые, пить не хотим, а казахи — измученные жаждой, долго ли они против нас выстоят? Тем более мы не испугались их атаки, а сами атаковали! Рядом со Скобелевым — все смелые! Таких не возьмёшь! И побежали степняки. А многие и сами в плен сдались.

Калитин улыбался, лицо его изменилось — будто только что закончился бой скобелевского кавалеристского отряда.

— Слушайте дальше, — продолжал Павел Петрович. — Мотайте на ус, как говорится. Разведка — а у Скобелева она всегда превосходная — доносит, что главный отряд хивинцев впереди. Мы с двумя сотнями и двумя орудиями сопровождаем колёсный обоз. Это было тоже под Хивой, местечко Чинакчита, восемь примерно вёрст от Хивы. Идёт на нас отряд в тысячу всадников. Скобелев быстро соображает и через сады заходит хивинцам в тыл. Опрокидываем их. С ходу сокрушаем и отряд, который наш обоз взял. Полная победа! Вообще должен сказать, что он полководец победы! Вера его всех зажигает и зовёт только к победе, понимаете?! И днём, и ночью! Мы про звёз-

ды... Так вот. И ночью атаковали! Ах, Иван, скачем мы, налетаем... Если бы вы всё это испытали! Как Суворов говорил? Что победу приносит? Храбрость? Да. Расчёт? Да. Но и тот, кто в бой солдата ведёт. Вот она, наука побеждать!

Калитин откинулся спиной на стену дома, поднял голову, словно вглядывался в звёздную реку. Что он там видел? Как кипел ночной бой? Или что-то другое?

— После боя насчитали у Скобелева семь ран от пик, пять сабельных. Но из седла его не выбили!

— Как же он... воевал?

— В седло сел через пару месяцев. Потому как воин с детства. Дед его — генерал восемьсот двенадцатого года, отец тоже генерал, сейчас здесь, на Балканах. Сильны Скобелевы не только саблей, но и духом. Это альфа и омега воинской науки. Её нам и преподавал Михаил Дмитриевич.

Павел Петрович опустил голову, глянул на Теплякова, оценивая, как понят его рассказ.

— Да, — выдохнул Иван. — Но почему же он не во главе хотя бы дивизии?

— Дайте срок. Никуда они не денутся, эти стратеги войны на бумаге. Не спрячешь от солдата их отца и брата. И здесь будет то же, что и в Туркестане.

— А это правда, что он всегда на белом коне? И в белом мундире?

— Правда! — Калитин снова быстро посмотрел на Теплякова. Иван снова увидел, что глаза Калитина заблестели. Или это свет звёзд и луны так осветил Павла Петровича, что его глаза показались сейчас такими восторженными?

— Началось с фуражки. Была у него белая, однажды сменил её — чуть не подстрелили. Опять белую надел. И белый китель. Ездит только на белом коне. Дали пегого — убили под ним коня. Стой поры и ездит только на белых. Представляете? Его отовсюду видно, но это как раз наших воинов и воодушевляет! Раз Скобелев на белом коне и невредим, значит, победа — за нами!

— Но ведь это... Бравата какая-то! Его же рано или поздно подстрелят!

— Скажите, Иван, вы верите в Бога? Не так, как иногда в церкви бывает: что-то там гундосят или декламируют, как в плохом театре. А по-настоящему?

— Я... об этом как раз и задумался... Здесь, после первого боя... Когда смерть рядом была...

— И что же? — требовательно спросил Павел Петрович.

— Я понял, что верю, — Ивану захотелось рассказать, как он той ночью встал на молитву пред иконами. Но побоялся, что Калитин его не поймёт.

Но вот особенность: и в Кишинёве, при первой встрече, заговорили о том, что в мирной жизни не скажешь даже другу. И с капитаном фон Фоком тоже говорили о важном. По крайней мере, не суетном, а серьёзном...

— Рад за вас, Иван, — Калитин опять с блеском в глазах посмотрел на Теплякова. — Когда я Михаила Дмитриевича видел в бою, да не одним, а по крайности в десяти, то поверил, что Господь Бог его бережёт. Или его ангел-хранитель, сам Архистратиг Михаил, все силы небесные за него! Иначе бы он давно в могиле лежал. Поверьте, иначе нельзя объяснить, почему его пули не берут и саблю самую острую он отбивает!

Калитин говорил горячо, словно торопился высказать Теплякову то, что давно лежит у него на душе.

— Глядя на Скобелева, я окончательно понял, что без веры в Господа воевать нельзя. Нельзя! И если вы это поняли, тогда и всё остальное на войне поймёте.

Он вздохнул и словно очнулся от своего одушевления:

— Ничего, что я вас Иваном называю? Без отчества?

— Нет, что вы. Мне с вами говорить как-то легко, что ли. Если признаться, я ведь и в первую нашу встречу расположение к вам почувствовал.

— И славно. Это оттого, что мы не знаем, что с нами будет завтра. Торопимся высказаться. Вот особенность войны. Понимаете?

— Понимаю.

— Но высказаться хочется, если встретишь человека по душе.

— Спасибо вам за доверие, Павел Петрович.

— Да тут не доверие, Иван. Тут то, что боевым братством называется. Скобелев потому победу за победой одерживает, что каждый солдат ему как родной. И все это понимают. Вернее чувствуют сердцем.

Тепляков вспомнил, что рассказал Верещагин про разведку Скобелева, когда только один казак смог с ним переплыть с лошадей через Дунай и вернуться обратно.

— Всё это для него — мелочи, — сказал Калитин, выслушав рассказ об этом подвиге Скобелева. — Всё впереди...

Они замолчали. Слышен был лишь треск цикад. Ночь продолжала плыть рекой по небу. Отсветы звёзд ложились на листья яблонь, на спелые плоды. Они светились, как драгоценные камни.

В кустах маличника послышалось лёгкое шуршанье.

Чуткое ухо Калитина уловило шорох.

Он осторожно подошёл к малиннику и раздвинул кусты.

Там прятался Иоанн.

— И ты тут! — сказал Калитин. — А я думал, ёжик шуршит! Вылазь, холодно ведь!

— Не, — ответил Иоанн, но из кустов вылез. Одет в меховую жилетку, в тёплые штаны. Видать, знал, каково ночевать в саду.

— Иди сюда, садись, — Тепляков подвинулся, освобождая место для мальчишки. — Знаешь, Иоанн как-то торжественно звучит. Иоанн Креститель, Иоанн Богослов... Тебя как мамка с папкой зовут?

— Папки и мамки не. Убили.

— Прости. А как звали? Когда были живы?

— Иванко.

— Ну вот, видишь... Иванко. Славное имя. А твой ангел-хранитель — Иоанн Богослов? Евангелист?

— Не. Креститель.

— Вот и хорошо, — сказал Калитин. — Сильная у тебя защита. Садись.

Они усадили мальчишку между собой. Он поглядывал то на одного, то на другого.

Тепляков обнял Иванко.

— Так ты... один остался? Или тётки, дядьки есть?

— Есть. В Стара-Загоре.

— Вот и славно. Мы как раз туда и идём. Пойдём с нами? Дом закроешь, потом вернёшься со взрослыми...

Иванко кивнул.

— Не вернусь.

— Почему?

— Буду воевать.

— Да что ты, — как можно мягче сказал Калитин. — Мальчишки не воюют.

— А я буду.

Лицо Иванко выражало столь твёрдую решимость, что ни Тепляков, ни Калитин не стали возражать.

— Ладно, посмотрим. Может, тебя пристроим куда-нибудь... кашеварить, что ли...

— Не. Воевать буду. С Белым Генералом.

— Так ты всё слышал? И понял?

Иванко поводил головой из стороны в сторону, что, как уже знали русские, по-болгарски означало «да»¹.

Глава восемнадцатая. Дом, увитый плющом

Стара-Загора, июль 1877 года

Передовой отряд и батальоны ополченцев под командованием генерал-лейтенанта Иосифа Гурко скорым маршем двигались к югу Болгарии. В подкрепление он получил пехотную бригаду, и это помогло одержать победу в боях за Тырново и взять ряд других городков поменьше. Двинулись дальше к Стара-Загоре — наиболее значительному городу в этих краях. На турецкий манер он назывался Эски-Загора, но болгары продолжали называть его по-своему.

Отряд Иосифа Владимировича Гурко не знал поражений, и это вызвало панику в турецкой армии. Спешно турки приняли меры, чтобы приостановить продвижение русских, усилив свои войска на севере Болгарии, где наши, перейдя Дунай и взяв Систово, остановились. Турки успели хорошо укрепить город Плевен, или Плевну, как стали называть его русские. Генерал Николай Кридигер, командовавший здесь, никак не мог предположить, что из-за промедления наших войск турки сумеют так основательно укрепиться.

Под Плевной развернулись затяжные и кровавые сражения.

¹ Существует красивая легенда из болгарской истории. Один из турецких ханов решил силой взять в жёны болгарскую девушку. Приставив кинжал к горлу несчастной, он спросил, согласна ли она. Не желая покориться ненавистному чужеземцу, девушка ответила «нет» утвердительным кивком головы, чтобы острое клинка навсегда избавило её от участи рабыни. С той поры у болгар «нет» означает кивок головы, «да» — покачивание головой из стороны в сторону.

Гурко было приказано идти обратно на север. Оставив в Стара-Загоре часть отряда и батальоны ополченцев, отряд Гурко отправился выполнять приказ.

Иван Тепляков решил остаться с ополченцами, так как к этому было несколько причин. Прежде всего, хотелось остаться при Знамени. Да и не хотелось идти туда, где он уже был.

Он не мог предположить, что именно там, на перевале у горы, которая станет известна всему миру, и развернутся события, которые и определяют исход войны. Ещё не запомнил он это название — Шипка. Оно вошло в его сердце потом, после Стара-Загоры, где ему суждено было так много пережить.

Иванко не нашёл своих родных в Стара-Загоре: их тоже убили. Ещё и поэтому Тепляков остался здесь: мальчишку не на кого было оставить. Возвращаться в Казанлык Иванко категорически отказался и остался в том же доме, где поселили Ивана.

Иванко выполнял при Теплякове роль переводчика. Всё свободное время Иван через мальчишку осваивал болгарский язык, постоянно спрашивая, как по-болгарски произносятся те или иные слова, и что они значат. А Иванко довольно быстро привыкал к русскому языку.

В доме, куда поселили Ивана, он сошёлся с ополченцем Стояном Санищевым, студентом Парижского университета. Стоян приехал в Болгарию, как только узнал о начале войны. Сам он жил в Софии, но в Стара-Загоре у него были друзья, к которым он и поселился. Здесь познакомились и с двумя другими ополченцами: дом оказался двухэтажным, с балконами, садом, и если бы не движение по улице солдат, обозов, орудий, следов недавнего боя, то этот уютный дом, увитый плющом по фасаду, вполне можно принять за южную обитель, пригодную для отдыха. Хозяйка, которую звали Цветана, вполне соответствовала дому по имени. Но этим и кончалось соответствие: ещё недавно здесь оплакивали мужчин, убитых турками.

Цветана, женщина лет пятидесяти, выжила, прячась в деревне у родных. С нею выжила и племянница по имени Албена, девушка лет двадцати, которую Цветана прятала не только от турецких глаз. Албена была в полном расцвете молодости и красоты.

Конечно же молодые люди сразу же обратили внимание на Албену. Но она появлялась, лишь когда что-то требовалось постояльцам, и сразу же исчезала, выполнив их просьбы. Никто

из них не догадывался, что вечерами, когда в гостиной воины собирались за столом и беседовали, Албена прислушивалась к их разговорам. Она оставалась на кухне, где через слуховое окно хорошо слышалось, о чём говорили и спорили русский писатель (таким для Албены казался Тепляков) и студент Стоян из Парижа. Чаще всего именно эти двое затевали серьёзные разговоры, а ополченцы Петко и Христо поддерживали разговор репликами и лишь иногда вступали в спор, когда Стоян слишком горячился, а Иван недовольно замолкал.

Албена устала от одиночества и заточения, от постоянного ожидания какого-нибудь происшествия, которые подстерегали её постоянно, где бы она ни пряталась — в деревне у тётки или в городе, куда по необходимости приезжала. Несчастье могло случиться всякий раз, когда турки заходили за провизией, грабили всё, что попадало под руки, а при сопротивлении тут же учиняли расправы. Особенно ужасным стало положение после восстания и начала войны.

И потому чуткое сердце девушки радостно слышало то, о чём она думала не один раз. Но некому было высказать, как именно она понимала всё, что происходит вокруг — и не только у неё в стране. Прочла она все книги, которые имел отец, учитель местной школы. Прочла и запрещённые книги, которые тайно приносили отцу, и которые он давал читать только верным людям. Но кто-то его предал. Отца публично повесили на площади в назидание всем старезагорцам.

Албена хорошо различала голоса Стояна и Ивана, принимая чаще сторону Стояна, нежели русского. Она понимала смысл сказанного в общих чертах, хотя, когда возникали затруднения с переводом, Иванко пытался помочь. Мальчишка сидел в сторонке от взрослых, но так же чутко, как Албена, слушал разговоры старших. И если она спрашивала, пояснял ей, о чём говорили русский и болгары.

— Вот ты вчера толковал о всемирном братстве, — говорил Иван, когда за ужином, попивая горячий чай, они, как уже повелось у них, не торопились уходить из-за стола. — Завтра нам выступать — и в бой, и всё, и конец всемирному братству. Убьют ли тебя, убьют ли меня — это никому не известно. Скажи, ты действительно веришь, что турки, например, смогут обняться с нами, а не отрезать нам головы?

— Нет, не верю, — ответил Стоян.

— Потому что они не примут Христа? Не откажутся от Аллаха и Магомета?

— А ты уверен, что и мы не станем верить во что-то другое?

У Стояна короткая, аккуратная бородка, тонкие усы, густые чёрные волосы. Мундир ополченца сидит ладно на его крепком теле. Сейчас китель расстёгнут, видна его мускулистая грудь. Пальцы толстые, совсем не аристократические, как причёска, усы и бородка, они выдают его крестьянское происхождение. Стояна как способного ученика отправил учиться в Париж его богатый родственник из Софии.

Ивану нравилось говорить со Стояном: это был первый болгарин, с которым удалась поговорить на серьёзные темы.

В том числе и на такие общие, как европейство и остальной мир. Как понял Иван, этот вопрос Стоян уже решил для себя.

— Свобода, равенство и братство? — не столько спросил, сколько утвердительно сказал Иван.

— Совершенно верно.

— Я тоже верил в это, когда учился в университете. За это меня и выгнали. Но потом, когда узнал, чем революция во Франции кончилась... когда стал размышлять об этом... пришёл совсем к другим выводам.

— Каким же?

— Позволь тебя спросить, ты убивал со спокойной душой?

— Не понимаю. Мы же воюем. Какая же здесь спокойная душа?

— Да, воюем. А всё-таки? Душа у тебя на месте?

— А где же ей ещё быть? Она здесь, — он показал на свою грудь. — И буду убивать врага, сколько хватит у меня сил.

— Да я не о том, — Иван досадливо поморщился. — Я вот думаю, что если мы их только силою принудим уйти с чужой земли, они опять будут думать, как вас снова завоевать. Будут мстить, считая, что мы несправедливо поступили, выгоняя их с земли, которую они уже привыкли считать своей. Понимаешь?

— Нет. К чему ты клонишь?

Ответа Ивана ждала и Албена. Ей казалось, что русский говорит слишком туманно и непонятно о чём. Если идёт война, врага надо гнать в шею. Убивать, пока они сопротивляются. О чём же тут спорить?

— Сейчас... Попробую объяснить, о чём я думал с тех пор, как сюда приехал. Я думал о маме. Понимаешь, один помещик отца разорил. Практически убил. Отец совсем недолго прожил, когда мы своё имение потеряли. Спаслись тем, что нам помогли купить землю в Самарской губернии, на Волге. Но, понимаешь, мама моя никогда плохо о враге отца не говорила! Однажды я с ужасом услышал, как она молилась за него! Но-чью, понимаешь?

Иван замолчал и сидел, опустив голову.

Потом в упор посмотрел на Стояна.

— А я хотел поехать к этому человеку и расстрелять его. Мать нашла у меня в комнате пистолет и всё поняла. И знаешь, что мне сказала? Вернее даже не сказала, а положила на тумбочку в моей комнате Евангелие с закладкой на том месте, где Христос говорит о прощении. Я тебе напому это место: «Тогда приступил к нему Пётр и рече: Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз».

Все молча смотрели на Ивана.

— Ты как раз и подчеркнул слабость христианства. Вот почему оно сегодня не современно, — сказал наконец Стоян. — Прощать врагов невозможно.

— Нет, ты не понял. Ведь дальше Спаситель рассказывает притчу об одном царе, к которому привели должника, и он упросил царя простить ему долг. А должник сей пошёл к товарищу своему, который должен ему. И не простил ему, а заточил в темницу. Узнав об этом, царь сказал: «Злой раб, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». А притчу Христос заканчивает словами: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

— Ничего не понимаю! — возразил Стоян. — Путаница какая-то. Объясни своими словами, что ты хочешь сказать.

— Я всего лишь хотел сказать, что война не кончится никогда, если мы не услышим и не поймём Христа.

Стоян задумался, не зная, что ответить.

Потом сказал:

— Но ведь сначала нам надо победить! Согласен?

— Как не согласиться! Вот мы победим, а победим мы обязательно, и тогда ненависть должна уйти. Я тебя про душу после убийства потому спросил, что сам не могу забыть, как турка штыком в живот саданул, и как он рот разинул в ужасе. Не знаю, забуду ли это.

— Забудешь, — сказал Петко, воин лет сорока, внимательно слушавший молодых. — Воевать надо с твёрдым сердцем. Как камень. Как наши горы.

Согласился с этим и Христо, поведив головой из стороны в сторону.

— Иван, а что же мамка твоя? Как сюда отпустила? — спросил он.

— Благословила Евангелием.

— Вот видишь! — оживился Стоян. — Она простила врага своего, а врага Господа не простила! Раз отпустила тебя воевать.

— Да какой я воин. Я всего лишь газетчик.

— Э, не, раз штыком бил, значит — воин! — сказал Петко.

— А из ружья стрелял? — спросил Христо.

— Стрелял, — Иван вспомнил, как выстрелил в турка, спасая Галушко. — Да, на войне надо убивать. Но всё равно страшно.

Помолчали, а потом первым встал Стоян:

— Пора почивать. Давай, Иван, обнимемся на прощанье. Как знать, может, больше не увидимся.

— Увидимся непременно, — сказал Иван, обнимая Стояна. — Не на этом, так на том свете.

«Да что же они так! — думала Албена, чуть не плача. — Будто завтра их всех убьют!»

А у самой сердце замирало от предчувствия беды.

Ей хотелось что-то непременно сделать. Что-то такое, что бы этот русский запомнил. Но она не знала что.

Дверь кухни скрипнула, и Албена испуганно встрепенулась. Сделала вид, что прибирает посуду. Оглянулась на дверь.

В кухню вошёл Иванко.

Албена облегчённо вздохнула:

— Ты чего не спишь?

— Пить хочу.

Албена налила воду в кружку.

И вдруг её осенило. Надо что-то подарить русскому Ивану. Пусть Иванко передаст... Но что?

— Иван, ступай за мной.

— Зачем?

— Надо.

Она быстро вышла из кухни, поднялась по лестнице на второй этаж, где была её девичья комната. Достала из-под кровати сундук, стала перебирать вещи.

Выбрала рушник, вышитый ещё бабушкой. Рушник она подарила, когда Албена справляла своё совершеннолетие. Бабушка пожелала ей выйти замуж по любви.

Но сейчас Албена не помнила об этом.

— Иван, передай это русскому. На память от нас.

Она уложила рушник в холщёвый мешочек и передала его Иванко.

— Иди.

Иванко не застал Теплякова в доме. Нашёл его во дворе, сидящим на скамейке у стены дома.

— Подышу немного, — словно оправдываясь, сказал Иван. — Уж очень ночи у вас хорошие. Вот и у тебя в Казанлыке звёздами любовался. Садись, посидим немного перед сном.

Иванко вручил Теплякову мешочек.

— Это от Албены. Просила передать.

Иван принял подарок. Достал рушник и осторожно развернул его.

— Красиво. Спасибо тебе.

— Это ей говорите спасибо.

Окно светелки Албены открыто, оно как раз находилось над скамейкой, где сидели Иван с мальчишкой.

— А мне и подарить ей нечего. Если только часы.

— Выдумали! Зачем ей часы? А вам они необходимы.

— Но ведь что-то же надо подарить! — горячо ответил Иван. — Чтобы и она меня вспоминала.

— Она вас не забудет.

— Это почему?

— Потому что вы такой... беленький.

Иван засмеялся.

— Какой же я беленький? Просто волосы у меня, как у многих русских, — светлые. А у вас — чёрные. Вот у Албены они очень красивые. Наверное, когда косы расплетёт, они ей по пояс будут.

— Да уж не меньше. А понравилась она вам?
— Как же такая красавица может не понравиться. Вот и Стоян ей любовался.
— Стоян! Парижанин! А у вас невеста есть?
Иван вздохнул.
— Нет, Иванко. Любил я одну женщину, да не моего полёта птица оказалась. Слишком высоко летела.
— Такая богатая?
— Угадал. И вышла за богатого.
— А вас бросила?
— Да как тебе сказать... Я даже не знаю, любила ли она меня.
— Как так?
— А вот так.
— А вы целовались?
— Ишь, какие вопросы. Рано тебе об этом думать.
Албена слушала, и сердце её замирало.
— Мне двенадцать лет. Скоро буду женихом — в четырнадцать. А в шестнадцать можно жениться, если работать умеешь.
— Я бы Албену выбрал, — серьёзно сказал Иванко после паузы. — А вы?
— Мало ли, что я пожелаю. Надо, чтобы девушка тебя полюбила.
— Полюбит. Лишь бы вы захотели.
— Да ты прямо сватаешь! — Иван рассмеялся. — Таковую дивчину, как Албена, надо чем-то особенным удивить, чтобы она тебя заметила. Эх, Иванко, это всё мечты. Идём-ка в дом, пора на боковую...

«И ничем меня не надо удивлять, — подумала Албена. — И дарить ничего не надо. Разве от этого зависит любовь?»

Она легла в кровать и ещё некоторое время смотрела на звёзды, хорошо видные в раскрытые створки окна.

Глава девятнадцатая. Знамя — развернуть!

Стара Загора, 31 июля и 1 августа 1877 года

Албена закрыла глаза, но сон не приходил. Она повернулась на другой бок и снова посмотрела на звёздное небо. Ей показалось, что снизу небо как будто подсветилось розовым цветом.

«Уже рассвет? Не может быть, я же не успела заснуть», — подумала она и внимательнее посмотрела в створки раскрытого окна.

Сполохи розово-красного цвета увиделись отчётливее. Она откинула одеяло, быстро подошла к окну.

Небо на горизонте полыхало.

«Пожар?» — не успела подумать она, как увидела бегущих по улице людей с окраинной стороны города.

— Что случилось? — крикнула она бегущим.

Человек в малахае, сдвинутом на затылок, в расстёгнутой меховушке, запыхавшийся, потный, громко крикнул:

— Турки!

От крика проснулись Христо и Петко, потом и остальные.

Христо выбежал на улицу.

— Сёла жгут! — торопливо кричал мужчина, вытирая пот с лица. — Наше! Соседей!

На улице ещё показались бегущие селяне — женщины, дети.

Христо побежал к дому, где расположился штаб отряда.

Там уже все были на ногах: казачий сторожевой разъезд собщи́л о приближении турецкой армии.

Скоро весь оставшийся в городе отряд был поднят по тревоге и поставлен на заранее определённые позиции. Турок ждали, но всё же не думали, что они придут так быстро. А главное, не предполагали, что к Стара-Загоре командующий турецкими войсками Сулейман-паша придёт с такими большими силами. Как посчитали наши пластуны и казаки из сторожевых отрядов, к городу пришла армия примерно в тридцать тысяч воинов. На самом деле, как выяснилось позже, турецкая армия насчитывала тридцать пять тысяч человек.

После поражения Сулейман-паша вызвал из Черногории отборные войска, закалённые в боях и хорошо вооружённые. Вызвал он и подкрепление из южной части Болгарии, намереваясь нанести болгарам и русским сокрушительный удар, узнав, что в Стара-Загоре осталась лишь часть Передового отряда генерала Гурко.

Николай Васильевич Столетов, оставшийся руководить отрядом, отдал приказ занять оборону города.

Дороги, выходящие из города, послужили местами расположения тех сил, которыми располагал Столетов.

В центр он поставил Знаменную дружину Петра Калитина с ещё одной дружиной болгарских ополченцев. Позади них, на ровной площадке, встала артиллерия.

На левом фланге находилась высота у села Айданлии. Её заняли гусарский Киевский и драгунский Астраханский полки. За ними расположился ещё один драгунский полк — Казанский.

На правом фланге, с южной стороны города, заняла позицию пятая дружина ополченцев. Правее этой дружины расположились донские казаки полковника Краснова.

На дороге, ведущей к городку Чирпан, за небольшим рвом позицию заняли вторая дружина ополченцев с двумя орудиями и дивизион драгунского Казанского полка.

Всего у наших оказалось пять дружин ополченцев, один гусарский и два драгунских полка, отряд казаков. Артиллерия состояла из конной батареи и двух взводов горных батарей.

Одному защитнику Болгарии предстояло сражаться против шестерых поработителей.

Но Столетов надеялся не только на свои силы. Он послал казаков сообщить об обстановке генералу Гурко: по сведениям разведчиков, Иосиф Владимирович уже успел одержать победы в соседних городах Ново-Загоре и Джунарлии. И должен прислать подкрепление.

Фронт нашей обороны занял примерно четыре километра.

Небо продолжало пламенеть: видно, турки подожгли и другие сёла. В сполохах огня наступал рассвет. Тепляков посмотрел на часы — они показывали четыре часа тридцать минут. Он стоял в строю Знаменного батальона: ему казалось, что иного места, кроме как здесь, для него нет.

— Иван Иванович, вы же видите, что происходит, — обратился к нему Калитин. — Вам же надо будет обо всём рассказать.

— Расскажу, если Господь так распорядится.

— Ну, воля ваша, — и Павел Петрович поскакал вдоль цепи. — Братцы! — крикнул он. — С нами Россия, с нами Болгария! С нами Бог! Не посрамаим землю славянскую! Землю святую! Знамя — развернуть!

Антон Марчин могучими руками поднял над собой Самарское знамя. Барабанщики Иван и Семён ударили в барабаны. Горнист Ростислав, юноша лет восемнадцати, завёл над головой трубу и протрубил сигнал к атаке.

Бойцы вскинули ружья, приготовив их к стрельбе.

Пушкари выкатили пушки на исходную позицию.

Турки шли в наступление по всему фронту.

Тепляков видел серо-синюю массу, которая двигалась по прямой, не нарушая линии. На головах у турок были красные фески, и они хорошо были видны даже издалека.

Наши стояли на взгорке, турки шли полем, поросшим травой и цветами.

Вот они ближе, ближе...

— Огонь! — скомандовал Калитин.

Вспышки огня вылетели из жерл пушек. Раскат залпов разнёсся по зелёной долине. Первый ряд турок поломался, но тут же снова выпрямился: места упавших заняли солдаты из рядов, шедших следом.

— Огонь!

Открыли огонь и турки: пушки заработали по правому и левому флангам.

В центре турки стали палить из ружей. Они у них были английские, дальность стрельбы превосходила наши ружья системы Бердан — те самые берданки, которые потом стали в России так широко известны.

Но и наши не остались в долгу — открыли ответный огонь.

Без передыха работали батареи.

С командного пункта генерал Столетов видел, что Сулейман-паша основной удар направил на правый фланг, самый незащищённый. Здесь, на открытой местности, стояли казаки, ожидая, когда будет дан сигнал к атаке. Уязвимые для залпов артиллерии, казаки двигались по полю, чтобы их труднее было выцелить.

Николай Григорьевич понял замысел Сулеймана-паши — обхватить защитников города с фланга, зажав его в клещи.

— Наступать! — отдал генерал приказ через ординарца полковнику Краснову, и дончаки, выхватив сабли, лавиной понеслись на своих скакунах на врага.

Турецкая конница тоже выдвинулась вперёд и поскакала навстречу казакам.

Но — поздно!

Казаки скакали быстрее, и вихрь их атаки оказался для турок смертельным.

Сулейман-паша отдал приказ усилить артиллерийскую стрельбу на правом фланге, и дончаки вынуждены были задержать наступление.

Мощное подкрепление направилось на центр обороны.

Однако и эта атака была отбита.

Наши ряды редели, но никто не отходил назад.

Падали, умирали, но их место занимали живые.

И продолжали держать оборону.

Иванко держался позади Знаменной дружины, стараясь не терять из вида Теплякова. За позицией ополченцев росли виноградники, и скоро в них стали прибывать старезагорцы — все, кто мог сражаться, оказались здесь. Кто с ружьями, кто с кирками, кто вовсе без оружия, надеясь подобрать его на поле боя.

Поднял чьё-то ружьё и Иванко. Стал искать патроны, ползая среди убитых и раненых.

И вдруг увидел Албену. Согнувшись, она пробиралась меж виноградных кустов, туда, где кипел бой.

Иванко захотел крикнуть, чтобы Албена остановилась. Но она, увидев мальчишку, поманила его к себе:

— Поможем раненых вытащить отсюда. За мной!

Иванко пополз за Албеной. Она несла с собой кувшин с водой, ещё что-то, завёрнутое в толстый платок.

Добрались до артиллеристов. Дали им воды. Несколько из них лежало на земле — убитые и раненые.

Раненым Албена, развернув платок, сделала перевязки.

— Сестрица, — сказал артиллерист, смертельно раненный в живот, — спаси тебя Господь...

Он попытался улыбнуться.

— Не разговаривай, — сказала Албена. — Тебе нельзя. Лежи тут, мы вернёмся.

И поползла вперёд, туда, где реяло над бойцами Знамя. Именно там видела она русую голову Теплякова, который в бою потерял мичманскую фуражку, взятую при форсировании Дуная у погибшего мичмана Нелюбина.

Турки давили числом.

Им удалось вклиниться в знаменную дружину, прорваться справа. Они намеревались захватить Знамя, зайдя знаменосцам с тыла. Турки видели, что Знамя зовёт, Знамя реет, как знак непобедимости и негибаемости ополченцев.

С расстояния в несколько шагов турок выстрелил Антону Марчину в грудь.

Антон откинулся назад, но не упал.

Ещё один выстрел оборвал его жизнь.

Древко Знамени подхватил «парижанин» Стоян Санищев и поднял Знамя над собой.

— Юнаки, вперёд! Не отдадим Знамени!

Штык турка вонзился ему в грудь.

Стоян, падая, успел отдать Знамя унтер-офицеру Цимбалу. Горстка ополченцев, оцетинившись штыками, была нападших.

И Цимбалу, не испугавшегося нескольких штыков, направленных на него, сразила только пуля, попавшая прямо в сердце.

Знамя подхватил Христо Минков, защищённый ополченцами, которые начали медленно отступать.

Павел Калитин, видя, с какой яростью турки хотят отобрать Знамя, направил коня в самую гущу схватки.

— Братцы, дайте Знамя мне!

Христо, проколотый штыками, успел передать Знамя полковнику.

— Умрём, но не сдадимся! — Калитин поднял Знамя над собой.

Пуля пробила древко Знамени.

Вторая пуля ударила в голову Калитина, окровавив её. Он стал валиться из седла на землю.

Знамя с куском древка подхватил Фома Тимофеев, унтер-офицер. Его защищали, отходя к виноградникам, ополченцы Попов, Донеv, Дадаев — все молодые, все в эти минуты опалённые отвагой, перед которой отступили враги и сама смерть.

В этой круговерти Тепляков тоже был ранен ударом сабли. Он ощутил тёплую кровь на лице, а боли не почувствовал. Удар пришёлся по голове и лицу вскользь.

Склонившись над убитым Калитиным, Иван вместе с другими ополченцами старался вытащить Павла Петровича из гущи боя.

Это им удалось лишь на несколько метров: турки наседали, и бойцам пришлось защищаться, сражаясь.

— Заберём после! — крикнул кто-то. Тепляков не мог разобрать кто, потому что кровь застилала глаза.

Он вытер лицо подолом мундира и в это время увидел турка, целящегося в него штыком. Иван попытался увернуться, и это ему удалось лишь наполовину: штык всё-таки вонзился ему в бок.

В это время кто-то выстрелил в турка, и тот откинулся назад, по инерции выдернув штык из тела Ивана.

Кто-то подхватил Теплякова на руки и потащил за собой.

— Иванко, — прошептал Иван, разглядев мальчишку.

К ним спешила на помощь Албена. Она успела подхватить Ивана на руки, когда тот уже потерял сознание.

Дружина, отступая, миновала виноградники, вошла в город. Здесь улицы перегородили баррикадами из телег, домашней утвари, всего, что могло защитить ополченцев.

Весь город, от мала до велика, встал на защиту.

Бой за город продолжался весь следующий день.

Потеряв большую часть отряда, остатки его, вместе с горожанами, которые сражались плечом к плечу с дружиной, вышли из города по дороге к Казанлыку, неся с собой Знамя.

Прострелянное, опалённое смертным боем, непобедимое, как непобедима сама жажда свободы, братства, любви к Отечеству земному и небесному, Знамя осталось жить и вести за собой освободителей — к Победе.

Глава двадцатая. Дорога на Шипку

Август 1877 года

Отступающий от Стара-Загоры отряд двигался на север, по дороге через Казанлык и гору Стара-Планина. Но если сюда Иван Тепляков шёл бодрым и очарованным красотой гор и Долиной роз, то сейчас, не приходя в сознание, он лежал в одной из повозок, которые везли раненых.

Подкрепление, которое ополченцы ждали, сражаясь у Стара-Загоры, не пришло потому, что большая часть отряда генерала Гурко вела жаркий бой у села Рылбоки, всего в двенадцати километрах от Стара-Загоры. Здесь встретили часть войск турецкой армии под командованием Реуф-паши.

Этот генерал не привёл свои таборы¹ на соединение с Сулейман-пашой, потому что не любил его и считал, что он должен возглавлять поход против русских и болгар, а не Сулейман-паша.

Таборы Реуф-паши были наголову разгромлены, а сам Реуф-паша спасся бегством.

Сулейман-паша, узнав об этом, не пошёл вдогонку за остатками отряда старезагорцев, боясь, что тоже будет разгромлен

¹ Таборы — отряды турецкой армии.

храбрецами-ополченцами, к которым, вероятнее всего, придёт подкрепление.

И, главное, он всё ещё не мог забыть, как сражались русские и болгары.

И потому отряд, уже не вступая в бой, двигался к своим.

Албена осталась в отряде ухаживать за ранеными ополченцами. С ней была тётка Цветана и Иванко.

В Казанлыке мальчишка лишь забежал в свой дом, чтобы взять кое-что из утвари и белья, о чём попросила Албена. Перевязочного материала не было совсем, и Иванко принёс простыни, полотенца — всё, что смог донести. Закрыл дом и снова покинул его, не зная, вернётся ли в него когда-нибудь.

Рана Теплякова от сабельного удара по голове оказалась сравнительно лёгкой, череп не раздробившей, а вот штыковой удар получился глубоким. Чтобы узнать, что повреждено внутри тела Ивана, требовалось освидетельствование доктора.

Но его в отряде не было, и все заботы о раненых легли на Албену. Она промывали раны и делала перевязки. Ещё смазывала раны маслами, взятыми дома: так лечили исстари предки Милены и Васи́ла, её покойных родителей.

Иван, пока не спало воспаление, бредил, и Албена невольно слышала его бормотанье и громкие выкрики. Она мало что понимала из его бреда, но кое-что всё же стало ясно. Особенно когда он говорил с какой-то Анной, видимо, невестой.

Он облизывал губы, метался на соломенном матрасе, который сделала Албена. Она вытирала ему пот, удерживала, чтобы он не упал с подводы. Подводу укрыли навесом из парусины. Один солдат выгнул дугой прутья и закрепил их на обеих сторонах подводы, так что получился довольно удобный крытый шарабан.

«Анна, я хотел проститься совсем иначе, — бредил Иван. — Я боялся выглядеть смешным! Боялся! Ещё бы! Ты такая... Кстати, я запутался в твоей родословной. Чтобы разобраться, откуда у тебя такие черты... не только внешние, но и характера...»

Иван действительно занимался родословной Анны. Выяснил, что Егор Никитич Аннаев приходится Анне каким-то дядей. Написал о себе: «Дедушка — немец, русский подданный Христофор Фабрициус. Женат был на польке. Дочь Мария. Выдана замуж за армяно-католика Никиту Ивановича».

Сколько разных кровей!

А на сестре Никиты Иваныча женился почтенный Иван Иванович Макке, купец из Симбирска. Кто такой? Итальянец! Вот так Иван Иванович!

«...А от детей синьора Макке и твои родственнички пошли, — бормотал Иван. — Макке... твоего дядю приказчиком в Самаре сделал...»

Так оно и было. Но откуда Албене было разобраться в таких родовых хитросплетениях?

Когда Егор Никитыч приехал в Самару, в магазине случился пожар. Всё сгорело. Но молодой приказчик лезет в подвал и находит там сундучок с кругленькой суммой. И этот сундучок привозит в целости и сохранности дяде.

«Вот и карьера! Ха-ха! И наш Егор... сразу стал управляющим... Своё дело завёл...»

Иван замолкал, стонал, а потом снова начинал бредить.

«Ах, простите, Анна Викторовна. Я вас Анной... называю. Но ведь вы сами говорили, что мы друзья. Анна! Торжественно и властно звучит! Донна... нет, синьора Анна! Или синьорина? Итальянская кровь... Оттого глаза ваши черны и немного раскосы.... А может, тут примешалась татарская кровь? Вполне возможно! Симбирск ведь не на пустом месте возник!

...И ещё ваша расчётливость, Анна Викторовна. О! Как тут без немцев! Недаром же ваш дядя, пусть он двоюродный, или какой там ещё, кирку построил! И ресторацию, где мы с вами кофий пили... Простите, в кофейне... Чашечки такие маленькие, в ваших пальчиках они... фарфоровые, я всё боялся их разбить...»

Он затих. Албена вглядывалась в его лицо, бледное, с розовыми пятнами на щеках. Нос прямой. Волосы русые, почти жёлтые... Какие непривычные! Хорошо бы их расчесать. Но голова замотана белой тряпицей. Из-под неё уже не сочится кровь, слава Богу. Он поправится, поправится! Но кто же эта Анна? Как она измучила его!

Но что это? Кажется, он произнёс её имя?

«Ах, Анна Викторовна! Глаза-то не только у вас хороши. Вот здесь встретил девушку. Албена... Интересно, что это имя значит... У неё глаза не уступят вашим. Да, глаза... без вашего лукавства... и надменности. Глаза! Зеркало души... Гюго, кажется, сказал... Или Толстой? А цветы тут какие... Запах от них... Представляете, долина роз! Запах... Да, ещё я видел поле фиолето-

вых цветов. Нежных... Лаванда, так цветы называются. Неужели я снова буду писать... стихи...»

Подвода покачивалась, лошадь тащила её вверх по склону горы. Ездовой шёл рядом и не понукал кобылу, видя, что она трудится изо всех сил.

Отряд растянулся змейкой, поднимаясь всё выше, туда, где высились сосны, а за ними начинался низкорослый кустарник. Потом и вовсе растительность исчезала, и начинался снеговой покров.

Албена сидела на подводе в ногах у Ивана и думала о нём. Он так хорошо говорил о прощении грехов. Все слушали его. И в бою сражался, не щадя себя. Хотя мог бы и не сражаться. Ведь он писатель. Он выздоровеет и уедет к своей Анне. А если эта Анна не дожждётся его, выйдет за другого? То поступит как дура. Где ещё найдёт такого? А вот он найдёт! Русскую девушку... Дай Бог ему счастья!»

Около подводы шагал в гору и Иванко.

Он тоже думал об Иване. И даже мысли не мог допустить, что Иван не выздоровеет. Что будет потом, Иванко не знал, да и не хотел знать. Его теперь занимал ещё один человек, шагавший впереди. За спиной у него висел на широкой ленте барабан. Звали барабанщика тоже Иваном. Второго, Семёна, убили в бою. Иванко теперь хотел занять место убитого, стать барабанщиком. Ведь даже имена у них одинаковые! Но получится ли у него?

Сегодня, на второй день пути, надо подойти к Ивану и рассказать о своём намерении. Тогда уже никто не будет смотреть на него как на постороннего человека. Он станет бойцом, вот что. А то как же остаться в отряде? Хорошо, Албена пристроила его в помощники. Но ведь в любой момент могут сказать: всё, иди. Тут война, мальчишкам не место. А куда ему идти?

Некуда.

Ещё Иванко думал о русском офицере Калитине. Как он сражался! Хотел быть таким же, как тот русский генерал, о котором рассказывал. Вот бы попасть к этому генералу! Хотя бы увидеть его. Он на самом деле такой храбрец? Пули его не берут, ядра мимо летят. Они все храбрецы. Но этих, которые знамя спасли, всех убили. Может, и этот генерал на белом коне тоже убит?

За перевалом, к вечеру, на просторной поляне, тут и там покрытой кустарником, сделали привал.

Иванко решился и подошёл к барабанщику.

— А, это ты, — сказал барабанщик. — Садись, чай пить будем.

Иванко присел на коряжку, лежащую рядом с костерком, около которого расположилось несколько солдат, неторопливо попивающих из походных кружек горячий чай. В котелке булькала вода. Он висел над огнём костерка, на поперечине, укрепленной на воткнутых в землю рогатинах.

— Меня Иваном звать, — барабанщик зачерпнул из котелка воды, добавил туда щепоточку заварки и протянул кружку Иванко. — Пей. Будешь? — и вынув из заплечного мешка сухарик, протянул его мальчишке.

— У вас здесь все, что ли, Иваны? — спросил Иванко.

— А разве плохо, — солдат, которого звали вовсе не Иван, а Егор, протянул мальчишке ещё один сухарик. — Иван, знаешь, что значит?

— Знаю. Меня самого так зовут.

— Ну, а я всё-таки скажу. Иоанн — значит «благодать Божья». Оттого имя это так на Руси полюбилось. И у вас, видать, тоже. Меня вот звать Егорием. А это значит Егорий Победоносец, святой, почитаемый у нас, православных воинов, особенно. Про такого тоже знаешь?

Иванко кивнул: в церковь его с малых лет водила мать, а дома любила читать Жития Святых на сон грядущий своему любимому сынку.

У солдата, назвавшегося Егорием, было немолодое усатое лицо, с морщинками у краёв глаз, голубых, много чего повидавших. Воевать ему пришлось в Севастополе, а теперь вот здесь, в Болгарии.

— А чтоб мы не путались, — продолжал Егорий, — кличут нас пофамильно. Вот барабанщик Иван есть Солоничка, так как фамилия его Солоницын. Мы его так называем для удобства и из понимания его годков, которые есть молодые. Тебе ведь не больше восемнадцати, а, Солоничка?

— Не, двадцать сравнялось, — ответил барабанщик.

Он был черноглаз, с бровями вразлёт, чубом густых чёрных волос. Усов не носил, гладкая кожа на лице ещё не знала бритвы. Потому и выглядел юным.

— О, так ты женат? — спросил Егор.

— Не. Как вернусь, так и поженихаюсь.

— Невесту на кого ж оставил?

— А чего её караулить. Мы с ней из детства. У нас в Зотово живём. Уезд Тоншаевский, губерния Костромская. Там и речка Солоница течёт.

— Хорошая девка, небось. Жалела, что воевать ушёл?

— Она девка умная. Поняла, почему я в ополчение записался. Как же.

— А где ж на барабане научился?

— Я и не учился. Показали, и всё. Сразу дело пошло.

— Во как. Видать, врождённое у тебя понимание. Слух называется.

— Вроде. Я и на жалейке сразу играть стал. Послушаю, как другие играют, и сам начинаю. И песню сразу пою, только тон мне дай.

— О-о-о. Это славно.

— А мне, — с придыханием сказал Иван, — а мне можно? Я хочу. Очень.

— Чего ж. Покажи ему, Солоничка. Мовет, и у него получится.

Иван отставил кружку с кипятком, поставил барабан себе на колени. Взял барабанные палочки и отбил несколько тактов из походного марша. Протянул палочки Иванко:

— Повтори.

Иванко повторил, но с ошибками.

— Не, слухай внимательно. Вот так.

Иванко повторил, уже без ошибок.

— А теперь вот так, — и Солоничка отбил дробь.

Иванко повторил раз, другой. Путался, но не особенно.

— Так. Если командир разрешит, буду тебя учить. Сеньку-то нашего убили.

— Разрешит, — Егор, улыбаясь, смотрел на мальчишку.

Потом посерьёзнул:

— Но учти. Барабанщики идут рядом со Знаменем. Впереди. Пуль не боятся. А бой начинается — они всё равно играют вместе с трубачами. Барабанщику смелость нужна. Есть она у тебя?

Иванко понял, о чём говорил усатый Егорий.

И твёрдо сказал:

— Есть.

И приложил два пальца к своей фуражке — как это делают русские офицеры.

Глава двадцать первая. Нарисовать Болгарию

Август 1877 года

Глухой голос доносился до сознания Ивана Теплякова. Временами голос звучал отчётливо, и тогда Иван различал отдельные слова. Открыл глаза и увидел медный крест, который лежал на чёрной рясе.

«А, священник, — догадался Иван. — Читает. Что? «Всякого недуга, — разобрал он. — ...всякой язи души и телес...» А, «всякой болезни», — понял он и приподнялся, чтобы увидеть лицо священника.

Чья-то тёплая рука поддержала его голову, и он увидел книгу, которую держали крепкие пальцы, чёрно-белую густую бороду, потом лицо священника, сосредоточенное на чтении молитвенных слов:

«...недуг исцеляющего и от смерти избавляющего, исцели и раба Твоего Ивана от охватившие его телесные и душевные немощи и оживотвори его...»

«От смерти? — он постарался ещё побыть в том положении, которое давало ему возможность разглядеть, где же он находится, и что же происходит около него и с ним. Он увидел столик, на котором стояла миска с зерном. По краям миски горело несколько тонких восковых свечек. Около столика стояло несколько человек с такими же зажжёнными свечами. Иван узнал усатого унтера Фому Тимофеева, который не дал упасть знамени и, подхватив его, вынес из коловерти сражения. Рядом стояли Иванко, солдат с лицом, круглым, как сковорода.

Кто же это? Очень знакомое лицо, нос как молоденькая картошечка... Господи, как он здесь?

— Галушко, — тихо, но отчётливо сказал Иван. Солдат радостно улыбнулся, потом выставил вперёд ладонь, тихо, мол: батюшка читает молитвы.

Священник в это время обмакнул кисточку в пузырьёк с елем, крестообразно помазал лоб, щёки, ноздри Ивана с обеих сторон. Иван увидел голубые глаза батюшки. Неожиданно его губы раздвинулись, и он улыбнулся. Глаза сразу же подобрели, как будто попали в полосу света. Он глубоко вздохнул и снова погрузился в молитву:

— Отче Святой, врачу душ и телес, пославый единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа...

«Что же это? — подумал Иван. — Постой, меня помазуют? А когда отец умирал, так же ставили свечки в пшено. Как же это называется... Постой, сейчас вспомню... А кто же мне елей по лбу растирает?.. Какая лёгкая и мягкая рука... Рубашку на груди раскрыла... И тут надо помазать...»

Он скосил глаза, чтобы различить, кто же помогает батюшке.

— Албена, — сказал он, увидев девичье лицо с блестящими чёрными глазами и чистым покатым лбом. — Албена.

Она кивнула.

Иван понял, что находится в палатке, приспособленной для раненых. Вот только никак не мог вспомнить, как называется обряд, когда над больным читаются молитвы и одна за другой гасят свечи после помазания. Кажется, семь евангелий... Но почему семь? И из Апостола тоже читается... Неужели мне так плохо? Выходит, всё?

— Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьёт с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные.

«А, вспомнил. Это соборование. Приготовление к жизни той, другой. Выходит, действительно — всё».

Священник положил на его голову раскрытое Евангелие.

«Нет, не надо! — хотел крикнуть Иван. — Не хочу умирать. Зачем это?»

— Господи Иисусе Христе, — продолжал молиться священник, — не мою руку грешную полагаю на головы пришедших к Тебе просить оставление грехов; но Твою руку крепкую и сильную, которая в этом Святом Евангелии, и молю Тебя с ними, Спаситель наш, Сам прими рабов Твоих кающихся и подай им прощение...

Свечи потушили. Священник снял с себя епитрахиль — длинную широкую ленту с крестами. Аккуратно сложил её, упаковал в небольшой саквояж. Туда же уложил Евангелие, требник, пузырёк с елеем, кисточку. Делал всё это обстоятельно, неторопливо. Да и сам вид его был таким же — внушающим успокоение. Хотя батюшке недавно сравнялось всего двадцать три. Но отличался он ревностным служением, и оттого его просьбу ехать на Балканы поддержал епископ.

— Видите сами, как молитва действует, — сказал батюшка. — В себе раб Божий. Выходит, рановато ему предстать пред Господом. Но помнить час смертный надобно. Особенно на войне. Так, Иван?

Тепляков хотел приподняться, чтобы сесть, но острая боль в боку заставила сразу же лечь.

— Не всё сразу, милый... Полежать придётся, прежде чем Господь тебя помилует. Да ты не кручинься. Поглянь, какие лекари у твоей постели стоят.

И он кивнул на Албену, Иванко, Галушко.

В палатку зашёл широкоплечий, крупной стати человек.

— Ну как он? — спросил у батюшки. — Впрочем, вижу. Приобщился, Иван Иванович?

— И вы здесь, — Иван слабо улыбнулся. — Как я рад.

— А я-то как рад, — сказал Верещагин. — Как прибыл на Шипку, узнал, что ты среди раненых. И попросил отца Бориса тебя соборовать. Вижу, что всё слава Богу.

«Какой там», — хотел сказать Иван, но лишь продолжал смотреть на Василия Васильевича, своего знаменитого спутника, который опять оказался рядом.

— Да ты молодцом, Иван Иванович. Раз в сознании, значит, кризис миновал. Я тебя под Плевну доставлю, там теперь военный госпиталь организован. И оперирует врач, которого и во всей Европе не сыщешь. Николай Васильевич Склифосовский, не слыхал? Вот о ком вам написать надобно! Ничего, подлечим тебя — напишешь!

Верещагин присел на табуретку, которую Галушко подвинул к художнику, взял Теплякова за руку.

— А что в сражении участвовал, так это замечательно. Будешь писать не как посторонний наблюдатель, а как боец. И по заслугам у тебя на груди будет Георгий. Так что скорей надо поправляться. А то какая же радость на больничной койке валяться, когда такие события вокруг вершатся. Исторические, Иван Иванович!

Верещагин выглядел так же, как в день их первой встречи. Всё тот же просторный пиджак с большими карманами, брюки, заправленные в сапоги, походная сумка на ремне через плечо. В руке фуражка с козырьком, почти генеральская, только без красного канта.

— Слушать можешь? Не устал? Перевязки не требуется? — и он посмотрел на Албену, которая стояла в изголовье лежанки Ивана. Видя, что девушка не возражает против разговора, Василий Васильевич, уперевшись ладонями в колени, начал вводить Теплякова в суть теперешних событий на театре военных действий:

— Мы теперь находимся на перевале, который делит Болгарию на две части. Перевал называется Шипкинским. Гора Шипка, запомнить легко. А двигаться вперёд не можем, потому что войска наши застряли под городишкой, который называется Плевен. Тут генерал Кридигер явно дал маху. Надо было с хода брать этот Плевен, а Кридигер думал, туркам всё, раз он после форсирования Дуная под Никополом их разбил. Ан нет, Осман-паша сумел перебросить большие силы и воспользовался медлительностью наших. И плёвая Плевна, прости за каламбур, превратилась в мощно укреплённую крепость. Вот и засели. Придётся обратно двигаться, так думаю. В общих чертах дело таково.

— А где... Скобелев? — спросил Иван.

— Михал Дмитрич? Да пока с Драгомировым. Его Михал Иванович пускал в бой на левый фланг, чтобы в обход взять этот Плевен. Местечко Ловча. Там, брат, такое было! Мне подробно рассказывали. И ты должен об этом бое знать. Можешь слушать?

— Да.

— Не, — вмешалась Албена. — Сначала поесть.

Курицу раздобыл все тот же Галушко. Албена сварила её, решила, что куриного бульона Иван хоть немного, да проглотит.

Так оно и произошло.

Верещагин смотрел, как девушка кормит с ложки Ивана. Лицо болгарской девушки понравилось ему сразу, и он, растегнув свою походную сумку, достал тетрадь, карандаш и стал быстро рисовать.

— Ты, Иван, не думай, что соборование перед смертью проводят. Я раньше тоже так думал. Скажи, отец Борис.

— Я же сказал, надо помнить час смертный. А собороваться надо по возможности хотя бы раз в году. А на войне — так при всяком удобном случае. Вам, Иван, думать сейчас надо о жизни, а не о смерти. Годы-то молодые. Организм своё возьмёт.

Он подошёл к Верещагину и заглянул в его тетрадь. Там уже возникало лицо Албены.

— От ведь как! — восхищённо сказал отец Борис и даже прищёлкнул пальцем. — Даёт же Господь таланты!

— Таланты талантами, отче, а всё-таки главный талант — наш труд.

— Конечно, — согласился священник. — С Господом надо со- работать. Иначе — как же? Не раскроешь свой талант.

— И ещё, — продолжал Верещагин, примериваясь глазом, прежде чем нанести штрих карандашом, — и ещё трудиться надо... поболее. Подожди, красавица, не шевелись... как тебя зовут?

— Албена.

— Албена. Постой минуту так... Умница. Так вот, трудиться надо там, где дело происходит. Вот почему, дорогой мой Ваня, очень верно ты поступил, что в бой пошёл. Твой тёзка, Иван Тургенев, знаешь, что сказал? «Был бы помоложе, пошёл бы на Балканы. Там теперь вся Россия!» Вот как.

Он прищурил глаз, словно прицеливался, нанося штрихи на лист походной тетрадки.

— А ты, Василь Васильич, как погляжу, словно стрелок. Выцеливаешь — и стреляешь! И всёбез промаха!

Батюшка улыбался, продолжая следить, как из небытия об- разуется на бумаге образ Албены.

— Ты поглянь-ка, красавица, какой тебя художник-то изо- бразил, — радостно сказал он.

— Погоди, ещё не закончил, — Верещагин отодвинул от себя тетрадь, потом снова посмотрел на Албену.

Она уже не кормила Ивана (он проглотил всего несколько ложек бульона), стояла, держа в руках ложку и миску, строго, но в то же время чуть смущённо глядя на Верещагина. Цветастая косынка покрывала её голову. Поверх белой кофточки надета чёрная, с цветной вышивкой, суконная жилетка; юбка ниже колен, в талию; поверх фартук, тоже с вышивкой.

— А ты бы, Василь Васильич, нарисовал бы ещё луг. С цвета- ми... А позади горы, — продолжал рассуждать батюшка, погла- живая чёрную бороду. — И получилась бы картина...

— Ты, отец Борис, оказывается, с сантиментами. Я сладень- ких картин не пишу. Это к господину Семирадскому.

— Ну-к тебя, Васильич. Чем же Семирадский тебе плох? Какие у него благочестивые темы. К примеру, Христос и самарянка... у колодца Иаковлева.

— Да я не против библейских сюжетов! Но до них ли сейчас? Вот ты у Албены спроси, почему она здесь? Что ей пришлось перенести?

— И спрошу, — сурово сказал батюшка, нахмурившись.

— Спроси.

Отец Борис чуть подался вперёд, выпрямился.

— Чадо, — сказал он. — Ты здесь потому, что хочешь помочь своей Родине от недругов освободиться. Чтоб к своей вере вернуться. Так?

Албена кивнула.

— И чтобы Болгария твоя цвела. Так?

— Так.

Отец Борис победно глянул на Верещагина.

— Ну? Почему же не изобразить её на лугу? Или среди роз, к примеру?

Верещагин закрыл тетрадь, засунул её в сумку.

— Среди роз! — с раздражением сказал он. — И ангелочков сверху пририсовать.

— А что. Неплохо и ангелочков.

— И тебя рядом на горку посадить. Как ты умиляешься.

— Не ёрничай! — сердито сказал отец Борис. — Говори по делу.

— Хорошо, — Верещагин встал. — Албена, где твой отец?

Девушка поняла суть спора.

— Повесили.

— А мать? Убили? Видела?

Албена ответила не сразу:

— Видела.

— А как видела? Можешь рассказать?

Албена опустила голову. Посмотрела на батюшку, на Верещагина.

— На чердаке пряталась. В щель глядела. Они во дворе её запытали.

— Зарезали? Они любят головы резать. На колени поставят, голову пригнут. И кривым ножом — ятаган называется — раз!

Верещагин сделал жест, будто резал.

— А вот жених? У тебя ведь был жених?

— Да.

— Как его звали?

— Павел.

— Павел. Павлуша... — Верещагин глубоко вздохнул, ближе подошёл к Албене. — Крепись, доченька. Крепись! Наша возьмёт, вот увидишь! Будет тебе счастье. Такое же высокое, как Балканы. Такое же прекрасное, как ваша Долина роз. Как ты сама. Кто-то другой это нарисует. Скорее всего, болгарин. А русский нарисует, как это счастье добывали. Я нарисую. Как резали вас. Как мы умирали на поле боя. Как не щадили себя. Потому что дрались во имя Господне. Так, отец Борис?

— Так, — согласился батюшка и крестом осенил художника.

Глава двадцать вторая. Раны

Август 1877 года

Галушко смастерил удобный лежак, и матрац набили свежей травой, но всё равно, когда на дороге встречались ухабы и повозка подпрыгивала, в боку возникала резкая боль, и Иван невольно стонал. Верещагин, шагавший рядом, косился на Ивана, покрикивал на ездового, чтобы тот лучше разбирал дорогу, и старался отвлечь Теплякова от боли разговором.

— Раз болит, значит, поправляешься, — говорил он. — Боль для нас живительна. Вот если не чувствуешь её, плохо дело. И, следовательно, терпеть надо. Глянь, какой красавец! — он направился к взгорку, где среди разнотравья рос куст тёмно-красных пышных цветов. Бутоны уже раскрылись, широкие лепестки сложились в чашу, посреди которой торчали жёлтые пестики.

Перочинным ножиком Верещагин срезал один цветок.

— Похож на наш пион, — сказал он, вернувшись к подводе и рассматривая цветок. Албена, шедшая по другую сторону подводы, улыбнулась. Верещагин заметил это.

— Видишь, цветок вроде бы нежный, но уж больно красный. Скорее даже бордовый. Как он называется у вас? — он протянул цветок девушке.

— Албена, — ответила она и опять улыбнулась. Понюхав цветок, вдела стебель в пройму для пуговицы жилетки. И будто бы там и надлежало находиться цветку.

Теперь улыбнулись и Верещагин, и Иван.

— Как это — «Албена»? — переспросил Василий Васильевич. — Я про цветок тебя спрашиваю.

— Албена, — повторила она. — Горный цветок.

— Вот это да, — обрадовался Верещагин. — Значит, ты и есть — «горный цветок»?

— Да, моё имя.

Верещагин глянул на Ивана:

— Слыхал? Вот и разгадка. Албена — горный цветок. Здорово!

— Да, — согласился Иван, но в это время повозку тряхнуло, и он вскрикнул от боли.

— Терпи, — Верещагин зоркими своими глазами посмотрел вперед. Перевал миновали, ровная цветущая долина расстилась перед ними. — Ты маленько приподнимись, чтобы видеть эту благодать. Какая чудесная страна! Живи и радуйся. Ан нет. Обязательно надо кровь пролить, себе захватить кусок этой благодати! И конца нет человеческой подлости! Я тебе обещал рассказать, что произошло там, куда мы едем. То есть под Плевной. Или Плевеном, так тоже говорят.

Верещагин шагал широко, иногда опираясь на край подводы. Следом за ним, на небольшом расстоянии, шагали Иван Солоницын и Иванко. Басовитый голос Василия Васильевича хорошо был слышен, но молодые люди слушали его в вполуха. Однако стоило Верещагину произнести имя «Скобелев», как они, как по команде, встрепнулись и стали внимательнее вслушиваться в слова художника.

— Значит, Скобелев. Белый генерал! Поясню, почему белый. Воюет тут и его отец, генерал Дмитрий Иванович. Вообще Скобелевы — потомственные военные. Дмитрий Иванович знает суворовскую науку побеждать. И сынок в отца. Однажды выполнял он задание по уточнению карт. Ещё в академии, где-то на финляндской границе. И потерял дорогу в гиблых болотистых местах. Ему казалось, что надо держаться одной стороны, но белая лошадь упорно тянула его в обратном направлении. Наконец он смирился, положился на волю Божию. И вернулся благополучно к своим! С тех пор дал зарок ездить только на белых конях.

Верещагин поглядывал на Ивана и с разговором обращался к нему, не видя, что его догнали Солоничка и Иванко. Тут же

шёл и отец Борис, другие бойцы, невольно прислушиваясь к тому, что говорил Верецагин.

— Так вот. После неудачи под Плевной стали думать: в чём дело? Потери — несколько тысяч, наступление остановлено. Государь призывает светлейшего князя Имеретинского, из дома Багратионов, которому доверяет больше других. Это мне Михал Дмитрич говорил. Светлейший определяет: во главе армии стоит румынский король Кароль. Фактически управляет войсками начальник штаба. Этот ставит на командные высоты немцев. Но и между немцами согласия нет: каждый тянет одеяло на себя. Каша! Турки вооружены лучше. Укрепиться успели прекрасно. Плотность огня из аглицких ружей такая, что и птица не пролетит, заяц не пробежит. И пушки палят убойно. Как пройти через этот ураганный огонь?

— С помощью Божией, — сказал отец Борис.

— Это верно, — согласился Верецагин, поглядев на батюшку. — На Бога надейся, а сам всё же не плошай.

— Тоже верно, — согласился отец Борис, тяжело вздохнув. Одет он был в светлый подрясник, широкополую соломенную шляпу, шагал легко, бодро, опираясь на удобную дубовую палку, заменявшую посох. Лицо его выражало не усталость, а радость того, что он видит цветущую долину, пролетающих птиц, голубое небо над головой. Казалось, он хорошо знал, что соборование, совершённое над Иваном всего лишь день назад, и есть та радостная служба, которая и даст силы Ивану. Глядя на светлое лицо отца Бориса, его ладную фигуру, на цветущую под голубым небом землю, можно было подумать, что войны никакой нет и смерти тоже, и что вечное блаженство, просимое отцом Борисом, уже наступило.

Мощный Верецагин, настроенный совсем на иной, вовсе не умиротворённый лад, являл противоположность благостному отцу Борису. Поэтому он сурово посмотрел на священника: мол, не мешай рассуждать и говорить о сухой корке жизни.

— Светлейший предлагает прорыв поручить Скобелеву. Убеждает государя, что только смелостью и отвагой Скобелева можно выправить положение. Он возьмёт Ловчу: так этот пункт называется, который восточнее Плевны. Возьмём Ловчу, путь на крепость откроем. Крепость будет в кольце — и хана паше! Понимаешь, Иван? Между прочим, проход, по которому

мы идём, как раз благодаря Скобелеву и открылся! Иначе бы нашему отряду к лагерю не пробиться.

— Как так? — спросил усатый солдат Егорий, пристроившийся к подводе, на которой лежал Иван. — Выходит, Ловчу Скобелев взял? Там что, развилка дорог?

— Именно, дорогой мой. Именно! По этой дороге я к вам и добирался. А теперь вот обратно топаю: такова, брат, судьба художника. Всюду быть, чтобы правду жизни знать и изобразить. Так вот, батюшка.

Отец Борис улыбнулся, поняв намёки Верещагина. Но несколько не обиделся и продолжил внимать Верещагину.

Внимательно слушал и Иван, устроившись на лежаке так, чтобы не прислушиваться к боли в боку. Благо, теперь дорога стала ровной, укатанной.

— Государь послушался светлейшего князя Александра Константиновича, — продолжал Василий Васильевич. — Как же, он ведь из рода тех самых Багратионов! Внук самого царя Имеретии Давида II! Храбр, как и тот Багратион, что сражался при Бородине. Государь командование вручил ему. А он — Скобелеву. Дал отряд пехоты и кавалерии. Усилил артиллерией. Если Ловчу взять, то и Плевна не устоит, поскольку Скобелев при поддержке наших разовьёт атаку и окружит врага. План по-суворовски прост: смелость, быстрота, натиск. Но и глазомер, как говорил его великий предшественник. То есть разведка. Надо определить, куда бить, где наступать и так далее. Скобелев мне говорил, что у него было более двадцати батальонов пехоты, кавалерия, казаки — в общем, приличный отряд. У турок сил примерно столько же, но редуты сильно укреплены. Ну вот, представь теперь, как наступает белый генерал. В этом вся штука — его стратегия и тактика. Нападение внезапное — там, где его враг меньше всего ждёт. Атака стремительная. Пехота идёт с развёрнутыми знамёнами под барабанный бой и музыку трубачей. А сам Скобелев — впереди конницы! Она вылетает с фланга и начинает атаковать, как только батальоны достигают первого редута и завязывают рукопашную. Тут равных нашим нет! Ни один боец не устоит против русского. Верно тебе говорю!

Верещагин оживился, помогал рассказу, размахивая правой рукой, сжав пальцы в кулак. Кулак выглядел весьма внушительно. Не походил Верещагин на художников, которых изо-

бражают в европейских романах и на картинах — красавцами в дамских салонах. Было в нём много мужицкого, сильного, страстного — и в выражении лица, и во всём облике.

— Взяли наши первый редут. Конечно, потери немалые, турки ведь тоже умеют храбро сражаться. Но разве наших остано-вишь! Когда Белый генерал с ними! И впереди. И рубит саблей, и сам ведёт воинов вперёд! Да, брат, такая картина... Победили под Ловчей...

Верещагин снял фуражку и перекрестился. Так же сделал и отец Борис.

Обоз с ранеными остановился. Прибыли к назначенному месту, но радости на лицах не появилось. Потому что увидели, чего стоила победа под Ловчей, о которой рассказывал Верещагин.

У палаток, кто сидя, кто лежа, ожидали своей очереди на операцию. Раненых было так много, что на первый взгляд казалось, будто всё наше войско и состоит из этих изувеченных тел, лежащих на подводах, на носилках, а то и прямо на траве.

Верещагин приказал ездовому взять повозку прямо к просторной палатке, у которой грудились раненые. Там находилась операционная, и Николай Васильевич Склифосовский уже третьи сутки подряд оперировал. Между операциями жена, Софья Александровна, вливала ему в рот несколько глотков вина. Она и сёстры промывали раны, готовили повязки, смачивая их раствором карболки или камфорным спиртом. Повязки предназначались для тех, кому уже сделали операцию. Воинов с гнойными ранами содержали в других палатах. Николай Васильевич, уже имея опыт в военно-полевой хирургии, следовал новому методу антисептики — по примеру Николая Ивановича Пирогова, своего старшего коллеги.

Повозка с Тепляковым подъехала к операционной палатке как раз в тот момент, когда Склифосовский вышел из палатки. Следом вышла и Софья Александровна.

— Николай Васильевич, здоровья желаю, — Верещагин подошёл к хирургу и хотел пожать ему руку, но Склифосовский глазами показал на свою окровавленную перчатку.

— Извини, Василий Васильевич. Сейчас немного остужусь, тогда поговорим, — он дал жене снять с себя халат и перчатки. Потом, снова извинившись, ушёл за палатку. Торопливо выбе-

жала из палатки медсестра, неся полное ведро воды. Скрылась за палаткой. Послышался плеск воды.

— Обливается холодной водой, — сказала Софья Александровна. — Даже полчаса нет времени отдохнуть.

Склифосовских Верещагин знал по Москве. Бывал у них в гостеприимном доме. Софья Александровна прекрасно играла на рояле. Трудно было предположить в этой хрупкой женщине, в белой косынке с красным крестом, в фартуке из клеёнки, сейчас в крови, лауреата международного конкурса пианистов не где-нибудь, а в самой столице музыки — Вене. Николай Васильевич любил не только музыку, но и живопись, литературу, в доме у них потому и бывал Верещагин. Встречал там и Петра Ильича Чайковского, и Алексея Константиновича Толстого.

— Привёз вам своего товарища, — сказал Верещагин. — Иван Иванович Тепляков, литератор.

— Что у него? — спросил Николай Васильевич, подойдя к повозке. Волосы его на голове и бороде блестели от капелек воды. Лицо спокойное, глаза усталые, но смотрят приветливо.

— Штыковое ранение. Дрался как солдат.

Николай Васильевич заглянул в повозку.

— Ну-ка, красавица, покажи его рану, — сказал он Албене. — Смелей.

Албена скинула с Ивана покрывало, приподняла рубашку. Сняла с живота и перевязку.

— Мазь местная... Впрочем хорошо, нагноения нет. Не дёргайся, молодой человек. Настоящая боль впереди. Будем рану вскрывать.

— Когда? — спросил Верещагин.

— Да прямо сейчас. А то ведь я ненароком усну, — он улыбнулся. — Видать, твоего нрава молодой человек. Корреспонденту ведь не положено в штыковую идти.

— Так Иван не только корреспондент, он и поэт. Вот и действует как Байрон.

— Вот как, — Николай Васильевич опять улыбнулся. — Значит, теперь будут стихи о битве? Так, Иван... как вас по батюшке?

— Иванович, — подсказал Верещагин, а Албена вопросительно смотрела на хирурга, взглядом спрашивая, надо ли бинтовать рану.

— Значит, Иван Иванович. Стихи пусть будут о жизни, а не о смерти, договорились?

Иван кивнул, хотя хотел сказать, что он не поэт вовсе, а лишь рассказчик, но тут подбежала сестра и торопливо сказала:

— Поручику плохо. Что делать, Николай Васильевич?

Склифосовский протянул руки вперёд, подставляя их для чистого халата, который надевала на него жена.

— Поручику придётся отрезать руку до локтя, — сказал он и посмотрел на жену. — Иначе гангрена. Иди, готовь его, Соня. А потом нашим поэтом займёмся. Несите его в операционную.

Начались четвёртые сутки, которые Склифосовский проводил без сна и без еды у операционного стола.

— Соня, — позвал он, когда закончили операцию поручику, — дай ему спирта. А мне глоток вина.

Тепляков слышал и видел, что поручик, очнувшись, плакал, как дитя, глядя на свою забинтованную култышку, оставшуюся от руки. Софья Александровна силой влила ему в рот спирт. Поручик закашлялся, потом стал тоненько выть, по-собачьи.

Теплякова положили на операционный стол. Привязали руки и ноги. Дали глотнуть спирта. Потом Николай Васильевич, по примеру своего учителя Пирогова, применил анестезию. Великий хирург впервые в военно-полевых условиях использовал как обезболивающее средство камфорный спирт.

Когда хирург вскрывал Ивану живот, он ещё помнил себя.

Потом наступила тьма.

Николай Васильевич между тем обнаружил, что в брюшной полости штык порвал селезёнку и несколько кишок. Зашивая раны, он вспоминал стих Лермонтова, где упоминался Байрон.

Смотрел на бескровное лицо Теплякова, его русые волосы, прямой нос.

— Надо аккуратно зашить рану на голове нашего поэта, пока он без сознания. Чтобы девушка его крепче любила.

— Какая девушка?

— Да болгарская. Разве не заметила, как она перевязку снимала? Определи её санитаркой. И пусть расскажет, что за пахучую мазь пользовала.

Софья Александровна сняла повязку с головы Теплякова. Казалось странным, неправдоподобным, что этими длинными тонкими пальцами она всего лишь час назад держала отрезанную

по локоть руку поручика. Что эти же пальцы извлекали из рояля нежные звуки Шопена и Чайковского. А сейчас им предстояло держать иглу и зашивать кожу на русоволосой голове юноши, по которой скользом прошла сабля турецкого головореза.

Глава двадцать третья. Братья *Плевна, сентябрь-ноябрь 1877 года*

Тепляков поправлялся. Операция прошла успешно, уход за ним наладили, да и молодость брала своё. Скоро он уже вставал с больничной койки и хоть ненадолго, но выходил на свежий воздух. Его навещали офицеры, с которыми он успел познакомиться, однажды посетил полевой госпиталь великий князь Николай Николаевич Старший со свитскими. Новости Иван узнавал не только от Верещагина, который в это время находился в расположении войска. Многое узнавал от бойцов, которые лежали с ним в одной палатке. Это были не те донесения о военном положении на Балканском фронте, которые шли в Москву и Петербург, а истории, которые происходили с бойцами в ходе самих боёв и после них. Но главное заключалось в том, что происходило в душе Теплякова. Он теперь совсем по-другому понимал войну. После всего, что произошло с ним, и что он увидел своими глазами, романтические представления о подвигах выветрились. Вид обезображенных тел уже не вызывал в нём приступы дурноты и головокружений, хотя по-прежнему видеть мертвецов и развороченные раны было тяжело. Сама смерть не казалась чем-то ужасным, а воспринималась как неизбежность на войне. Страха перед ней он не испытывал после того, как его соборовали. Он совершенно по-другому стал воспринимать Бога. Уже не как нечто абстрактное, а как живое чувство. Он, наконец, понял, что значит выражение «Царство Божие внутри вас есть»: это и есть Бог, о котором он раньше думал как о том седобородом старце, которого ещё в детстве увидел в купольном изображении храма сидящим на облаке и оттого казавшимся сказочным, выдуманным.

Он устал без конца прислушиваться к своим болям или говорить о них. Тем более его раны казались пустяшными по сравнению с тем, что он видел. Хотя Николай Васильевич и говорил, что рана его достаточно опасна и относиться к своему здоровью надо со всей серьёзностью. При этом добавлял, что Ивану

конечно же повезло, раз нетронутыми оказались «жизненно важные органы», как он выразился. И добавлял, что, видимо, за него кто-то усердно молится. При этом он как бы невзначай бросал взгляд на Албену. Она стала медицинской сестрой, обязанности свои выполняла с особым старанием, быстро освоившись и не брезгуя самой тяжёлой работой. Занятая «с утра до вечера и с вечера до утра», она успевала присматривать и за Иваном. Она старалась не показывать, что он какой-то особенный больной, и не задерживалась у его постели. Но разве не заметишь, как относятся друг к другу молодые люди, тем более такие «справные», как заметил рядовой Галушко, заходивший попрощаться с Иваном перед очередной «переброской» его артиллерийского батальона в самое пекло боёв. А это пекло как раз и находилось в самом центре фронта, где сейчас и велись самые ожесточённые бои. Плевна не хотела сдаваться. Более того, третий штурм закончился, как и второй, — разгромом как нашего боевого состава, так и союзников — румын.

Сколько убитых, точно Тепляков не знал. Но по количеству увечных и раненых, которые всё прибывали и прибывали в полевой госпиталь, он понимал, что счёт идёт не на сотни, а на тысячи убитых. Их бросали штурмовать крепость, не имея продуманного плана действий, хотя управление войском заметно улучшилось с решением государя Александра II вручить действия армии князю Имеретинскому.

Но и третий штурм оказался провальным как раз из-за того, что князь не послал подкрепление Скобелеву, отряд которого проявил чудеса храбрости и героизма. Скобелевцы взяли два редута врага, прорвались с юго-запада к Плевне. Крепость бы пала, если бы прорыв героев был поддержан. Тридцать два часа держались скобелевцы. Ждали подмоги и не дождались. Пали, скошенные шквальным огнём. Осман-паша, поняв, что именно со стороны Скобелева ему грозит главная опасность, все резервы бросил именно на этот участок боя.

Дрались один против четверых. Майора Готилова, окружив, турки подняли на штыки.

И тогда Скобелев, уже ближе к вечеру, дал приказ отходить.

Наши потери при третьем штурме Плевны составили шестнадцать тысяч убитыми.

Это было самое кровопролитное сражение за время войны.

Склифосовский по-прежнему оперировал по несколько суток подряд, обливаясь ледяной водой из ведра, чтобы взбодриться. Благо, что закалён: обливался ледяной водой и зимой. Ему даже вырубали прорубь для купания зимой. Но и его силы день ото дня, вернее сутки от суток, убывали, и он буквально падал, чтобы хотя бы часок поспать.

Тепляков уже подумывал, как бы уйти из госпиталя, чтобы освободить койку для тяжелораненых. Прогуливаясь, он обнаружил неподалёку хибарку, где, вероятней всего, жил пастух. Теперь она пустовала, и Тепляков решил приспособить её для жилья. Ему хотелось побыть одному, записать, что пережил. Да и надо было отправлять очередную корреспонденцию Аксакову: со времени пребывания в Стара-Загоре он ничего не писал.

Он решился поговорить с Софьей Александровной, чтобы кто-то приходил к нему время от времени делать перевязки. (Конечно, он подразумевал Албену). Что же касается еды, то до полевой кухни он думал добираться сам, прогулки ведь всё равно нужны.

Задуманное осуществилось, когда среди массы раненых и увечных, привезённых с поля боя после третьего штурма, он увидел Галушко. Тот лежал прямо на траве, держась за живот.

Иван присел на корточки перед солдатом, глядя на лицо с подтёками чёрного от копоти пота.

— Галушко, ты? — спросил Иван, чтобы удостовериться, что не ошибся.

— Бачите, меня, как и вас, в живот, — он попытался улыбнуться. — Тильки не штыком, а снарядом, буди он неладен... Орудию разворотило... И меня...

— Погоди, я сейчас. Найду, кто поможет, — Иван оглядывался, ища людей с носилками.

Санитары неохотно, даже сурово, отказывались нести Пана-са на койку Ивана.

— Нельзя, даже охвицерам мест не хватает.

— Да я ж тебе говорю, на моё место!

— А вы куды?

Санитар был измучен работой и хотел лишь одного — спать. Как и его напарник.

— Да не твоё дело! Несите!

— Куды?

— Сюды! — злобно выкрикнул Тепляков, показывая, куда нести Галушко.

Панаса уложили на койку Ивана.

Опираясь на палку, торопясь, Иван пошёл искать Албену. Нашёл. Она, всё поняв, разыскала Софью Александровну, а та привела Николая Васильевича. Хирургу оказалось достаточно глянуть на развороченный живот солдата, чтобы всё понять.

— Умойте его и переоденьте, — сказал он. — И выполните, что пожелает.

Он повернулся и снова направился к операционному столу. Там его ждали те, кто ещё мог выжить.

— От ведь как, Иван Иванович, — говорил Панас. — Я на вашем месте... Извиняйте...

— Да ты не беспокойся. Сейчас тебя к операции подготовят. Всё будет хорошо, — говорил Иван, а Албена стягивала с Панаса китель, мокрую от крови и пота исподнюю рубашку.

Иван смотрел, как умело и ловко действует Албена, как она моет лицо и тело Панаса. Она промыла, насколько это возможно, тело около раны, наложила повязку и забинтовала её.

Панас, умытый и переодетый, в чистой постели, выглядел теперь как обычный раненый солдат, попавший на лечение.

— Спасибо, Иван Иванович, опять вы мене спасаете. Только на этот раз... не получится...

— Да что ты! Не знаешь, какой Николай Васильевич чудесник! Не таких вылечивал.

— Не. Петухова помните? Всё шутовал про мене. А Крапивенко? А унтера Шебаршова? Справный такой... Все убиты... И мне до них... идтить.

— Я же тебе говорю, Николай Васильевич...

— Не, — перебил Галушко. — Все же вин не Никола Угодник... Просьба до вас, Иван Иванович. Отпишите мамке моей. В нашу деревню. Ушня называется. Черниговска губерния. На церковь Николы Угодника напишите. Батюшка грамотный... А мамка моя шибко в церкву ходить любит. И Галю тоже. Невеста...

Он облизывал губы, закатывал глаза.

— Я напишу, напишу, Панас. Ты только держись! Слышишь?

Он наклонился над Галушко, и из-под его рубашки выглянул нательный крест — серебряный, с распятием Спасителя. Панас невольно увидел его.

— Какой у вас крестик... гарный.

— Да? Тебе нравится? Знаешь что? Давай поменяемся крестами.

— Не. У меня обыкновенный.

— Ну и что, — сказал Иван, снимая с себя крест и надевая его на шею Галушко. Крест Панаса, действительно, самый обыкновенный, оловянный, он надел на себя.

— Спасибоочки... утешили... Иван...

И он затих.

Иван перекрестил Галушко и стал вспоминать молитву на исход души. Не вспомнил. Лишь сказал:

— Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божия Панаса.

И Албене:

— Давай похороним его. Пойду разыщу отца Бориса.

— Кладбище рядом. Он там.

«И это она знает, — подумал Иван. — Наверняка есть и похоронная команда. Они мёртвых и уносят».

Иван вышел из палатки, растерянный и оглушённый.

Вот и ещё одна смерть свершилась перед его глазами. Как это просто всё. Никакой тебе торжественности, звуков трубы. Улетела душа Галушко в Балканское небо. К тем шестнадцати тысячам душ, которые сегодня закончили свой земной путь.

А дальше?

Если бы знать, что там происходит дальше!

О том, что души не умирают, Теплякову говорили и дома, и в церкви. В гимназии преподавался Закон Божий. Но на этих уроках принято было придумывать неудобные вопросы для священника отца Никанора, с виду грозного батюшки. На самом деле это был добрый и мягкий человек. А грозный вид делал, потому что сам боялся гимназистов, задававших ехидные вопросы. Отец Никанор отделялся общими словами, грозно призывая бояться потерять страх Божий, ибо без него последуют ужасные несчастья.

Но где там гимназистам было понять, что такое страх Божий. Они только посмеивались про себя, и Иван тоже. А сейчас, вспоминая отца Никанора и его кустистые брови, чёрно-белую бороду почти до пояса, из-за которой отца Никанора за глаза

гимназисты звали отец Нифиганор, имея в виду собственную выдумку, что он не знает ни фига.

Иван подумал, что страх Божий он ощущает именно в данную минуту и час.

Солдаты копают яму для Панаса Галушко, а он сам лежит, завернутый в свою солдатскую скатку, и лишь лицо его открыто, и закрытые глаза устремлены в небеса.

Гробов нет, скатка служила шинелью и одеялом на земле, а теперь вот стала и одеялом под землёй.

Потому что где напасёшься гробов на шестнадцать тысяч человек, которые убиты только сегодня, только с нашей стороны. Целый лес надо вырубать. А турки, каковы их потери, как пишут в донесениях? Говорят, сегодня четыре тысячи человек. Ладно. А завтра сколько будет? Не тысяча ли тысяч?

«Кладбище... Какое же это кладбище! Просто поле до самых гор. И сколько видит глаз, всё бугорки, бугорки, бугорки... Это воины наши, прикопанные землёй: некогда могилы рыть.

Ничего, время будет, и всех похоронят с воинскими почестями. И памятник погибшим будет.

Дайте только срок...»

Так думал Тепляков и ещё твердил себе, что как бы ни укрепляли Плевну турки, крепость всё равно падёт.

Потому что война с нашей стороны праведная, а с их — неправедная.

И страха в душе Ивана сейчас нет, потому что делает он дело, угодное Богу. А если делать неудобное, вот тогда и надо бояться. Не ран и не боли, и не смерти тела, а смерти души.

Вот это и есть страх Божий.

Албена видела, что с Иваном происходит что-то важное. Больше, чем смерть боевого товарища.

— Пойдём, Иванко, — сказала она и взяла его под руку. — Нельзя долго стоять.

Хоронили бойцов неподалёку от палаточного лагеря.

«Она назвала меня Иванко, — пронеслось в сознании Ивана. — Надо сказать ей сейчас, сейчас!»

— Албена, — начал он, почувствовав сухость во рту, — я сейчас сделал важное открытие. Не знаю, поймёшь ли ты. Но я всё равно скажу.

— Не надо.

— Надо! По-моему, ты уже хорошо понимаешь по-русски. Как я по-болгарски. Это правда.

Она шла, глядя себе под ноги, боясь, чтобы он не споткнулся. Но и посмотреть ему в глаза тоже боялась.

— Подожди.

— Люди смотрят. Нехорошо.

— Что плохо? Любить плохо? Любви надо бояться?

Он неожиданно осмелел, за подбородок поднял её лицо так, чтобы она видела его.

— Албена, может, другого такого случая не будет. Я бы хотел, чтобы ты знала, что я полюбил тебя. Наверное, сразу, как только увидел. А как ты стала выхаживать меня, так я убедился, что это не просто так, не просто случайная встреча. Ты понимаешь меня?

— Идём, — она снова взяла его под руку и повела к госпитальной палатке. Была она в белой косынке с красным крестом, в тёмном платье, поверх которого надет белый передник, черноокая и черноглазая — действительно, горный цветок. А он уже без бинтов на голове, с русыми кудрями, отросшими почти до плеч, с русой бородкой, бледный, худой, но всё-таки выстоявший на земле, как деревце, которое гнула налетевшая буря почти до земли, гнула, но не сломала.

— Я сегодня потерял брата, Албена. Мы с ним поменялись крестами и побратались.

— Я видела.

— Я бы хотел, чтобы ты стала мне не только сестрой, понимаешь?

— Не, Иванко. Война.

— Да, война. Но что из этого? Мы живы и...

Он вдруг остановился так же внезапно, как и начал говорить.

— Прости, я слишком размечтался.

Он пошёл быстрее, припадая на правую ногу и опираясь на палку, которую смастерил ему мастер на все руки Панас Галушко, упокоившийся на болгарской земле.

Она смотрела ему вслед и хотела окликнуть его, но промолчала.

Глава двадцать четвёртая. Из дневника Ивана Теплякова

Лагерь под Плевной, август 1877 года

1 августа 1877 года. Вечер.

Во мне происходит что-то новое, чего я не испытывал раньше. Надо разобраться, поэтому пишу. Слава Богу, теперь есть возможность, поэтому не стоит терять время попусту.

Хижина пастуха, куда я перебрался, даёт мне возможность сосредоточиться. Хотя бы запишу, что сейчас для меня самое главное. И о чём я раньше не знал.

Албена.

Она слишком много места стала занимать в моём сердце. Я дал себе слово как можно меньше думать о ней. Но она то и дело напоминает о себе.

Вот вчера, например. Я ушёл прогуляться. Тут рядом есть чудный лесок. Там так хорошо дышится, душа немного успокаивается. И думать хорошо. Бродил по леску я в предвечернее время, когда солнце уже не грело так жарко и с гор веяло ветерком. Когда пришёл к своему жилищу, то заметил разительные перемены. На столе чайник и кружка, которых не было, на кровати одеяло, суконное, новое, земляной пол подметён, вещи мои сложены на табуретке под вешалкой, а верхняя одежда висит на крючках. И, главное, рядом с моими тетрадками и чернильницей лежат три свечи.

Конечно, это всё Албена. Она обычно приходит с утра, делает перевязку и быстро уходит, сказав лишь привычное «доброе утро» и «до свидания». Я не задерживаю её, зная, сколько у неё работы. Да и, признаться, после того разговора у могилы Пана-са я и сам не знаю, как и о чём с ней говорить. Все слова кажутся мне банальными и никчемными. Но в душе-то я жду момента, чтобы объяснить: пусть она забудет про мой порыв, в конце концов, я же не сделал ничего дурного. Просто сказал, что она нравится мне.

Но вот эта уборка в моей хижине в неурочное время дала мне пищу для новых фантазий. Я стал убеждать себя, что это сделано не просто так, а со смыслом, раз она принесла то и это, значит, думала обо мне, значит... Да ничего не значит. Просто хорошая девушка, заботливая, я её пациент, вот и всё. Тем бо-

лее Софья Александровна могла всё это организовать — лампу, например. Откуда бы самой Албене взять её?

И хватит об этом.

2 августа 1877 года. День.

Надо записать, ради чего я здесь. О ходе войны. О том, что я понял. Вот для чего и перо, и тетрадь, и свечи.

Всё, что я узнал нового о войне, это её безжалостность к жизни людей, которые сходятся, чтобы убивать друг друга. Война есть победа бесчеловечности, чтобы торжествовала справедливость. Парадокс? Конечно. Оказывается, и посредством войны можно установить победу человечности, добра. Но всегда ли? Можно оправдать победы Наполеона? Чингис-хана? Тамерлана? Всех других завоевателей и покорителей народов?

Но каждая страна чтит своих завоевателей. Франция, например. Да, Наполеон допускал ошибки, говорят они. Но он же гений. Так поставим ему памятник. И будем поклоняться. Ведь он возвеличил свою страну!

Примерно так говорил мой друг «парижанин». Мир ему, и пусть Господь простит ему грех заблуждения. Ведь он погиб совсем на другой войне, совсем за другие идеалы. Поступил как раз наоборот, как раз против своих убеждений о войне, героизме.

Потому что эта война, в которой участвую я, в корне отличается от других войн. По крайней мере, тех, о которых я читал.

Скажите, где, когда, какая страна шла отдавать тысячи жизней своего народа, чтобы не покорять, не властвовать, не грабить, а освобождать?

В восемьсот двенадцатом мы защищались от врага. И в других наших войнах спасали своё Отечество, на которое напал враг. Это совсем другие войны.

Сейчас мы хотим добыть свободу своим братьям славянам, вот и всё. Ради этого стоим под этой распроклятой Плевной, где уже погибло более тридцати тысяч наших бойцов. И конца края нет этой осаде, к которой мы перешли, бросив все штурмы. Вызвали генерала Тотлебена, специалиста по осадным действиям. Он великолепно проявил себя при обороне Севастополя. Так говорят. Умеет строить фортификационные сооружения, или как там они называются. Они берут в кольцо неприступную крепость и вынуждают противника голодать, остаться без воды

и, наконец, сдаться. Но сейчас уже август, а турки не сдаются — то и дело предпринимают попытки вырваться из осады. Теперь они теряют тысячами убитых. Мы теряем намного меньше, но всё равно теряем. Тотлебен настаивает на продолжении осады, говорит, что Плевна неизбежно падёт. Скобелев рвётся в бой, убеждает, что ещё одного штурма турки не выдержат. На его стороне тот факт, что наши держат оборону на Шипкинском перевале из последних сил, ждут, когда наше войско двинется на подмогу. А двинуться мы не можем, потому что на пути — Плевна. И поэтому нужен штурм, штурм победный.

Командование держится тактики Тотлебена. Измотать противника обстрелами, лишить его армию подкреплений, и тогда крепость падёт. Но если наши не выдержат нападений турок на Шипке, то к Плевне подойдут их подкрепления, и неизвестно, кто победит.

Вот такая, по моему мнению, картина.

По проходу, который ещё не перекрыт турками, завтра уходит часть гошпиталя во главе с Николаем Васильевичем. На Шипке скопилось слишком много тяжелораненых. Здесь остаются врачи, которые могут справиться и без него. А Склифосовского ждут на Шипке.

Я остаюсь здесь. Потому что слишком слаб.

5 августа. Ночь.

Оказывается, уходит и Албена!

Я увидел её рядом с Софьей Александровной и Николаем Васильевичем. Скрыть своего удивления, конечно, не смог. Вернее отчаяния, потому что Николай Васильевич сказал: «Ну что вы, что вы, Иван Иванович. Она же будет с нами. С ней ничего не случится».

Я что-то пролепетал в ответ. Потом опомнился, взял себя в руки.

«Как поправитесь, так и прибудете к нам, — сказала Софья Александровна. — Мы же не на целую жизнь расстаёмся».

«Конечно, но всё же неожиданно как-то».

Я попросил Албену отойти немного в сторону.

И вдруг сказал:

«Албена, я не знаю, останусь ли жив, встречусь ли ещё с тобой. Но вот что знаю теперь точно: так любить, как люблю сейчас, никогда никого не буду».

Она посмотрела мне в глаза и сказала:

«Храни тебя Господь, Иванко».

Повернулась и пошла.

А я долго смотрел вслед уезжающей подводе, пока она не скрылась за дальним поворотом.

10 августа 1877 года. День.

Я сказал то, что пришло на ум? Хотел выговорить нечто необычное?

Нет! Я и не думал ни о чём таком. Слова вырвались прямо из сердца. Я и не думал, что скажу так.

Теперь, когда можно обдумать этот мой поступок, я прихожу к выводу, что сказал именно то, что лежало на сердце.

Не буду лукавить, иногда у меня слова срываются независимо от того, что я думаю на самом деле. Слова будто сами по себе слетают с языка. Иногда получается, что я что-то брякнул. Невпопад.

Да, так со мной бывало, когда я горячился и говорил, не подумав первоначально. И не для того, чтобы выгодно себя подать или схитрить. Мама считала, что мне вредит моя прямодушность.

Но с Албеной я не слукавил, не брякнул. И сам удивляюсь, что сказал именно то, что надо было сказать.

Да! Так я не любил и не люблю никогда.

Но как же Анна? Ведь я тоже сгорал от любви. Ведь я мнил себя Вертером.

Увы. Любовь оказалась книжной, придуманной мной самим. Анна лишь подожгла фитиль, и снаряд пролетел так, что не убил, а контузил меня.

Любовь к ней выгорела.

Я с удивлением заметил, что воспоминания о ней меня не тревожат. Мне самому странно, что так произошло. Когда я пытаюсь анализировать, то прихожу к выводу, что с самого начала мои отношения с ней были какими-то искусственными. Я сочинил себе роковую красавицу, страдал от неразделённой любви, играл в жмурки, не понимая, что ловлю пустоту. Ведь я знал, что первый раз она вышла по расчёту. Допустим, её к этому принудили обстоятельства. Но второй раз — выбрать этого трескуна Тереньтева, только потому, что он обещал ей Париж,

Венецию? А меня легко было держать воздыхателем, который пишет ей стишки в альбом, читает Гейне и других хороших поэтов. Ведь я согласился на такую роль и на войну отчасти ушёл из-за позы байроновской.

А когда понюхал пороха, как сказал Скобелев, вся эта романтическая глупость и слетела. Как жухлый лист.

А сейчас?

Не то же ли, только на иной манер? Нет ли и тут позы, придуманности? Не сочинил ли я себе новую любовь?

Нет!

Хотя бы по той причине, что одно её появление заставляет иначе биться сердце. Хотя бы потому, что я «то робостью, то ревностью томим», как точно высказано у Пушкина. (Об этом я рассужу отдельно, не сейчас). Ведь это самые верные признаки любви. Она мне нравится и внешне, и по душе — я чувствую и вижу её чистоту, смелость, ум. Да-да, ум, потому что она уже не один раз высказывалась пусть кратко, но очень глубоко. Например, когда я прочитал ей письмо к матери Панаса, она сказала, что написано не словами, а душой. И дело совсем не в том, что меня похвалили, а в том, что всё верно понято тоже её душой.

Да, я люблю её, люблю сильно, и именно поэтому и вырвались слова из самого сердца. Я же за минуту до этих прощальных слов совершенно не знал, что скажу именно их.

Сейчас мне пришло на ум: а что, если и ей, как маме Панаса, написать письмо? Да не одно, а несколько. Высказать всё, что у меня на душе. Рассказать о себе. Раз Господь дал мне дар рассуждения, умения облечь мысли в слова, почему же не воспользоваться этим?

Маме Панаса письмо прочтёт священник. А как быть с Албеной? По-русски она уже понимает. Наверняка и читать умеет: по виду она вполне грамотный человек. Но, может, ошибаюсь?

Сделаю так. Письмо адресую Софье Александровне и всё объясню. Она поймёт. И сделает, как я прошу.

12 августа 1877 года. День.

Признаться, меня так же сильно, как Албена, занимает фигура Скобелева. Что и неудивительно. Потому что после второго и третьего штурма Плевны, несмотря на отходы наших, в войске Скобелев стал почитаться как истинный герой.

Интересно разобраться. Одни говорят, что он ухарь, ради славы и удалства играющий в прятки со смертью. Это мнение начальствующих. Не всех, конечно. Мнение же солдат противоположное: храбростью и отвагой он ведёт вперёд наперекор всему. И потому побеждает.

Высшие чины говорят, что он совершенно напрасно рискует головой, когда это и не нужно. А солдаты видят лишь отважного командира, который бьётся рядом с ними. Одни говорят о показухе, другие о том, что иначе он не может воевать: таков характер. И, восхищаясь, произносят: заговорённый!

А другие: Господь его хранит!

Любят его солдаты не столько за храбрость и удаль. А за то, над чем многие генералы, особенно немцы, смеются.

Взять приказы Скобелева. Например, приказ о том, чтобы была горячая пища. Приказ, чтобы у каждого солдата были сухие портянки и целые сапоги. Ну не смех ли? А когда готовятся к бою, проверяют не только огнестрельное оружие. Заставляет проверить, всем ли выдали горячий обед, есть ли в нём мясо. Обязательно сухари. И ещё. Опрятность, чистота. И нет у его солдат насекомых.

Я сам видел, как он распекал одного офицера за то, что его солдаты оправляются прямо за палаткой, что не вырыто отхожее место.

Вот ещё за что любят солдаты Скобелева. Он свой, заботится о них, как о своих, ну, если не детях, то уж братьях на самом деле. У него солдаты накормлены, чисто одеты, обуты — в бой идут как на парад, идут служить Родине, а не на закланье. Идут побеждать, поэтому реют знамёна, гремят барабаны, трубят трубачи. И никто не боится смерти, вот главное, что я открыл. Если и бояться, то не показывают этого, потому что стыдно воину бояться. Надо не жалеть себя ради победы за правое дело.

Как это делает сам генерал Скобелев.

Он потому и Белый, чтобы его все видели. Чтобы воодушевить. Биться с отвагой, а не потому, что тебя силой отправили воевать.

И солдаты всё это понимают, хотя и не могут выразить словами. Зато понимают сердцем.

Вот поэтому Скобелев не ухарь, а герой.

И, думаю, правы те, кто считает, что Господь его хранит.

14 августа. Утро.

Какие неожиданные встречи происходят на войне! Это потому что слишком много людей сразу оказываются перед лицом опасности, даже смерти. И многие торопятся высказаться. Впрочем, может, это так со мной происходит в силу моей профессии. Потому что во мне видят человека, с которым можно поговорить о чём-то тайном, что хранила душа. Но ведь есть отец Борис. Да, но, как я заметил, к писателю у нас в России почти такое же отношение, как к священнику. Стану ли я писателем? Оправдаю ли то доверие, которое ко мне проявляют столь разные люди? Начиная с генералов, Скобелева в особенности, и кончая рядовым барабанщиком Солонишкой?

Вот интересный человек! Кто бы мог подумать, что у него такая необычная судьба!

Запишу её.

Солоницын Иван, он же Солонишка, Ветлужского края, Костромич. Деревня Зотово. Он мне рассказал, потому что увидел моё расположение к Иванко. Говорит, что он людей проверяет, как они к детям относятся. Иванко не ребёнок, но всё же малый без отца, без матери. Солонишка взял его, говорит, что слух у мальчика есть, выйдет толк. Но дело не в этом. Главное, что не бросили его пропадать в этой круговерти войны.

Так вот, приходит однажды ко мне Солонишка, говорит, разговор есть. Ну что ж, отвечаю, присаживайся, поговорим, пока время есть. Я тогда на поправку пошёл и перебрался вот в эту хижину.

«Знаете, Иван, — говорит он, — я тоже разные мысли записываю. Также хочу что-то написать. Пока не знаю что, но хочу. Нет, вы не подумайте, что я себя писателем возомнил, нет. Но почему-то мне не дают покоя некоторые обстоятельства, о которых хочется сказать письменно. То есть высказаться на бумаге. И вот я приобрёл бумагу и карандаш, и стал марать бумагу. И вот хочу, чтобы вы мне совет дали: надо ли продолжать?» — и даёт мне свою тетрадку.

Я в тот же день прочёл всё, что написано Иваном. Интересно! Конечно, грамотности Ивану надо учиться, но это же дело наживное. Главное, что он хочет сказать. А сказать ему есть что.

Во-первых, он написал про своего деда, Захара Солоницына. Тот учился, оказывается, в Вятке, в духовной школе. Как лучшего ученика его направляют в Германию продолжить учение. Там

он нахватался масонских мыслей и о них написал своему другу некоему Колокольникову, не зная по молодости, что по приказу императрицы Екатерины Великой все письма из-за границы перлюстрируются. И крамольные мысли нашего Захара становятся известны тайной полиции, и его отправляют в тайгу — замаливать грехи и учиться понимать, что есть истинная вера. Вместе с ним отправлен в глухие леса и другой крамольник, Зот Безденежных, Колокольников пощаждён. На пару с Зотом им дали по топору и по Библии, и сухариков. Они срубили избу, потом прорубили просеку к ближайшей деревне Тоншаево, где есть храм. И раз в полгода ходили туда исповедоваться и причащаться.

Они не только выжили, но и основали деревню, которая и называется Зотово, где Солоничка родился. А рассказал он мне об этом потому, что Захар стал Ветлужским летописцем, который собрал многие летописные книги и написал нечто вроде истории Ветлужского края. Ивану тот труд передал по наследству отец, ставший священником. Отпуская Ивана в ополчение, наказал записывать происходящее, а потом продолжить писать историю ветлужан.

В этой истории самое удивительное, что я почти в точности совершил то же, что и Захар Солоницын. С той лишь разницей, что нахватался я не масонских идей, а революционных, и не Германии, а в Петербурге. Но ведь суть одна и та же! Господи, неужели нам, русским, обязательно надо учиться европейским мыслям, да причём таким, какие они сами отвергают? Неужели у нас не хватает своего ума-разума жить по законам наших предков? Неужели нам обязательно надо перенимать чужое, надевать заморский кафтан и брить бороды?

Вот эти вопросы и задаёт в своих письменах, как он их называл, сын сельского священника, ставший барабанщиком у Скобелева.

Вот мне наука про то, что к самым простым людям нечего относиться по-барски, да ещё и давать зуботычины при случае. Они могут мыслить и лучше нас! Солоничка пишет, что хорошее, конечно, у каждого народа есть. Только надо его понять, прежде чем перенимать.

Просто, но правильно.

О музыке тоже пишет хорошо. Что болгарская песня мелодична и непохожа на другие. Вообще ему бы музыкой зани-

маться. Как сказал мне капельмейстер скобелевских трубачей Цирюльский, Адам Петрович, Солоничка всё играет по слуху, который у него абсолютный.

Сблизил нас, оказалось, не столько Иванко, сколько похожие, я бы сказал, родные мысли.

О России, о её предназначении как славянской державы.

16 августа 1877 года. Ночь.

Мысли о вере.

Студентом я перестал ходить в церковь. Даже смеялся над тёмными людьми, которые не понимают передовых идей. Мои товарищи по кружку настроены были революционно. Я не совсем разделял идеи решительных мер, как наш главарь, но всё же был его поклонником. Хотя этого старался не показывать.

И что же? Когда начались допросы, начались и предательства, доносы. Мало кто выстоял. Я вёл себя плохо. Даже трусил. С большим облегчением принял ссылку домой, в Самару, чтобы подумать о своих воззрениях.

Меня просто пожалели. Сказали, вернётесь в университет, когда повзрослеете. Что ж, вынужден признаться, было во мне немало кичливости. Желание не отстать от современных идей. Видел я, конечно, и затхлость, тупое угодничество служивых, которые готовы на всё ради карьеры и прочих благостей жизни. Эти люди мне претили и продолжают претить сейчас.

К церкви это имеет прямое отношение, я это видел. Хотя бы взять начальство. Ханжи, вруны, даже негодяи, а в церковь ходят.

Здесь, на войне, я понял, что вера сильнее и выше любого, даже самого изопрённого фарисейства. Священники ведь тоже люди. И они бывают разными. Есть искренняя вера, как у отца Бориса, а есть в церкви службисты, как в департаментах.

Вера горячая, думаю, живёт в сердце Скобелева. Хотя он никогда об этом не говорит. Если и упоминает, то с юмором.

Однако перед атакой всегда произносит: «С Богом!»

На днях его вылазка опять отличалась храбростью, опять он проявил мужество и доблесть.

О его подвигах я уже написал два раза в газету. Напишу ещё.

20 августа 1877 года.

Послал несколько писем Ивану Сергеевичу Аксакову. Меня он адресовал в «Русские ведомости», за что я ему бесконечно

благодарен. Печататься в таком солидном издании — большая честь. Правда советует поменьше лирики, побольше фактов военных действий. Я не обижаюсь, видимо, так надо. Он пишет мне, чтобы «лирику» я приберёг для будущих повестей и романов. А газета требует краткости. Прав, конечно.

В телеграфное агентство, для газет, я стараюсь отправлять свои сообщения телеграфом, а более пространные статьи — почтой, с нарочными или с обозами. Эти письма идут долго, конечно. Для телеграфных сообщений требуется утверждение штаба. Тут часто заминка, волокита. Потому что, прежде всего, дают дорогу телеграммам Главного и связям военных штабов, великокняжеским, которых накапливается уйма. И лишь потом пробиваются и мои сообщения.

Осада Плевны продолжается. Тотлебен гнёт свою линию. Видимо, это правильно. Осман-паша и его войско уже выдыхаются. Их артиллерийские обстрелы всё реже и уже не такие смертоносные.

На Шипке бои идут с переменным успехом. Узнаём мало: телеграфная связь с Шипкой часто прерывается. Обстрелы, ветра, шесты ломаются, провода рвутся. Надежда на пластунов. Говорят, что бои жестокие. Потери большие и с той, и с другой стороны.

Вот что я на днях придумал.

Софья Александровна мне отписала, что Албена стала незаменимой помощницей. Но читать по-русски не может. Так что приходится ей, Софье Александровне, поневоле выступать посредницей между нами. Что она и делает: Албена ей стала как дочь. Так что пусть, когда пишу, знаю это.

Опять меня дёргают за фалды, чтобы я не впадал «в лирику».

Но я придумал, как сохранить «лирику».

Буду писать письма к Албене в эту тетрадь. Посылать ей короткие весточки при okazji, а настоящие письма будут здесь, в этой тетради. Если Бог даст, может, она их и прочтёт.

Я придумал «страну Албению», куда направляю эти письма. А пишу их из страны «Иоаннии».

Вот так и буду писать эти «Послания «Из страны Иоаннии в страну Албению».

Ещё раньше заметил, что под шум дождя хорошо пишется.

Сегодня весь день и всю ночь идёт дождь.

Глава двадцать пятая.
«Из страны Иоаннии в страну Албению»
Лагерь под Плевной. Август 1877 года

Письмо первое.

Милая моя Албенушка, цветок мой горный, неувядаемый.

Теперь мне скрываться незачем. Потому что ты знаешь, что я полюбил тебя. Да и послания эти ты прочтёшь спустя время — если суждено будет взять в руки эту тетрадь.

Может, мы никогда и не встретимся, кто знает. Лишь одному Господу это известно.

С другой стороны, это и хорошо. Я свободен писать то, что лежит на сердце. Писать искренне, не сдерживая свою нежность.

«Иоанния» — это мир моей души, ведь звать меня Иоанн, Иван по-русски. И отец мой, Иоанн, и церковь наша во имя Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. В нашем родовом имении Рязанской губернии, в России. Это недалеко от Москвы, нашей древней столицы. Но нам пришлось переехать на великую русскую реку Волгу в город Самару, что стоит в самом центре нашей державы.

Отец мой — дворянин, женился по любви на дворянке Наталье, бедной, но красивой девушке. И жили они счастливо, имели двух дочерей и меня, сына. Но по причине враждебных происков со стороны богатого соседа, которого Наталья отвергла, отдав сердце моему отцу, мы были вынуждены продать имение за бесценок и купить немного земли в Самарской губернии, куда и уехали. Отец мой не вынес разорения, трудился, как мог, чтобы прокормить семью и дать детям образование. Дочерей выдал замуж, меня тоже определил. Но надорвался.

Я учился в Петербурге, курс не кончил, но стал писать и печататься. Печатал стихи, рассказы. Из Самары, вдогонку за нашим Самарским Знаменем, ушёл воевать.

И вот на войне, где вроде бы не до любви, где кровь и страдания, встретил тебя, Албена.

Как я полюбил тебя?

Не знаю!

Может, когда увидел тебя в первый раз?

Ты мыла посуду, стоя на кухне. Быстро взглянула, не ожидая моего появления, как мне показалось, чуть испуганно.

Как бы описать этот взгляд словами?.. Может, прозвучит несколько сентиментально, слишком красиво, но так смотрит оленёнок, заметив человека. Я видел, как это было, и расскажу тебе.

И ещё забываем подарок от тебя — по-нашему рушник.

Я его храню, конечно.

Ещё видел, как ты ползёшь под пулями среди виноградных кустов. Меня тогда поразило: крупные виноградные кисти, в них попадают пули, сок брызжет, как кровь. А ты оттаскиваешь раненых.

Оттащила ведь и меня!

Я не знаю, что тут важнее. Что рождает любовь — робкий взгляд на кухне, когда ты стоишь, замерев, с тарелкой и полотенцем в руках, или когда тащишь раненого с поля боя? Или когда стоишь у операционного стола и бойцу пилят кость ноги, а у него кляп во рту и глаза от боли вылезают из орбит?

Не знаю!

Вот если бы ты хорошо знала наш язык, я бы прочитал тебе стихи — не свои, а нашего лучшего русского поэта. Звать его Александр Сергеевич Пушкин.

Он написал так:

*Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.*

Здесь каждое слово — золото. Я понял это только сейчас.

Именно мгновенье, именно чудное. Именно виденье, и как раз мимолётное.

Ах, если бы ты понимала значение и оттенки русских слов! Тебе бы стало понятней, что происходит в моей душе.

Ничего, когда мы будем вместе, я научу тебя понимать русский язык, русские стихи, которые могут быть такими глубокими в передаче чувств — самых тонких и нежных.

Спокойной ночи, гений чистой красоты.

Свеча догорает, надо ложиться спать. Завтра настрогаю лунчин: свечи закончились. Надо бы писать днём или утром, после перевязки. Но утром и днём чаще всего заботы о теле, болезни. Лишь ночь отдана на размышления.

И на письма к тебе, моя любимая.

Письмо второе.

Милая моя Албенушка, цветок мой горный, неувядаемый!

В первом письме я так обратился к тебе и нахожу, что такое обращение удачное.

Поэтому снова начинаю письмо, как и прежде.

Ты можешь возразить: «Какая же я «твоя»?» Какое я имею право так обращаться к тебе?

Действительно, я же не знаю, как ты ко мне относишься, нахожу ли отклик в твоём сердце. Но такова участь всех влюблённых — надеяться, что их любовь не сгорит понапрасну, а между двумя сердцами возникнет семицветная радуга, соединяющая два берега реки или две вершины гор.

Я однажды видел такую прекрасную радугу в наших горах, которые называются Жигули. Между прочим, они похожи на Балканы — такие же лесистые, такие же благодатные. Ваши горы поднимаются выше, и природа во многом иная, но суть их одна и та же.

Я говорю о заповедности и красоте, которую горы таят в себе. И открывают их, когда ты остаёшься с ними один на один.

Сейчас я тебе поясню, в чём тут дело: я же обещал в прошлом письме.

Однажды моя родня пригласила погостить у них в деревенской усадьбе, как раз неподалёку от Жигулёвских гор. Сестра Даша, муж её Сергей меня любят, и я их люблю.

Горы высятся над Волгой, которую русский народ называет ма-тушкой: так она добра и широка, и хороша собой, как ваш Дунай.

Я переплыл на лодке на другой берег — Самара стоит на левом берегу — и решил подняться на вершину утёса, который меня давно привлекал. Иду через лес. Осень, листва вокруг меня жёлто-красная, пятипалая, кленовая. Потом берёзовая роща, сквозная, бело-жёлтая, трепетная. И так хорошо мне, и так легко дышится, что, казалось, это и есть той мир, тот покой, который я так жаждал обрести после столичных дрязг, неурядиц, метаний, которые я испытал, учась в университете и претерпев за свою же глупость. (Об этом позже).

И вот неожиданно под ногами захлопало. Пригляделся — вода. Пошёл по ручейку, бегущему сквозь палую листву, и вышел на каменистый взгорок. В нём, как в чаше, лежала хрустальной чистоты вода. А внизу этой чаши, булькая, бил родник.

Позже я узнал, что это место называется Каменная Чаша.

Поверь, воду такой чистоты и вкусноты, которую я пил, склонившись над чашей и припав к роднику, я не пил никогда.

Оторвался, умыл лицо и, счастливый, огляделся.

Небо над головой, Волга внизу, за спиной — берёзы в жёлто-светлой листве и сосны за ними.

А между ними — олешек!

Такой маленький, такой трогательный.

Я замер — знаю, что рядом мать, знаю, что мне не поздоровится, если я попробую подойти к оленёнку.

Встал и отхожу в сторону от родника, сажусь на камень. Маму оленёнка уже вижу: она привела малыша напиться.

Они ждут, и я жду.

Сижу, не шевелясь.

Наконец мама первая подходит к воде, пьёт. Подходит и олешок, тоже пьёт. Мама чутьём поняла, что я не опасен. Лишь изредка поглядывает в мою сторону.

Напились, неторопливо пошли в березняк, скрылись за деревьями.

Албена, сейчас я понимаю: это были одни из самых счастливых минут в моей жизни.

Родник, хрустальная вода, олениха и оленёнок, мать и сынок — всё слилось в одно глубокое чувство радости, которое наполнило меня.

Я вышел к самому краю утёса, за сосны, глянул на простор, на воды, которые несла Волга. По небу тут и там плыли облака, вот образовалась тучка. Пролился крупный дождь. Я поспешил укрыться. Дождь быстро прошёл, и тут в небе, от края и до края гор, перекинулась радуга. Да такая яркая, такая красавица, какую я прежде не видел.

Она висела над Волгой, как мост.

И я подумал тогда, что это мост в ту жизнь, которая ждёт всех нас в ином времени. Может, за чертой земной жизни, там, за горизонтом.

Но мне вовсе не хотелось туда, в неизвестность. Мне так хорошо было здесь, в Каменной Чаше, у родника, среди берёз и сосен, и клёнов.

И, сам не зная почему, я заплакал.

От счастья, наверное.

Когда радуга исчезла, я встал, перекрестился, поклонился на Восток, благодаря Господа, что он дал мне возможность погрузиться в этот мир, в эту красоту и благодать.

И стал не спеша, как олениха и оленёнок, возвращаться к реке, где привязал к дереву лодку.

Почему я так подробно рассказал тебе обо всём этом?

Потому что такое же чувство владеет мной, согревает меня и переполняет сердце, когда я думаю о тебе, Албена.

И я понимаю, почему эти два чувства так похожи.

Они по своей сути одинаковы и называются одним и тем же словом — Любовь.

Письмо третье.

Албенушка, цветок мой горный, неувядаемый.

Мне сегодня снилось, как я привёз тебя к нам, в Самару. Как нас встретила моя мама, улыбнулась робко, смахнула слезу и подошла к тебе. Вы обнялись. Потом пришли Даша с Серёжей, их детки окружили тебя, рассматривая. Младшая, Верочка, радостно крикнула звонким голосочком:

— Красивая! — и захлопала в ладошки.

Потом пришла Люба с Виктором, тоже с детьми, мы помолились и сели за стол обедать.

Вначале разговор шёл как-то натянуто, но потом разговорились. Я стал рассказывать про Долину роз, про Стара-Загору, и всем было интересно, потому что говорил я о том, что пережил.

И когда проснулся, перед глазами всё ещё стояла эта встреча, и я улыбался, как будто всё было наяву.

Так оно и будет, Албенушка!

Я и представить не могу, что возвращение моё на Родину будет иным.

И я подумал: ведь ты ничего не знаешь о Самаре, о Волге. О России если и знаешь, то немного. Вот я и решил: надо немного подготовить тебя. Немного напишу, а когда мы будем вместе, всё тебе покажу — мы с тобой побываем и в наших столицах, Москве и Петербурге, а нашу Самару и заповедные её места я сам покажу тебе. И ты не сможешь не полюбить Россию.

Конечно, родина твоя — Болгария. Она яркая, нарядная, очень красивая — и горы, и море, и цветущие долины.

Но ты увидишь, что и у нас всё это тоже есть — и яркий юг, и не менее прекрасный снежный, дремотный Север, и наша центральная Россия, где красота как будто смягчена Господом, дана в том просторе и тишине, которые войдут в твоё сердце так же тихо и властно, как входит в душу сокровенная молитва.

Но сначала о Самаре.

Что это значит — Самара?

В этих местах жили и сейчас живут калмыки, азиатский народ, как и другие народы Поволжья, завоёванные русскими. Но мы не стали поработителями. Мы мирно живём уже три века, потому что не искореняли их веру, не покушались на их обычаи. И всё делали для их просвещения и благополучия, как и для нашего народа.

Так вот: я узнал, что с калмыцкого «самара» — это кувшин, чулок. И в самом деле, Волга у Жигулёвских гор делает неожиданный поворот, изгибается дугой, образуя нечто похожее на кувшин или чулок. Вот и получилась Жигулёвская Лука.

Все другие толкования слова «Самара» кажутся мне неправильными.

К тому же вспомни и Евангелие, когда Христос попросил самарянку у колодца Иаковлева дать ему напиться. Она приходит к колодцу с водоносом, можно сказать, что с кувшином. И он говорит, придёт время, что и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете пить Воду Живую, которую даст Он, воду, которая течёт в жизнь вечную.

Я пересказываю своими словами место из Евангелия от Иоанна.

Так и случилось: в других местах, а именно в России, вера во Христа утвердилась, потому что народ наш как раз и испил Воды Живой, которая не даёт жаждать вовек.

Речь ведётся о вере Православной, которая и привела нас сюда, к вам, нашим братьям, чтобы мы освободили вас от ига османов.

А Самария — это ведь территория, где проживало племя, которое было соседями с израильянами. Как мы соседствуем с Москвой.

Прости, что я пустился в столь подробные рассуждения. Но мне ещё раз важно было объяснить, где я теперь живу, не только тебе, но и себе. И почему именно у нас родилось Самарское

Зная, под которым мы бились вместе с тобой, которое не отдали врагу.

Здесь, наверное, промысел Божий, как говорят священники. Больше не буду вдаваться в общие рассуждения.

Расскажу тебе подробно всё главное о России и Самаре, когда мы с тобой будем идти и по улочкам нашим, сбегаящим к Волге, как ручейки; когда будем идти и по тропам Жигулей — расскажу о царе Фёдоре Иоанновиче, который приказал строить сторожевые города по окраинам России, ведь степняки нападали на нас, сжигали наши сёла, увозили в полон женщин и детей. Нам надо было защищаться, мы первыми никогда не нападали.

На юге таким городом 300 лет назад стала Самара, а первым воеводой у нас стал князь Григорий Засекин.

Расскажу тебе и об удалых людях, нападавших на купеческие струги, что везли товары по Волге. И как эти удалые люди в конечном счёте стали служить русскому царю, как покорили Сибирь, дойдя до Тихого океана и сделав нашу страну такой великой и необъятной.

А чтобы ты почувствовала наши просторы, мы с тобой поедem ко второй моей сестре, Любушке. Её муж, Виктор, инженер, хозяйственный человек. У него в селе Екатериновке земля, там выращивают пшеницу, рожь. Есть паровая мельница, он торговлю налаживает и всё ждёт, когда я остепенюсь и войду к нему в дело. Это в нижних отрогах Жигулей, вниз по Волге от Самары.

Но я, Албенушка, совсем другой человек по характеру. Я в мать, которая всегда была натурой поэтической. У неё небольшой, но красивый голос, она музицирует, вот этими её талантами и тихой красотой и пленился майор Тепляков, мой отец.

Так вот, у Любушки и Виктора однажды я тоже был счастлив.

Это было ночью. Я гостил у них. Спал на сеновале. Ночью проснулся от укусов комаров. Встал, чтобы намазаться мазью, которую мне дал Виктор.

Спустился по лестнице с сеновала, вышел во двор. Ночь ясная, звёздная, тёплая. И почему-то захотелось мне выйти за околицу. Вышел.

Боже!

Какая красота предстала предо мной!

За околицей лежало ржаное поле. Светила полная луна. Светло, дул лёгкий ветерок. Колосья ржи волнами пробегали по полю. И это качание — лёгкое, нежное, плавное, словно гладило душу.

Словно говорило сердцу: вот что такое красота.

Вот что такое твоя Родина.

Милая, я так и вижу, как мы с тобой стоим у околицы, и как стелется рожь под луной, и как наши сердца переполнены светом Любви.

Я мечтатель?

Да, конечно.

Но неужели эта мечта неосуществима?

Неужели?

Вчера я открыл Евангелие, которое на войну дала мне мама.

Открыл наугад, как это часто делала она, когда о чём-нибудь просила Господа.

И я попросил.

Открылось Первое соборное послание Апостола и Евангелиста Иоанна:

«И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы».

Глава двадцать шестая. Шипка, вершина славы

Август 1877 года

Софья Александровна сидела в самом конце операционной, у столика, на котором стояла масляная лампа. От неё на столик и рядом с ним ложился свет. Всё остальное пространство операционной погружено в темноту. Смутно белели лишь ближе к столику перевязки на головах раненых. Слышны сдавленные стоны, короткие вскрики да бормотанье спящих.

Софья Александровна привыкла к этим ночным звукам, и если бы они прекратились, она вряд ли бы почувствовала себя так, как сейчас, когда хоть ненадолго, но можно забыть в дрёме и отдохнуть. Раненых и увечных, конечно, меньше, чем под Плевной, но и здесь, на Шипке, где развёрнут полевой госпиталь, тоже приходится не спать ночами, безостановочно оперируя: схватки с турками, особенно жестокие, происходили всё чаще. Особенно сейчас, в начале августа.

— Госпожа доктор, — сказал кто-то, и Софья Александровна вздрогнула от неожиданности, открыла глаза. В круг света вошёл какой-то воин.

— Просили передать, — он протянул пакет.

— Кто?

— Господин литератор. Ведь вы госпожа Склифосовская?

— Да, — Софья Александровна взяла пакет. — Благодарю.

На пакете крупными буквами написана её фамилия, имя и отчество. Что это?

— Разрешите идти? — сказал воин из пластунов, которые время от времени пробирались сюда по горным тропам, не перекрытым турками. Пластуны доставляли сведения о том, что происходило на других участках войны. Этот прибыл из-под Плевны.

Лица пластуна Софья Александровна не успела разглядеть. Он скрылся в темноте так же внезапно, как и появился. Она вскрыла пакет и побранила себя за то, что не успела осведомиться о здоровье Теплякова. Но тут же успокоилась, прочитав первые строки письма, которое было приложено к небольшой тетради, вложенной в пакет:

«Дорогая Софья Александровна! — прочла она. — У меня к Вам сердечная просьба. Да, именно сердечная, по-другому не скажешь. Я решил довериться Вам, потому что знаю: Вы человек глубоко сострадательный, милосердный, мне это приходилось наблюдать, когда я лечился под Вашим и Николая Васильевича наблюдением. Поэтому я всецело полагаюсь на Ваше понимание и прошу Вашей помощи.

Всё дело в том, что я полюбил Албену, Вашу помощницу. И вот, выздоравливая, думая о ней, я решил ей сказать о своих чувствах. Но вышло поспешно, сумбурно. А когда у меня появилась возможность написать о том, что у меня на сердце, я высказался более внятно.

Если бы не было у меня пусть небольшой, но всё-таки уверенности в ответном чувстве со стороны Албены, я бы не стал писать эти письма. Решился ещё и потому, что война всё может окончиться даже завтра. Но в то же время в сердце живёт надежда, да такая сильная, что я и представить не мог, что буду верить в своё будущее, в своё счастье.

Удивительно, не правда ли? Я никогда не думал, что война так обнажает человека, его душу.

Я прошу Вас, дорогая Софья Александровна, прочесть мои письма Албене. Конечно, наши языки, русский и болгарский, схожи, но всё же они и отличаются. К тому же, я не уверен, может ли читать Албена. ведь я лишь приблизительно знаю ту среду, в которой она росла. Дали ей образование родители или нет, я не знаю. И потому обращаюсь к Вам за помощью.

Я в положении пушкинской Татьяны, которая писала Онегину: «Но мне порукой Ваша честь и смело ей себя вручаю».

Ваш Иван Тепляков, которого Вы вернули к жизни, залечив раны телесные, а теперь, верю, поможете залечить и раны сердечные».

Сон как рукой сняло. На её усталом лице появилась улыбка.

«Албенушка, цветок мой горный, неувядаемый», — прочитала она.

Невольно вспомнилась и своя любовь, и первые встречи с Николаем, и горячие слова, тогда произнесённые.

Она стала читать дальше, всё больше увлекаясь, всё больше радуясь за Теплякова, радуясь его искренности, силе чувства, которое он сумел выразить в письмах.

Дочитала письма до конца, аккуратно закрыла тетрадь, уложив её в пакет, который прислал Тепляков.

В палату уже пробивался утренний свет. Она встала и вышла из операционной.

Небо светлело. Вершины гор подсвечивались лучами солнца, которое вот-вот должно было появиться. Соседняя вершина святителя Николая, с небольшой снеговой шапкой, особенно выделялась, сверкая, как драгоценный камень. Рядом, западнее, — Лысая гора и Лесной курган, сейчас в нежной утренней росе.

В изумруде росы сверкала и Боковая горка.

Сейчас трудно, даже невозможно было представить, что пять дней подряд, захлёбываясь от пота и крови, люди здесь стреляли из пушек, ружей, били штыками, прикладами, камнями, чем попало, убивая и калеча друг друга. Тела убитых и раненых русские и турки убрали. Лысая гора, Лесной курган, Боковая горка, которые занимали то наши, то турки, сейчас выглядели чистыми, зелёными, словно ангелы потрудились за ночь, убрав мёртвые тела, умыв кровавые пятна и нечистоты.

Но эту тяжкую работу всё же сделали люди, которые сейчас, проснувшись, опять начнут смертоубийственную бойню.

Шипкинский перевал тянулся гребнем вершин, хорошо видный и с горы Святителя Николая, и с других высот. Стратегически место для расположения русских войск и болгарских дружин на Шипке выбрали неудачно, так как это место простреливалось и слева, и справа. Но так вышло: когда выбивали отсюда турок, когда взяли высоту, не успели как следует осмотреться. Скорей надо было закрепляться на этой вершине, которая и называлась Шипкой.

Софья Александровна сейчас не думала о правилах и стратегии войны. В этом восходе солнца над горами, в этом сиянии утра было торжество и красота жизни. И в который раз она подумала, что лишь Любовь даёт этой красоте раскрыться в полную силу, сиять вот так, как сейчас, наполнять сердце свежестью утра, его чистотой и совершенством под небом столь же просторным и чистым, как и душа, дарованная Господом от рождения всем людям.

И оттого показалось ей особенно нелепым, ужасным то, что делали люди на склонах этих гор. Уже тысячи сердец перестали биться.

И перестанут биться сегодня ещё сотни, может, и тысячи. Опять будет смертельная схватка. Потому что и нашим, и туркам нужен этот перевал. Нам — чтобы не пропустить турок на север, туркам — чтобы не пропустить русских на юг.

Кто овладеет Шипкой, тот и победит в этой войне.

Софья Александровна посмотрела туда, где из-за вершины горы Святителя Николая выглянул край солнечного диска. Она увидела, как пожилой болгарин снял меховую островерхую шапку и опустил на колени. Седая его голова, наполовину забинтованная, склонилась в поклоне после того, как он перекрестился.

«Это Перван, — вспомнила Софья. — Перван Нинов».

О нём рассказал другой болгарин, Пётр Берковский, ординарец генерала Николая Григорьевича Столетова. Рассказал удивительные факты из биографии этого человека. Оказывается, в молодости он ушёл к гарибальдийцам, дрался за свободу итальянцев. Когда узнал, что русские сражаются против турок, объединившихся с англичанами и французами, добрался до Севастополя. И там воевал, и за отвагу и смелость заслужил боевые награды и чин капитана. А когда началась война на Балканах, прибыл сюда. Да не один, а с сыном Ангелом.

Софья перекрестилась.

«Святитель Николай, скорый помощник в бедах и горестях наших, помоги нам! Помоги одолеть ненавистного врага, вымоли у Спасителя победу нашим! Столько крови пролито и сегодня опять прольётся. Моли Бога о нас, чудотворче!»

О том же молился и Перван. Только он произносил не краткую молитву ко святителю Николаю, а весь Акафист святому, которого почитал особо. Перван с детских лет выучился читать сначала Псалтырь, потом и Святое Евангелие. Не было для него ничего заветнее, чем слушать деда Ангела, который в доме своём тайно устраивал службы. Перван помогал ему, сам постепенно выучил, как служится и обедня, и вечерня. Туркам кто-то донёс про деда Ангела — убили деда. А Перван ночью ушёл из села, прятался в горах, взяв с собой священные книги и несколько икон, хранимые дедом Ангелом. Потом вернулся в родное село. Сходом сельчане выбрали его священником. Что поделаешь — такое время! До епископа из их села не добраться, да и как его найти — неизвестно. Потому и решили сами выбрать себе священника. Так и стали его звать — поп Перван. А в память о деде Перван назвал сына Ангелом.

Сейчас он читал из Акафиста молитву ко Святителю «О помощи и заступлении», потому что не ведал, вернётся ли из сражения сегодня. По его разумению эта молитва как нельзя лучше подходила сейчас, перед боем:

«О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моя, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твоё милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Перван встал с колен, ещё раз перекрестился. Увидел Софью, подошёл к ней, поклонился.

— Хорошо вы меня подлечили, Софья Александровна. Благодарствую.

— Надо тебя перебинтовать, Перван. Подойди к Албене, она уже встала.

— Не извольте беспокоиться, Софья Александровна. Нам сейчас опять драться. Если живой останусь, тогда и сменим повязку.

— Ну-ну, не думай так. Ты закалённый боец. И за сыном гляди. Чтобы в пекло боя не лез.

— Спасибо. Постараюсь. А я святителя Николая ещё попрошу, чтобы он вас сберёг. И мужа вашего, дай Бог ему здоровья и сил.

Софья не удержалась и спросила:

— А правда, Перван, что ты священник?

— Да какой я священник, коли капитаном стал. И с оружием воюю. Эх, всё перепуталась в нашей жизни. Прогоним турка, поеду в Софию. Буду каяться, буду просить епископа меня рукоположить. Вот тогда и стану настоящим священником. А пока я — поп Перван, так меня наши зовут.

Он улыбнулся. Широкое лицо его, с пышными усами и бородой, вся его кряжистая, основательная фигура выражала сейчас некую растерянность за то положение, в которое поставила его война:

— Простите великодушно, Софья Александровна. Да что поделать — надо воевать!

— Тебя Бог простит, и ты меня прости.

Они поклонились в пояс, троекратно приложились щеками друг к другу и разошлись: она — в операционную, он — на свою боевую позицию.

Солнце уже поднялось, осветило наши пушки, солдат, занявших места, — кто за выступом камня, кто в окопчике — приготовленные ещё несколько дней тому назад. Воины проверяли ружья, пушки, считали снаряды, патроны.

— Ну что, Фёдор Фёдорович, давай обнимемся по русскому обычаю. Вон, идут уже. Опять полезут в лобовую, — сказал Николай Григорьевич Столетов.

— Пусть лезут, подлецы. Мало им вчера всыпали. Ещё всыплет, — отозвался генерал Радецкий, командующий всей обороной.

Они обнялись со Столетовым, который командовал нашим отрядом и болгарскими ополченцами на этом участке обороны.

— Братцы! — крикнул Радецкий. — Это место неслучайно называется Орлиным гнездом! Потому и вы — орлы! Орловские, брянские, самарские! И братья наши болгары! Все орлы!

Он передохнул, снова набрал воздуха в лёгкие и крикнул:

— Самарское знамя развернуть! Укрепить его так, чтобы оно реяло над нами до победы! К нам идёт на подмогу Волынский полк. А пока мы дадим по шее и по морде подлецам, которые опять на нас прут. Покажем им дорогу в ад! Огонь!

Дали первые залпы пушки. Турки шли по склону горы, пригнувшись. Первые их ряды уже стали карабкаться по каменистым отрогам. В них-то и дали ружейные залпы русские и болгары.

Места убитых тут же занимали шедшие следом, и вал нападающих не уменьшился.

— Огонь! — опять скомандовал генерал Радецкий, и ряды турок выкосили снаряды и пули.

Фёдор Фёдорович Радецкий не в первый раз принимал на себя атаки противника. Его боевой путь до генерал-лейтенанта пролёг по крутым дорогам Кавказа, Дуная. И всюду отмечен храбростью и воинской умелостью. Вот и здесь, ведя своих солдат от линии обороны со стороны Ловчи, спеша на выручку Столетову, у которого всё меньше оставалось защитников, а к туркам всё прибывали и прибывали подкрепления, Фёдор Фёдорович посадил своих солдат по двое на казацких лошадей. Этот неожиданный маневр помог быстрее прийти на выручку. Жара стояла изнурительная, да и от трёхдневных боёв болгарские ополченцы и русские изнемогли. Турки уже взяли Боковую горку и гору Лысую, когда подошли воины Радецкого. Впереди, с саблей наголо, сам генерал. С ходу вступили в бой, выбили турок и с Лысой горы, и с Боковой горки.

Теперь Радецкий и Столетов бились вместе, защищая Шипку с разных сторон.

Турки продолжали атаковать и в лоб, и с Лесного кургана.

Орлиное гнездо защищали орловцы, брянские. У Знамени бились, как и под Стара-Загорой, самарские и болгары.

По краям Знамени были дыры от пуль. Но образ Иверской Богоматери с Христом-Младенцем на руках оставался не тронутым ни картечью, ни пулями.

Лишь на ланите Пречистой отчётливей стала видна струйка крови.

По преданию, когда воин-богоборец ворвался в дом благочестивой женщины, где хранилась икона, и ударил в икону копьём, по щеке Богородицы пролилась тоненькая струйка крови. Ошеломлённый чудом, воин упал на колени и бросил копьё. Позже он стал проповедать Христа.

Так и сейчас. Струйка на щеке казалась не вышитой красными нитями, а живой кровью. Богородица будто снова пролила свою кровь, чтобы дать силы и крепость православным.

И образ святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей всех славян, также оставался нетронутым на оборотной стороне Знамени.

Святители подняли над собой Крест, защищая героев битвы. Жара опять под сорок градусов.

Самарские крючники, те самые, что стояли на склоне Волги, провожая Самарское Знамя, бились теперь здесь, со стороны горы святителя Николая. Одного, под два метра ростом, звали Зосимой. Другого, пониже, но столь же рукастого и крепкого и плечом, и кулаком, звали Проном. Патроны у них кончились, приклады ружей уже обломали о головы в красных фесках. И потому ружья уже не годились для рукопашной и были отброшены.

Дрались самарцы камнями, вывороченными из каменистых глыб, иногда и кулаками.

Кители у них расстёгнуты, фуражки сдвинуты на затылок, волосы слиплись от пота.

— Каменюга у тебя слева! Хватай, Пронька!

— Да и эта ничего! — Прон со всего маха ударил турка, который замахнулся на него прикладом ружья.

— Ишь, чего удумал!

Турок шёл на Зосиму в штыковую.

Зосима поднял глыбу над собой и метнул её двумя руками.

— Лови!

Рукопашная кипела и там, где бился Перван со своим сыном Ангелом и другими ополченцами.

Перван отбивался прикладом ружья, бил штыком. Этому он выучился ещё в молодые годы, когда сражался вместе с гарибальдийцами.

Ловко бился и Ангел, переняв приёмы у отца.

Но силы его оставляли.

Ополченец Драган заметил это. Прикрыл Ангела, отбив штыковой удар.

— Перван! Сын! — крикнул он.

— Вижу! Ангел, передохни!

Но юноше стыдно было выходить из боя.

Перван встал впереди сына. Ружьё его сломалось от удара об голову турка. Он наклонился, ища камень.

И в это время штык вонзился в грудь Ангела.

— Ах ты подлюга! — Перван со всего маха обрушил удар на голову турка.

Подхватил Ангела на руки, оттащил в глубину обороны.

Глазами искал кого-нибудь из санитарок.

А сердце холодело от ужаса.

Потому как Ангел предсмертно закатывал глаза.

— Сынок, да что ты! Сынок!..

На выручку уже спешила Албена.

Она подхватила Ангела. Вместе с Перваном понесли его к операционной.

Но душа Ангела уже отлетела туда, к вершине горы Святителя Николая.

Зосима продолжал крушить врага каменюгой, которую выворотил из склона.

Не отставал от него и Прон.

Крушили врага и ополченцы.

Трупы усеяли весь склон горы у вершины Орлиное гнездо.

И лишь тогда турки прекратили лезть на нашу оборону.

И на Боковой горке бой затихал.

Отдыхались. Глянули вокруг. Стали поднимать раненых, потом убитых.

Все высоты остались нашими, кроме Лесного кургана.

И только сейчас заметили, что солнце уходит за вершины гор.

Глава двадцать седьмая. Русская силушка

Плевна, 28 ноября 1877 года

Утро выдалось туманное, холодное. Воздух, весь пропитанный влагой, закрывал всё поле перед русской позицией, где турки вырыли рвы, и где уже не один раз находили смерть и наши, и вражеские воины.

А за полем, на возвышенности, находилась сама крепость.

В это раннее туманное утро из ворот крепости вышло около сорока тысяч турецких воинов, ведомых Осман-пашой.

Они, обложенные со всех сторон, вышли на решительный прорыв.

Несмотря на туман, наши сторожевики ракетой дали предупредительный сигнал о наступлении врага.

Ракета прорвала туман, взвившись в небо.

И сразу ожил лагерь русских бойцов.

Здесь, на восточной стороне осады Плевны, командующий отрядом генерал Иван Степанович Ганецкий ждал атаки турок всякий день. И потому дивизии его находились в полной боевой готовности. Быстро стал строиться в боевые порядки Гренадёрский полк.

Иван Тепляков услышал сигнал трубача и дробь барабанов и тут же встал со своей лежанки в хижине пастуха, вышел из неё. Сквозь туман увидел, что от палаток бегут воины к своим боевым порядкам.

«Началось, — подумал он. — Началось!»

Сон, тревожный и чуткий, был не только у него. Все воины, от генералов до рядового, находились в ожидании события, которое вот-вот должно наступить.

Потому что Плевна оказалась блокированной со всех сторон и наши ждали решительного наступления турок в любое утро.

...С Севера, от Рушука¹, на границе с Румынией, турки нанесли неожиданный и смелый удар, и наши, неся потери, отступили. Если бы это войско под командованием Сулейман-паши пробилось к Плевне, то русские были бы отрезаны от Дунайских переправ и войско неприятеля пришло бы на выручку осаждённой турецкой крепости. Окрылённый успехом, Сулейман-паша решил дать бой русским у села Мечка.

Его встретил отряд под общим командованием цесаревича Александра Александровича, будущего императора. Двадцать восемь тысяч русских осознавали, что надо биться насмерть, но не пропустить врага. Главный удар турецких войск, превос-

¹ Рушук — современный болгарский город Русе. Именно под Рушук-ом в 1811 году проявился полководческий талант Михаила Кутузова, который тактикой, повторённой в 1812 году, заманил противника на правый берег Дуная, будто бы сдавшись, скрыто обошёл его с фланга. И заманив в ловушку врага, наголову разбил его.

ходящих наши почти на двадцать тысяч солдат, пришёлся по позициям корпуса под командованием великого князя Владимира Александровича, младшего брата цесаревича. Они знали, что к стенам Плевны пропустить врага нельзя.

Нужна только победа.

Около тысячи воинов полегли у Мечки.

Но турки потеряли втрое больше.

Сыновья государя императора проявили и храбрость, и полководческий талант, в особенности Александр Александрович.

Видимо, будущий император увидел в этом сражении столько смертей, что за время своего правления не вёл ни одной войны, лишь постоянно укрепляя свою армию и флот.

В двадцати верстах от Плевны, у местечка Горный Дубняк, произошло ещё одно крупное сражение. Село было сильно укреплено турецкими войсками и отрезало нашим дорогу на Софию. А туркам оттуда шли подкрепления войсками и продовольствием.

Господствующая высота на холме занята врагом. Поле изрыто ямами, чтобы не дать наступать кавалерии. Уставлены пристрелянные кучи хвороста. Наступающие видны как на ладони.

Ахмед-Хивзи-паша, как и Сулейман-паша, не сомневался в успехе.

Высоту предстояло брать генералу Лаврову, Василию Николаевичу. Он понимал, что от его действий зависит исход сражения.

Шесть раз генерал вёл своих героев на приступ высоты. Вёл сам, впереди всех, с саблей наголо.

В шестой раз всё же взяли высоту.

Но две пули попали в грудь генерала.

Его поддерживал, умирающего, рядовой Колпаков.

— После победы, прошу тебя, навести жену и дочь. Поддержи их, Колпаков, друг мой.

И Колпаков дал слово. После войны поехал в имение Лавровых, остался служить у вдовы генерала старостой.

Но это было потом, а сейчас наши взяли Горный Дубняк. Заносчивый Ахмед-Хивзи-хан попал в плен, а с ним пятьдесят три офицера, две тысячи двести тридцать пять нижних чинов.

Турки в этом сражении потеряли более двух тысяч человек.

...С Юго-Востока в это же утро атаковал Плевну генерал Скобелев. Как обычно, на белом коне, в белой генеральской фуражке с красным кантом.

Проведена мощная артподготовка. Выстроены пехотинцы в боевой порядок. Развёрнуты знамёна. Трубят трубачи, бьют барабаны.

Сбылась мечта Иванко. Он бьёт в барабан, стоя рядом с Иваном Солоничкой, и знамя реет над ним.

Иванко идёт в бой. Идёт сражаться за убитого отца, растерзанную мать.

Идёт сражаться за родную Болгарию.

И пули его не берут, как и любимого Белого Генерала.

Скобелев выхватил из ножен шашку. Поднял её над головой. Он предпочитает сабле шашку, потому что лезвие у эфеса шашки утяжелено, что позволяет применять её как рубящее оружие. Шашка не нужна для фехтующих ударов, она рубит врага сразу, с лёта.

Скобелев владение шашкой и боевые приёмы перенял от казаков.

— Братья! — крикнул он, хорошо видный всем воинам, вплоть до последних рядов, до самого маленького по росту солдата, который в эту минуту ощущал себя именно братом генералу. — Братья! Много нас полегло у этой крепости, но всё равно мы возьмём её! Не посраим памяти павших! Турки идут из последних сил! Главное, братья, мы идём в этот бой побеждать, а не умирать! Потому что с нами Бог! С нами его сила и правда! Вперёд! Ура!

И громовое ура грянуло в русских рядах.

И двинулась русская рать вперёд, за своим генералом.

У Скобелева на вооружении теперь английские ружья, захваченные после победы под Ловчей. Так что по дальности стрельбы из ружей возможности сходящихся сторон одинаковы.

Падают русские и болгарские воины. Но их место сразу занимают идущие следом.

Кто может остановить эту силу?

Никто.

Потому здесь всё решает штыковой бой, рукопашная схватка.

Скобелев рубил своей шашкой и вправо, и влево, направляя коня туда, где, тоже конный, вёл вперёд своих солдат какой-то то ли бек, то ли паша. Михаил Дмитриевич предположил, что это видный военный начальник. Конь послушно нёс своего седока вперёд, приученный к боевым атакам. Скобелев ни минуты не находился на одном месте, и пули летели мимо, словно ударяясь о невидимую преграду. Да и тех, кто целил в генерала, быстро находил то штык солдата, то сабля офицера.

Ряды турок стали ломаться.

Шаг за шагом, коля, рубя, погибая, но круша врага, наши продвигались вперёд и ворвались в крепостные ворота с юга.

Осман-паша, командующий всем плевенским гарнизоном, предвидел, что Скобелев может прорвать оборону с юга. И основные свои силы повёл за собой, с севера, идя впереди.

Осман-паша верил, что именно здесь он и прорвёт кольцо русских войск.

Напрасно.

Не знал паша, что такое русский гренадёр.

Самые сильные, самые рослые отбирались в гренадёры. Отбирались со всей России. Со времён Екатерины Великой, когда носили островерхие шапки с меховой оторочкой и с медными пластинами впереди. С той поры, когда они носили и гранаты, то есть гранаты, которые бросали во врага, прежде чем сойтись в штыковую. С той самой поры и пешие, и конные гренадёры были славой русского воинства.

И эту славу хранили воины, сейчас идущие навстречу отборному турецкому войску. Одеты они иначе, чем екатерининские гренадёры, форма более простая и удобная для боя, без прежней помпезности и нарядности. Китель зелёный, шинель в скатке, шаровары заправлены в сапоги, шапка круглая, наподобие русской боярки, с медной эмблемой спереди, ранец за спиной. Патроны наперечёт: стрелять надо редко, но метко. Главная ударная сила — штык, примкнутый к ружью для разящего удара.

Командующий Гренадёрским корпусом генерал Иван Степанович Ганецкий по духу являл собой тип суворовца. И потому был расположен к Скобелеву, в состав отряда которого вошла пехотная дивизия и три полка Михаила Дмитриевича.

Ганецкий и Скобелев, несмотря на разницу в возрасте (Ганецкому было шестьдесят семь, а Скобелеву — тридцать четыре), являли собой один и тот же тип русского воина. Хотя Ганецкий по рождению был поляк, а Скобелев — русский. Иван Степанович происходил из смоленских дворян. Отец его, боевой офицер лейб-гвардии Семёновского полка, выйдя в отставку, отдал сына в кадетский корпус, окончив который, Иван был выпущен на службу прапорщиком, добывая каждое последующее воинское звание, как и отец, храбростью в бою и верностью Царю и Отечеству. Россия для него стала Родиной, как и для немца Тотлебена, для украинца Гурко.

Все они, боевые генералы, шли в решительный бой, потому что понимали: необходимо побеждать. Не сокрушив Плевну, не выиграть войну. Не добыть то, ради чего они пришли сюда. Военная кампания, рассчитанная на три месяца, слишком затянулась, и уже раздавались голоса, не пора ли её остановить.

Великий князь Николай Николаевич Старший предлагал отойти за Дунай. Его некоторые штабисты поддержали.

Это бы означало поражение, гораздо более тягостное, чем в Крымскую войну. Там всё же проиграли против объединённых сил противника.

И все, от государя императора Александра II и боевых генералов до рядового солдата, объединённые одной верой, были готовы умереть, но не отступать, а победить.

И неважно, какой национальности был каждый воин русской армии.

Важно, что это было Православное войско, которое вышло на битву, чтобы выполнить Завет Христа Спасителя: положить душу свою за други своя.

...Туман постепенно рассеивался, и вот показались смутные, как будто размытые белыми, словно ватными, полосами, ряды турецкой пехоты.

Сомкнули ряды русские воины.
Закипел бой.

Силушка русская!
Откуда ты берёшься?
От просторов ли твоих полей?

От широты ли твоих рек?

От неоглядности твоих лесов?

От того ли, что рязанские, ярославские, костромские, сибирские мужики не боялись с рогатиной выходить на медведя?

А то и в обнимку схватывались с ним, и сокрушали его.

По всей Руси неоглядной росли твои богатыри.

Какой край ни возьми — всюду найдёшь твоих героев, Русь.

Вот и на Волге, главной твоей улице, там, где она делает крутой поворот, названный Самарской Лукой, шли по берегу бечевой бурлаки, тянули против течения баржи с разными грузами. Волга здесь бурливая, быстрая, и не могли вытянуть баржи самые опытные и сильные бурлаки. Тогда звали хозяева грузов из соседнего селенья, которое так и называлось — Богатырь, молодых парней, которые брались за бечеву и вытягивали самые тяжёлые баржи.

А разве у пахаря твоего, Русь, меньше силы? Разве не от зари до зари шёл он за плугом и только радовался работе своей, которая и давала ему силы.

А ещё брал он свои главные силы, молясь, веря, что служит Богу, а значит, и Отечеству Земному, и Небесному.

Потому и нет такой силушки, что бы одолела русскую силу!

— Вашество, господин генерал, господин генерал!

В мундире, обрызганном кровью, в фуражке, сдвинутой на затылок, к Ганецкому, взрывной волной выбитому из седла, на коне пробился совсем молодой поручик.

Фамилию его генерал не помнил.

— Что?

— Вы ранены! В лазарет, срочно!

— Да подожди... Как будто бы ничего...

Он постепенно приходил в себя, полулёжа на взгорке.

Поручик увидел, что в генерала целит какой-то турок, и рванул коня вправо, давая попавшихся под копыта врагов.

Иван Степанович ощущал себя, понял, что руки и ноги целы. Снял фуражку, расстегнул на груди мундир.

— Дай-ка руку, — сказал он поручику, спрыгнувшему с коня и подошедшему к нему. — Контузия, ничего...

— Слава Богу. К доктору, Иван Степаныч.

— Вот только в ушах звенит... Но бой-то не кончен.

— Всё идёт хорошо! — громче сказал поручик, поняв, что Ганецкий плохо слышит. — Побеждаем!

— Сейчас я, сейчас, — Ганецкий покачнулся, поручик поддерживал его.

— К доктору, Иван Степаныч! — снова сказал поручик.

И, видя, что Ганецкий и не собирается уходить, и что ранения у него нет, обратился к подсказавшему на коне адъютанту генерала:

— Доктора прислать сюда. А мне надо туда, — он показал в сторону, где не затухала битва. — Ну, я пошёл, Иван Степаныч.

— Иди, иди, и я сейчас пойду, — ответил Ганецкий.

Опытному взгляду было заметно, что наши войска прилично оттеснили турок и недалеко уже стены крепости.

Нужен решительный бросок!

На подмогу сибирякам-гренадёрам подошли гренадёры малороссы.

— Братцы украинцы! — крикнул Егор Жданов, могучий сибиряк. — Ещё немного! Мы ломим! Они выдохлись!

— Коли!

— Руби!

— Круши!

— А-а-ах!

— Ы-ых!

— На!

— А-а-а-а-а!..

— А-а-а-а!

Егор пробился к турецкому знамени и вырвал из его рук знамя. Ошеломлённый турок сопротивлялся, но, получив штыковой удар, рухнул.

Конный турецкий генерал, а это был Осман-паша, вскрикнув от боли, лёг на круп коня. Пуля попала ему в ногу. Адъютант, видя это, развернул коня к стенам крепости.

Осман-паша не сопротивлялся, что его уводят с поля боя.

Видя, что флаг повержен, а командующий отступает за стены крепости, направили коней в укрытие и другие турецкие офицеры.

Побежали и турецкие солдаты.

Над центральной башней крепости Осман-паша приказал вывесить белый флаг.

Глава двадцать восьмая. У императора

Плевна, 29 ноября 1877 года

Под Плевной находилась ставка государя императора Александра II, штаб командующего всеми войсками великого князя Николая Николаевича Старшего. Здесь же расположился и штаб командующего Восточным отрядом генерала Ганецкого.

Для временной резиденции государя императора подыскали особняк с несколькими просторными комнатами и высокими окнами. Здесь Александр Николаевич со своими свитскими решил, чтобы ему представили пленного Осман-пашу.

Государь знал, что Осман-паша вчера, при сдаче Плевны, отдал свою саблю генералу Ганецкому. Знал, что видный турецкий военачальник сам участвовал в решающем бою, ранен, и что ему оказана необходимая помощь. Сражался храбро, предстояло оказать ему подобающие по европейским правилам ведения войны почести. Был и просто человеческий интерес к личности Осман-паши.

Его ввели в просторную комнату два офицера — один наш, один турецкий. Руки Осман-паши были закинута на их плечи, правой, раненой ногой он едва касался пола.

Александр Николаевич вышел на середину комнаты.

Стройный, в мундире с орденами, с саблей на левом боку, он являл собой сейчас помимо воли статную фигуру победителя. Русые волосы причёсаны, густые усы, бакенбарды по щекам — всё в императоре без претенциозности и вычурности.

Осман-паша, тоже немалого роста, но из-за ранения согнутый, поневоле смотрел на русского императора снизу вверх. Он был в феске, в парадном мундире, но вид имел совсем другой, чем тот, на поле боя. Но и в нынешних условиях Осман-паша знал, как подобает себя вести даже побеждённому.

Внешне отдать почести русскому царю, умеренно польстить, но показать и готовность к ответному удару. Крепость хотя и сдана, но исход войны впереди. Великая Турция не побеждена и никогда побеждённой не будет.

И эта мысль ясно выражалась во взгляде Осман-паши, какие бы слова он ни произносил.

Говорил он не как азиат, а как европеец, что подчёркивал его безупречный английский язык.

— Благодарю вас, государь, что удостоили меня приёма. Отдаю должное вашему великодушию. О чём будет всемилостивейше доложено нашему великому султану.

Александр Николаевич кивнул.

— Доложите, что и тридцать две тысячи пленных ваших воинов будут содержаться по правилам военного времени. Будут отпущены домой при условии освобождения тех пленных славян, которые томятся в плену у вас. Мы не стремимся к покорению вашей страны. Хотим лишь свободы братьям-славянам.

— Вам немало предстоит сделать для этого, государь. Земли, где уже не один век живут турки, они привыкли считать своими и так просто их не отдадут.

— Нам это хорошо известно. И всё же передайте султану: мы не желаем кровопролития. Правильно было бы, что бы вы добровольно освободили балканские земли.

— Я, конечно, передам, государь. И скажу, что вы храбрый воин. И войско у вас храброе. Но всё же вам ещё предстоит перейти Балканские горы, которые уже сейчас покрыты снегом. А зимой они будут непроходимы. У нас достаточно войска и достаточно времени, чтобы к нам подошли подкрепления от Софии и Адрианополя. Ваши войска еле-еле держатся на перевале Шипка и на днях будут оттуда сброшены. Ваши генералы хорошо знают, что война ещё вся впереди.

Государь выслушал эти слова спокойно. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Голубые глаза рассматривали Осман-пашу, казалось, бесстрастно. На самом деле государь хорошо понял скрытую угрозу, которая прозвучала из уст пашы.

— Я знаю, что предстоит сражаться. Мы не боимся воевать. И, как видите, воевать умеем. Идите и скажите это султану. Саблю вам вернут как храброму воину. Но лучше всё же держать её в ножнах.

Государь слегка наклонил голову, давая понять, что приём закончен.

Осман-пашу увели.

— Однако, — сказал великий князь Николай Николаевич Старший, присутствовавший на этом приёме. — Видите, государь, они нисколько не сомневаются, что победят. Их можно победить только силой оружия.

— И правильной стратегией ведения войны. Эдуард Иванович, — государь посмотрел в сторону генерала Тотлебена, показывая этим, что осада, предложенная и разработанная им, удалась и он высочайше это одобряет. — Я благодарю вас, генерал, что ваша мудрость принесла победу, такую долгожданную.

— Но её бы не было, если бы наши войска не сражались бы с такой отвагой и таким мужеством, — ответил Тотлебен, глянув на Ганецкого, тоже находящегося здесь.

— Разумеется. Вы, говорят, контужены, Иван Степанович? Как же пришли? Как себя чувствуете?

— Как нельзя лучше. Хоть краковяк плясать готов, — и Ганецкий широко улыбнулся.

И в самом деле, по его виду, по усам, лихо закрученным, по с иголки вычищенному и ладному мундиру с орденами на груди никак нельзя было узнать того Ганецкого, который ещё вчера, оглушённый рядом разорвавшимся снарядом, сидел на взгорке с растрёпанными волосами и расстёгнутым на груди кителем.

— Иван Степанович, вы проявили и мужество, и героизм. И заслуживаете награды¹. Да и все остальные, господа-генералы, — государь обвёл взглядом собравшихся. — Вы позаботьтесь об этом, Николай Николаевич. Надо отметить всех, кто, не щадя ни себя, ни врага, сражался и победил.

— Слушаюсь, ваше величество, — командующий слегка поклонился.

— Позволительно назвать эту победу исторической, — сказал Тотлебен. — Думаю, что и Осман-паша понял это. Хотя и предупредил нас, что война вся впереди, но главный этап её можно считать пройденным.

— Хотелось бы верить, что это так, Эдуард Иванович. Господа, сегодня к вечеру надо определить дальнейший план действий. Сумеем?

¹ Только Гренадёрскому полку, под командованием генерала Ганецкого за взятие Плевны император Александр II пожаловал нижним чином 105 Георгиевских крестов, а также повелел представить к наградам всех офицеров. 14 июня 1878 г. грамотой Александра II полку пожалованы три Георгиевских знамени в 1-й, 2-й и 3-й батальоны с надписью: «За разбитие и пленение турецкой армии под Плевною 28-го ноября 1877 года». Кроме того, сибирские гренадёры заслужили особый знак отличия на головном уборе с надписью «За отличие».

— Не сомневайтесь, ваше величество. Скобелев, Михаил Дмитриевич, уже предлагают один смелый план. Рискованный, правда.

— Ну, его планы всегда на грани возможного, — иронически заметил Николай Николаевич. — Обсудим, ваше величество.

— И не забудьте представить его к награде. И в чине повысить¹. Ведь его действия как не назвать героическими.

— Конечно, — согласился Николай Николаевич. — Я не ставлю под сомнение его храбрость. Но ведь и лишнего риска следует избегать, если он не требуется.

Император, зная, что есть генералы, болезненно воспринимающие успехи Скобелева, считающие, что порой он действует безрассудно, не стал продолжать это обсуждение и завершил приём.

Генералы откланялись и разошлись по своим квартирам. Ганецкий приказал адъютанту разыскать Скобелева и пригласить к себе. Михаил Дмитриевич и сам искал встречи со своим командующим.

Они встретились в небольшом доме, где расположился Иван Степанович. Скобелев уже отдал приказы своим воинам захоронить убитых, отправить раненых в полевой госпиталь, накормить живых и дать им указание готовиться к завтрашнему выступлению. Он понимал, что надо развивать наступление обязательно: таков был один из его главных тактических принципов ведения войны.

И Ганецкий это хорошо знал.

Уселись обедать, выпили по чарке, припасённой адъютантом Ивана Степановича для особых, торжественных случаев, и только после этого перешли к разговору о дальнейших действиях.

— Ну, как твой глазомер, Михал Димитрич, рассказывай, — Ганецкий, хорошо осведомлённый, что разведке Скобелев отдаёт первостепенное значение, начал с суворовского принципа определения начала дальнейших действий.

— Глазомер не скажу, что очень хороший, но достаточно убедительный. Никак не ожидал такой помощи, прямо тебе

¹ Скобелев был произведён в генерал-лейтенанты и награждён одной из высших наград — орденом св. Анны 2 степени. Было ему тогда 34 года.

скажу. Болгары! Понимаешь, сами меня нашли и объясняют, как лучше перевалить через Балканы. Проводников дают. А какая радость на лицах, что мы турок побили. Ты бы видел!

— Так что же они к тебе пришли, а не ко мне?

— А, ревнуешь! — Скобелев дружески засмеялся. — Я тут в сторонке. Это мои пластуны-казаки постарались. Их заслуга.

— И что?

— А вот что. Я думаю, вполне можно им доверять. Люди местные. Тропы знают. Надо решиться идти через горы.

— Так ведь снег непролазный. Осман-паша предупреждал.

— Мало ли! А болгары говорят, можно пройти. Да и сам подумай. Если здесь оставаться до весны, турки новую Плевну соорудить успеют. Опять всё повторится. Опять наших тысячи полягут. Да и на Шипке наших турки удавят числом. Успеют войска подтянуть.

— Давай карту посмотреть. Ты ведь её принес?

— А то как же. Давай и болгар позовём. Один из них больно хороший — такой основательный старик.

— Старик?

— Ну да. Мудрость, она с годами приходит, чего ты удивляешься. А молодые у них в горах — они и будут нас вести.

— Ты, я гляжу, уже всё определил.

— Где там всё. Так, в общих чертах.

Ганецкий кивнул адъютанту, чтобы тот пригласил болгар. Их было двое. Один, по виду старик, с вислыми седыми усами, седой головой. Но спина его прямая, взгляд твёрдый, во всём облике уверенность в своей силе. На самом деле ему не было и пятидесяти — это перенесённые испытания наложили свой отпечаток и на его облик.

Звали его Атанас.

Второй, бритоголовый, с большущими усами, торчащими, как пики, выставленные влево и вправо, выглядел моложе, хотя тоже возраст его был как и у Атанаса. Его звали Димитар.

Ганецкий пригласил болгар подойти к карте.

— Вот, смотрите, братия, — начал он. — Мы намереваемся перейти Балканы сейчас. Где это лучше всего возможно?

Седая и бритоголовая головы склонились над картой. Иван Степанович сомневался, сумеют ли болгары прочесть карту. Скобелев тоже.

— Вот здесь, — после некоторых раздумий показал на карте Атанас. — Этот перевал пройти трудно, но можно.

— И с пушками? — спросил Скобелев, прямо глядя в глаза Атанасу.

— И с пушками. Наши тропы знают. И вас проведут.

— Уверен?

— Я сказал, будет тяжело. Идти не один день. Ночевать в горах. Снега будет по пояс. Наверху мороз.

— Это нам не страшно: к морозам и снегу привычны. Ты лучше скажи, пушки протянем? Хотя какая-то дорога есть?

— Есть. Но её надо чистить, — Димитар показал руками, что снег придётся разгрести, чтобы пройти. — Трудные места. На западе и на юге — лучше. Там горы ниже, — он опять показал руками, чтобы лучше его поняли. — Там наши дороги исправляли. Чтобы вам легче пройти.

— Ага, — Скобелев улыбнулся. — Там гайдуки помогают?

— И гайдуки, и сербы, — подтвердил Атанас. — Воеводы Панайот Хитов, Цеко Петков. Храбрецы. Верные друзья.

— Знаю, слышал о них, — сказал Ганецкий.

— Боевые друзья, — уточнил Скобелев. — Ещё при переправе Дуная о них узнал. Ваши дружины и на Шипке есть.

— Знаем, — подтвердил Димитар. — И новые бойцы туда идут.

— Славно, — Скобелев опять стал рассматривать карту. — Перевал как называется?

— Иметлит, — сказал Атанас.

— Ага, тут написано: «Иметлийский». Интересно, что это значит?

— Да какая разница, — Скобелев выпрямился, дружески посмотрел на Атанаса и Панайота. — Наши воины переходили и через Альпы, знаете это? Про Суворова слышали?

— Нет.

— Ну ничего, узнаете. Нам великий русский полководец завещал науку побеждать. Вот мы здесь эту науку туркам и преподадим. Вместе. Так, братья?

— Так, — согласились болгары.

К вечеру, как и просил император, генералы явились к нему в ставку уже с готовым планом. Предстояло лишь этот план утвердить.

Александр Николаевичу уже доложили, что предполагается перейти Балканы тремя флангами — под командованием генерала Гурко по направлению к Софии и Адрианополю, генералу Кравцову — на Западе и здесь, в центре, Скобелеву и Святополку-Мирскому спуститься через Балканы к деревне Шейново, чтобы затем идти на помощь защитникам Шипкинского перевала. Знал император и о том, что Иметлийский перевал может быть завален непроходимыми снегами, о чём предупреждал не только Осман-паша, но и наши генералы, осведомлённые разведкой и рассказами болгар, хорошо знающих местность.

Перед заседанием государь отвёл Скобелева в отдельную комнату, чтобы поговорить с глазу на глаз.

— На тебя, Михаил Дмитриевич, возлагаю почти невыполнимую задачу, — сказал император, глядя Скобелеву прямо в глаза. — Понимаю, что такое взять перевал. Но знаю, что отважней и надёжней тебя у меня никого нет. Поэтому верю, что именно ты справишься с самым трудным делом. И выручишь наших, которые героически держатся на Шипке.

— Не сомневайтесь, ваше величество. Справимся.

Он уже хотел откланяться, но император остановил его:

— Михаил Дмитриевич, к завтраку тебя не приглашаю. Потому что и без того у тебя много завистников. А будет ещё больше, если приглашу тебя.

— Понимаю, государь. А на завистников стараюсь не обращать внимания.

— И правильно делаешь. С Богом. Помни, что я высоко ценю тебя.

Скобелев отдал поклон и вышел.

Глава двадцать девятая. Перевал

Август-ноябрь 1877 года

Потери Передового отряда Столетова, куда входили и батальоны болгарских ополченцев, опять оказались велики. Решили отвести отряд на переформирование к основным силам.

На подмогу пришёл Волынский полк. Русская армия на Шипке за август усилилась шестью дивизиями и одной стрелковой бригадой — всего наших воинов теперь насчитывалось

восемьдесят пять тысяч. Это дало возможность Фёдору Фёдоровичу Радецкому образовать резерв.

Но за шесть дней боёв на Шипке потеряли более трёх тысяч убитыми. Турки в два раза больше — около семи тысяч.

Вместе с отрядом генерала Столетова с Шипки уходила и основная часть полевого госпиталя: раненых оказалось слишком много. Их сопровождал Николай Васильевич Склифосовский и Софья Александровна. Взяли они с собой и Албену.

Софья Александровна выполнила просьбу Теплякова и прочла Албене его письма. Это произошло поздно вечером, накануне ухода с Шипки, когда выдалось время отдохнуть после ухода за ранеными и сборов в дорогу.

Девушка старалась не показать, как она воспринимает признания Ивана, но сердцу, как говорится, не прикажешь. Она то поправляла платок, то суконную чёрную жилетку, вышитую цветным узором, то замирала в испуге, отводя глаза.

Они сидели в той части палатки, которая была отгорожена от раненых простыней, где находилась кровать Албены и сколоченный из досок небольшой столик с полками под столешницей для немногих её вещей. Пламя свечи освещало смуглое лицо девушки, на котором сейчас проступало смятение, перемешанное с удивлением и нежданной радостью, особенно заметной по её глазам.

За всё время, что девушка находилась в госпитале, она научилась понимать русский язык. Но всё же Софья Александровна время от времени прерывала чтение и взглядывала на Албену, проверяя, всё ли она поняла. Глаза девушки говорили лучше всяких слов, и чтение продолжалось.

Но вот прочитано последнее письмо. Софья Александровна передала тетрадь Албене.

— Какой он славный человек, — тихо сказала она, скосив бок глаза в задумчивости. — Я ни на каплю не сомневаюсь в его искренности. И знаешь, что я почувствовала за его словами? Душу. Кто способен так любить, у того душа широка и чиста. Понимаешь меня?

— Да.

— И ещё. Всё это очень серьёзно, Албена. Тут не приключение. Тут судьба. Понимаешь?

Албена прямо посмотрела в глаза Софье Александровне.

— А если... он ошибается?

— Нет, девочка моя. Он пишет, многое передумав. И многое пережив. Предлагает тебе всего себя сразу. Руку и сердце. Понимаешь? То есть хочет быть тебе мужем.

Софья Александровна старше Албены лет на десять, не больше. Но с первого же дня, как Албена оказалась с нею, она ощущала себя матерью, которая в полной мере ответственна за судьбу девушки. Наверное, потому, что Албена пришлась ей по душе. И ещё потому, что своих детей у них с Николаем Васильевичем пока не было. Но она знала, что будут. Может, её молитвы услышал Господь. И послал ей Албену.

— Знаешь, я сейчас про нашу с Николаем Васильевичем любовь вспомнила. Так написать, как твой Иван, он бы не смог. Да и некогда ему писать про любовь. Вот про свои операции — писал. И меня заставлял. Историю болезни каждого, кто в нашей больнице лечился. Каждого, понимаешь? А скольких он вылечил! Получилась целая медицинская библиотека! Такой ни у кого в России не было и нет! Но благодаря этому он и сделал ряд открытий: как следует лечить многие болезни. Когда ему думать о женитьбе! Но вот увидел меня, и всё. Уже не отстал, пока я не ответила ему согласием. А ведь родители мои возражали. Говорили, что мне надлежит быть пианисткой, а не женой врача. Но я пошла за ним. Я и не знала, что он такой талант. Что стану служить ему. А музыка станет для меня просто отдыхом.

Она замолчала, продолжая с материнской улыбкой смотреть на Албену.

— Я не знала, что любовь может так много. И бедность одолели, и все невзгоды. Да хоть сейчас. Кто его сюда заставил ехать? А?

— Господь.

— Верно, девочка моя, верно! Потому что Господь — это любовь. Так что слушайся своего сердца. И всё оно тебе скажет. Поняла?

— Поняла.

— Ну и хорошо. Встретитесь — обо всём поговорите.

— Но как же...

— Да не думай об этом, — перебила её Софья. — Любви всё подвластно. И никаких границ для неё нет.

Она встала, взяла руку Албены в свою.

— Завтра ехать. Надо поспать.

— Спасибо вам. Спасибо.

Она обняла Софью Александровну и прижалась к ней, положив голову на её плечо.

— Да меня-то за что благодарить. Всё хорошо будет, вот увидишь.

Она вышла из комнатки Албены, продолжая находиться всё в том же умиротворённом состоянии.

И на её душу, уставшую от тягот войны, смертей, нестерпимых болей, лёг свет любви — как в тот рассветный час, когда она встречала восход солнца перед очередным боем, который казался решающим, но которых ещё много было впереди — здесь, в горах, на одной из вершин Балкан, названной Шипкой.

Собирался в поход и Иван Тепляков. Он уже находился в том нетерпеливом состоянии, когда кажется, что его напрасно удерживают на больничном положении, между тем как он совершенно здоров. От Верещагина он узнал, что на военном совете решено, не дожидаясь весны, идти через Балканы сейчас, когда уже в горах лежит глубокий снег и дороги считаются непроходимыми.

Верещагин продолжал восхищать Ивана своей смелостью и преданностью делу, которому служил истово и безоглядно. Теперь он снова на Шипке. Вот и ему надо пробиться туда. Бесконечные мысли о том, как воспримет Албена его признания, измучили, нужна была определённости, и поэтому он решил, что пойдёт с войском Скобелева через перевал, как бы его ни отговаривали.

Наступать решили снова тремя крыльями — с Запада и с Востока, в обход главных хребтов Стара-Планины, и здесь, в центре, через Иметлийский перевал. Он считался непроходимым, но Михаил Дмитриевич Скобелев сумел убедить командование, что перевал он одолеет: у него надёжные проводники-болгары из местных, да и к походу он сумеет подготовить своих солдат. И тем внезапней будет появление его бойцов для турок — этим неожиданным маневром он и сможет наголову разгромить врага.

Приказы Михаила Дмитриевича перед выступлением в поход оказались один удивительней другого. Каждому солдату предписано взять по одному сухому полону. Далее: ступни ног смазать гусиным жиром. Взять на смену тёплые портянки. Привести в порядок обмундирование, особое внимание уделив сапогам, имея в виду, что предстоит идти по глубокому снегу.

Иван не сразу догадался, для чего в поход надо брать сухое полено. Пояснил уса́тый солдат Егор Тетюшин, или Тетюша, севастополец, который сопровождал Ивана от Стара-Загоры к Шипке, когда он лежал в повозке раненый и слушал рассуждения Верецагина и отца Бориса о том, что есть подлинная красота и правда.

— Вот такая штука, понимаете ли, — говорил он, щуря свои голубые, маленькие, но зоркие глаза. — Придётся нам в горах заночевать. Надобно костёр развести. А где сухих веток на разжижку набрать? Когда в горах снег да сырость? Вот тут полешко сухое и пригодится, чтобы щепок настрогать. Скобелев, он хошь и генерал, а в самых что на ни есть житейских делах знает и понимает. Чего многие превосходительства не знают и не понимают. Вот за что его наш брат солдат и любит.

Тетюша лукаво усмехнулся и, как показалось Ивану, даже подморгнул ему своими голубыми глазками.

— Побеждать надо не только храбростью, — продолжал Егорий, — но и умом. Начальник, который не будет заботиться о своих подчинённых — пропадёт. Так?

— Так, — подтвердил Тепляков. — А ты как здесь? По-моему, мы с тобой раньше встречались?

Они шли за гружёной повозкой, которую тянули лошади по тропе, поднимавшейся в горы. Колонна Скобелева растянулась на несколько вёрст и тёмной лентой легла по белому склону. Впереди он становился всё круче, всё заснеженней, и идти вперёд становилось всё труднее.

— Встречались, как же. Ещё Иванко мальчишка и барабанщик Солоничка были. А вы тогда раненый лежали. Дорога-то была вся в цветах... Они опять здесь — с музыкантами. И ваши самарские тут.

— Да, про наших я знаю. И тебя вспомнил, — Иван улыбнулся. — Вот и опять вместе идём.

— Вмestях, — подтвердил Егор. — Война, она как — разведёт и сведёт, как ей захочется. Вроде и далеко друг от друга, а поглянешь — опять вмestях.

Он хитро посмотрел на Ивана, как будто что-то подразумеваемая под этими словами ещё.

— Хорошо, если бы так. Да многих уже нет, к кому привык. Вот Галушко Панас, помнишь его?

— А то. Справный солдат. Мастерил ловко. Лежак приспособил для вас.

— Убили Панаса. А ведь он мне стал как брат.

— Что ж, война. А знаете, что скажу, Иван Иванович, верно вас называю? — и, получив подтверждение, продолжал: — Панас — это по ихнему, по-хохлятски. А полностью, по-нашему, по-великорусски — Афанасий. Так? А что значит это имя? А, не знаете, хоть вы и учёный. А я вот не учёный, а знаю. Потому как в церкви нашей около батюшки крутился. Алтарником был. А батюшка нас, мальцов, просвещал. Да и не только мальцов, но и всех, кто интерес к священному писанию проявлял. И многое я тогда запомнил, что он говорил. Вот и про Афанасия, святого и чудотворца. Осторожнее ступайте, Иван Иванович!

Тепляков оступился, провалившись в яму, прикрытую снегом. Ушёл в неё ногой по пояс и завалился набок.

Егорий помог выбраться ему на тропу, отряхнул налипший на шинель снег.

— Не беда, — он нагнулся, ударяя по сапогам Теплякова. — Сымайте, Иван Иванович. А то в сапогах будет каша. И простынете.

— Обойдётся.

— Нет. Идти ещё далеко. Сухие портянки давайте.

— Да нет их у меня.

— Как же? А приказ? Ох, Иван Иванович, нельзя приказы нарушать.

Он усадил Теплякова на взгорок, помог ему снять сапоги и вытряхнуть из них мокрый снег. Достал из своего вещмешка сухие портянки, отдал их Теплякову.

— Свои просушите вечером, тогда мне и вернёте.

— Спасибо, Егор. Мне ведь и вправду простывать нельзя.

— Да знаю, слабость после ранения-то. Ну вот, теперь порядок.

Он помог встать Теплякову, они снова пристроились в колонну.

Поднялись по склону ещё меньше, чем на треть, а уже впереди застряла повозка, которая тянула пушку. Её вытаскивали, навалившись, сразу несколько солдат, но безуспешно. Стали выкапывать из-под колёс снег, снова наваливались на задок повозки. Наконец сдвинули её с места. Она чуть пошла вперёд и вновь застряла в выбоине.

— От зараза! — выругался Димитар. — Атанас, тут дорогу весной размыло, — сказал он пожилому проводнику. — Надо вперёд идти и расчищать. А то мы тут до темноты застрянем.

Атанас, шедший рядом с ним, подошёл к Скобелеву:

— Здесь не пройдем. Дорогу чистить. Ямы.

Скобелев вёл своего белого коня под уздцы.

— Что ж. Чистить, так чистить.

Создали отряд, который пошёл впереди, расчищая от снега дорогу, которая петлёй поднималась всё выше и выше.

Егор ушёл к передовому отряду, присоединившись к чистильщикам, среди которых Тепляков заметил и самарских.

А про святого Афанасия, чудотворца, так и не узнал.

Мысли его перебегали с одного на другое, пока вновь не вернулись к Албене. В который раз он стал представлять, как произойдёт их встреча.

«Если она принимает моё предложение, это сразу будет видно, — думал он, теперь шагая по колее, оставленной колёсами повозки, чтобы не угодить в яму снова. — Ну, хотя бы по глазам. По улыбке. А если я ей безразличен, то и лицо её будет безразлично. Кивнёт для приличия, вот и всё. Постой, а чего я хочу? Чтобы она бросилась ко мне в объятия? Ведь она девушка. Другой страны. Да и знакомы мы без году неделя. Как же она должна поступить с иностранцем? Как и поступила. Сдержанно. С рассуждением. Да, вляпался ты, брат Тепляков! Как и здесь!»

Он опять шагнул неудачно: колесо повозки миновало яму, а Иван угодил в неё. Хорошо, что не как в прошлый раз, а лишь по щиколотку.

Шаг за шагом, но всё же продвигались вперёд. Солдаты, расчищавшие дорогу, запыхавшиеся, потные, в расстёгнутых шинелях, а то и вовсе без них, менялись, отдавая лопатки тем, кто ещё не трудился по расчистке дороги. Пологий склон одолели к полдню. Дальше дорога, по которой вели Атанас и Димитар, петляла в сторону ущелья, становилась круче. Здесь

снег сдувало ветром, его вроде стало меньше, но это не улучшило путь, а сделало его труднее. Потому что дорога превратилась в каменистую тропу, поднимаясь всё выше. Повозки стали подпрыгивать, качаться из стороны в сторону, а пушки с ещё большим трудом продвигались вперёд.

На этот раз повозка с какой-то тяжёлой поклажей съехала с обледенелой тропы к самому обрыву, и солдаты с большим трудом удерживали её. Пыхтели, тужились, но повозка всё ползла и ползла вниз. Солдат, который пытался удержать её, всё ближе приближался к обрыву. Ему следовало бы отбежать в сторону, чтобы самому не быть смятым повозкой. Он изо всех сил сопротивлялся, упираясь ногами о камни. Но они предательски скользили.

Скобелев, шедший неподалёку, заметил, что солдату грозит смерть. Он бросил поводья и подбежал к повозке, скользя и балансируя руками, чтобы не упасть. Упёрся в край повозки и крикнул:

— Держись!

Успели подбежать ещё несколько солдат, но повозка уже ехала по скользкому склону, катясь в обрыв.

Скобелев успел ухватить солдата за руку и резко дёрнул его на себя.

Упал.

Но успел вытащить солдата на себя.

Повозка качнулась, повалилась набок, задрал колёса вверх, и рухнула, скрежеща, в обрыв.

Скобелев сидел на снегу, тяжело дыша. Рядом, тоже сидя на снегу, потеряв фуражку, взъерошенный, потный, таращил глаза на генерала бывалый солдат. Был он кряжист, не из слабых, но сил у него, как и у других, что вместе с ним спасали повозку, не хватило.

Он виновато смотрел на Скобелева, растерянно улыбаясь:

— Простите, ваше высокоблагородие, господин генерал, — лицо его, круглое, щекастое, с маленьким носом и потным лбом, виновато смотрело на Скобелева. — Скользко, чтобы пусто этим камням было. Никак не дёржут, как ни упирайся.

Скобелев поднялся, отряхивая снег.

— Да вижу, что скользко. А всё же держаться надо.

И оглядел столпившихся по краю обрыва солдат. Повысил голос:

— Держаться надо, братцы! Наши стоят на вершине и ждут нас. Под пулями и ядрами стоят! Под ветром и морозом! Стоят и верят, что мы выручим их! Отступать нельзя, иначе турки окружают нас. И потому мы всё равно возьмём этот перевал. И не такие брали, повыше и потруднее! Так, братцы?

— Так! — дружно отозвались голоса.

— Ну вот, я и не сомневался! — Скобелев улыбнулся, поднял голову, и борода его, раздвоенная надвое, соединённая с пышными бакенбардами, задралась кверху. — А теперь станем тут лагерем, подкрепимся и обогреемся. Место вроде подходящее. Так, Атанас?

Проводник с вислыми седыми усами, видевший, как генерал выручил солдата, согласился.

— Ветер сильный. Темно скоро. Будем сил набираться.

Скобелев посмотрел на коренастого солдата, всё виновато стоящего перед ним.

— Сходи к каптенармусу, пусть тебе новую фуражку выдаст. А что повозку до последнего держал, так молодец. Но жизнь свою береги. Она дороже любой поклажи.

— Слушаюсь, вашество. Мне жизнь для того нужна, чтобы турков поскорее разбить.

— Вот это правильно, — и Скобелев пошёл к своему коню, который нетерпеливо дожидался хозяина.

Глава тридцатая. «На Шипке всё спокойно»

Ноябрь-декабрь 1877 года

По стенам землянки сочится вода, а с потолка, выложенного брёвнами, накапливаясь, она капает, ударяясь о край котла: бlynь, бlynь, бlynь.

Котёл висит на поперечине, над огнём, горящим между камнями. Когда камни раскаляются, стены и потолок промёрзшей землянки начинают оттаивать. Оттаивают и промёрзшие мундиры, шинели, сапоги, фуражки и башлыки. Становится теплее, но одежда, вся став мокрой, не успевает просохнуть и к утру вновь замерзает.

Орловские Кучкин и Сорокин спасаются от простуды и других болезней тем, что у разогретых камней раздеваются, растирают тела до красноты, а обмундирование держат над огнём. Этим они занимаются, когда все обитатели землянки заканчи-

вают ужинать. Шинели и башлыки они вешают на палки, укрепленные в углах землянки — там, где они спят после боя или караула.

Эти обтирания по утрам ввёл Радецкий. Но и без приказа генерала орловцы знают, как беречься от болезней.

Их примеру следовал и Перван. Но с недавнего времени он перестал раздеваться и растираться, а сидит у огня, нахохлившись, как старый ворон. От него, как и от Драгана, другого ополченца, поднимаются к потолку лёгкие дымки пара. Ещё у огня сидят, обхватив ладонями кружки с горячим чаем, рядовые Новиков и Зырянов — брянские парни, дюжие, крепкие, которых тоже хворь пока не берёт.

Было в землянке двенадцать бойцов, осталось шестеро. Ладно бы, если бы пали в бою. А то выкашивает ряды бойцов лихоманка. Как от неё устоять, если морозы всё крепче, ветры не утихают, метели всё чаще и свирепей. Обмундирование промерзает так, что стоит колом. Были бы полушубки — другое дело. Да хотя бы шапки меховушки, как у болгар. Да носки шерстяные и портянки суконные. А то всё летнее. Ну, осенью ещё можно воевать в этом обмундировании, а зимой? Да здесь, на самой верхушке горы, где и летом-то от ветра никуда не спрячешься.

Холода на Шипке наступают с осени. Но кто же знал, что воевать здесь придётся и зимой. Всю военную кампанию планировали кончить до осени.

Да не получилось.

— Перван, выпил бы горяченького, — сказал Кучкин, подливая кипятку в кружку.

Перван словно очнулся.

Он глянул на крепкие, костистые пальцы Парфёна Кучкина, которые держали протянутую ему кружку:

— Благодарствую.

Отхлебнул, причмокнул, грея свои морщинистые ладони. Отблески огня ложились на его седые вислые усы, смутлые, обветренные щёки.

В землянку, согнувшись у входа, вошёл, весь засыпанный снегом, солдат Марюткин. Распутывая башлык и отряхиваясь от снега, он, поздоровавшись, быстро прошёл к огню:

— От, мать честная, метёт! Нечистая сила взбесилась! Пустите погреться.

Матвей Сорокин посторонился, давая место у огня шестовику Марюткину, который прибыл на Шипку налаживать телеграфную связь со штабом. Связь эта то и дело обрывалась. Вася Марюткин как ловкий и умелый малый уже не в первый раз оказывался на Шипке, соединяя оборванные ветром и снарядами провода, поднимая и укрепляя шесты для них.

— А чего один? — спросил Марюткина Матвей. — Где напарник?

— С генералом. Я к вам, земели, с гостинцем. Нате-ка заварочки. Разжился.

И он вытащил из кармана шинели узелочек с заваркой из трав.

— Ай да Вася. Уважил! — разулыбился Парфён. — Духовитая!

И бережно отсыпал заварки в кружку.

— Живём!

— Славно!

И в землянке стало как будто теплее. Как будто не лютовала вокруг землянки метель, не мучило большинство бойцов промёрзлое, отмокающее у ночного огня обмундирование. Как будто знали они, что прямо завтра страдания и смерть, что плясала в нескольких шагах от них, уйдут и никогда к ним не вернуться.

— Ну, Васёк, рассказывай, чего там начальство удумало, — сказал Парфён, разливший по кружкам заварку и с наслаждением сделавший первый глоток. — Ты там рядом с генералами, у аппаратов этих мудрёных. Что слышать?

— Новостя, земели, хорошие. Мне запрещено трепаться, сами понимаете. Но вам-то я доверяю. И могу сказать. В общих чертах, конечно.

— Ну?

— Наши идут к нам, — понизив голос, шёпотом сказал Марюткин. — Скоро будут!

Все ждали, что Марюткин что-то скажет ещё. Но он молчал, стреляя глазками то на одного, то на другого солдата, пригнувшегося к нему.

— И всё? — досадливо сказал Матвей, с издёвкой глядя на Василия.

— А тебе мало? — отпарировал Марюткин. — Идут, понял?

— Да это мы и без тебя знаем, — Матвею даже захотелось хлопнуть Марюткина по спине, но он сдержался. — Новостя! Сказанул!

— Ладно тебе, — успокоил друга Парфён. — Идут! Чего ещё надо?

— Стара-Планина зимой — она опасная. Как зверь, — сказал Драган.

— Зверь, — подтвердил Перван. — Однако, думаю, наши проводники проведут. А они знают, как зверя одолеть.

Марюткин порывался ещё что-то сказать, но выдерживал паузу, поглядывая на всех и прихлёбывая чай.

— Ну, а наш чего? — спросил Матвей, имея в виду генерала Радецкого.

— Фёдор Фёдорович-то? Он, знаете, что отбил по аппарату? Венька передавал, а я слышал, — Марюткин опять заговорщицки замолчал, а потом шёпотом сказал: — «На Шипке всё спокойно».

Все умолкли, обдумывая депешу командующего.

— М-да, умно, — сказал Перван. — Если турки послание перехватят, всё равно ничего не поймут.

— Почему? — спросил Драган.

— А потому, друг мой, что по этой депеше турки решат: русские, мол, уверены, что можно ждать и дальше. Раз всё спокойно. И будут ждать весны. Ты бы так понял?

— Так, а как же ещё?

— А вот и нет. Я думаю, что как раз наоборот. «Спокойно» — значит, можно наступать! Раз турки ведут себя «спокойно»! Значит, можно их застать врасплох! Как считаешь, Парфён?

Парфён размышлял, внимательно глядя на мудрое лицо Первана. Он знал, что Перван разменивает третью войну и повидал куда больше его. И размышляет не хуже генералов.

— «На Шипке всё спокойно», — тихонько повторил Парфён. — Да, братцы, который месяц здесь сидим? Сколько наших полегло тут от холода и голода? Не одна тысяча. И все спят спокойно. И мы сидим спокойно. И турки успокоились — готовятся нас добить. Всё сходится! А только Фёдор Фёдорыч не только про это сказал! Думаю, ты прав, Перван. Это сигнал. Наступать!

Перван улыбнулся. Морщины сошлись в углах его глаз.

— Это и нам сигнал. Увидите, утром сам скажет. Как наши перевал возьмут, так и нам идти вперёд. Наступать! Турок и возьмём в кольцо.

Марюткин ликовал, глаза его так и лучились радостью.

— Ну вот, Матвей, ты хоть и велика фигура, да... малость того, земеля. Вот брат Перван правильно рассудил, какие новостя я принёс. Думать надо! Это ведь не мешки на хребтине таскать.

— Но-но, Васька! Не то я тебя сейчас поучу, кака я фигура! Сразу думать научишься!

Он взял Марюткина за шиворот и приподнял над земляным полом.

— Не дури! — закричал Василий. — Я по-дружески!

Все засмеялись, и Матвей отпустил Марюткина.

— То-то, — Матвей успокаивался, прерывисто дыша. — И в самом деле, скоко можно сидеть. И ждать, когда в тебя снаряда угодит! Мы как мишени, на Шипке этой.

— Ничего. Глядишь, завтра — и в бой. Может, последний.

— Давай, Перван, споем нашу, боевую. «Марицу»¹. А?

Перван оживился. Вскинул голову:

— А что? Перед боем грех не спеть!

И начал низким, хрипловатым баском:

*Шуми Марица
окървавена,
плаче вдовица
люто ранена...*

Драган подхватил — громко, с чувством:

*Марш, марш,
с генерала наш!
В бой да летим,
враг да победим!*

Пели болгары на своём языке, но уже через куплет Марюткин, орловцы подхватили припев песни.

Болгары пели:

*Ний сме народа,
за чест и свобода,
за мила рода
който знай да мре.*

И без перевода некоторых непривычных для русского уха слов всем было понятно, что они готовы умереть за честь и сво-

¹ «Шуми, Марица» — гимн болгарских патриотов.

боду, за милую Родину, которая и для русских, и для болгар была сейчас одна — Родина, где торжествует правда, справедливость, любовь к Отечеству и братьям своим по вере.

И потому дружно они снова и снова пропели припев марша, который вырывался из самого сердца бойцов:

*Марш, марш,
с генерала наш!
В бой да летим,
враг да победим!*

Глава тридцать первая. Как снег на голову

Шипка-Шейново. 24-28 декабря 1877 года

К утру метель утихла.

Генерал Радецкий вышел из своей землянки, выпрямился, осматриваясь. Увидел как будто не военный лагерь, а мирную, почти рождественскую картину. Не хватало разве что елей с разноцветными шарами, а так метель украсила вершины и склоны гор снеговыми шапками, гладкими волнами, которые напоминали белые ватные покрывала с серебристыми лентами. Волны снега шли одна за другой и как будто покрывали не устроенные на вершины горы, где была довольно просторная площадка, расположенные там войсковые навесы укрытия для орудий и землянок, а какие-нибудь сказочные пещеры для гномиков или троллей.

Фёдор Фёдорович, не склонный к сантиментам, всё же улыбнулся, глядя на утренний горный пейзаж и приговаривая:

— Ещё Польша не сгинела... пока мы живём...

Чуть в стороне стоял денщик Червоненко и с кислой улыбкой смотрел на генерала. В руках он держал махровое полотенце и шинель. Генерал нравился ему своей молодцеватостью, крепостью руки и тела, решительностью и смелостью в бою. Но он не любил нетерпеливые и резкие приказы Фёдора Фёдоровича и тумачи, которые он раздавал, если Червоненко начинал рассуждать и медлить с выполнением приказов, особенно по утрам. Не любил он и эти утренние обязательные умывания снегом, которые ввёл Радецкий.

«Ещё не вмерла Украина... а не тилько Польша», — пропел по себе Влас Червоненко, полтавский коренной казак.

— Скидывай шинель, — приказал генерал, умывая лицо снегом, растираясь полотенцем и строго глядя на денщика.

— Ни. Я вже умывся.

— Врёшь.

— Ни.

Генерал расправил китель, расчесал усы и бакенбарды, набрал в пригоршни снега и стал тереть лицо денщика, обхватив его за шею и прижав к себе.

— Ваше высоко... благородь!.. Ой! Морозно! Ой! Хвате!

Фёдор Фёдорович отпустил Митяя.

— Экий ты тюлень! Бегать заставлю!

— От турков бегать нильзя. Бегать вони должны.

— Ха! Это ты верно заметил.

Он вошёл в землянку, выпил горячего чая с хлебом, надел шинель и фуражку и снова вышел на свежий морозный воздух.

Солнце уже поднялось над горами, осветило заснеженные вершины, склоны. Лагерь оживал, тут и там показывались у землянок солдаты и офицеры.

Уже прозвучал сигнал утренней побудки. Затем горнист протрубил сигнал к занятию боевых позиций. Воины, приведя себя в порядок, занимали свои места в траншеях и окопах, по краям площадки на вершине Шипки, с трёх её сторон.

Радецкий вместе со штабными обходил позиции, осматривая, что за ночь произошло на тех местах, где находился враг.

Изменилось мало чего, кроме того, что стало больше снега на склонах и, значит, наступать будет трудней. А может, наоборот, легче? Скатываться по склону, к траншеям и редутам турок... Получится быстрее?

Он сказал об этом начальнику штаба. Тот ответил, что в любом случае потерь не избежать — и больших. Но атаковать надо. Так как колонны генералов Святополка-Мирского и Скобелева сегодня, двадцать четвёртого декабря, должны спуститься с перевалов. По замыслу Радецкого турок должны атаковать с трёх сторон, взяв их в кольцо. Враг этого не ждёт и основные свои силы держит здесь, у Шипки. В долине у Вессель-паши войска тысяч двадцать-тридцать. Но если атаковать даже с небольшими перерывами, последовательно, сначала с западного фланга, потом с восточного, не слишком задерживаясь, потом фронтально, с Шипки, он не поймёт, где надо сосредотачивать

основные силы. И пока будет принимать решение, окажется в кольце. Если, конечно, идти вперёд, не отступать и не давать врагу опомниться.

Главный удар надо наносить здесь.

Они стояли на вершине горы святителя Николая, откуда открывался великолепный вид на горы и равнину у подножия их. Снег блестел, искрился, ветра почти не было.

Но вот на склоне западных отрогов появились различные фигурки воинов, которые спускались в долину.

— Наши! — воскликнул кто-то из штабных.

— Это Святополк-Мирский, — подтвердил Радецкий.

Он оторвал взор от подзорной трубы и передал её начальнику штаба.

Тот посмотрел на восток, откуда должна появиться колонна Скобелева.

— Скобелева нет, — и передал подзорную трубу командующему.

— Появится... надо подождать...

Радецкий продолжал наблюдать, как воины Святополка-Мирского выстраиваются, готовясь к атаке.

Засуетились в таборах турки, ожидавшие чего угодно, только не появления русских солдат с этой, западной, стороны гор.

Колонна Скобелева между тем опаздывала к назначенному сроку. Перевал пришлось брать, часто расчищая дорогу, чтобы протаскать орудия и подводы со снаряжением. Когда силы кончались, готовили площадки для остановок и ночлега. Предстояло пройти семьдесят пять непролазных вёрст, а колонне Святополка-Мирского — около двадцати пяти.

Путь получился изнурительным, но никто из скобелевцев не роптал. Никто не обморозился: спас гусиный жир и тёплые портянки. И теперь поняли, как мудр был «смешной» приказ Скобелева иметь каждому воину сухое полено. Костры разжигались быстро, горячая пища и чай подкрепляли солдат.

И потому хотя перевал взяли за четыре дня вместо двух по плану, в долину спустились не измученные, не обмороженные, а готовые к бою.

Если такая забота о «мелочах» была бы у Радецкого! Но он слишком поздно понял, как важно думать не только о количестве пушек и снарядов, о ружьях и патронах к ним, но и ва-

ленках, и полушубках, тёплых портянках и носках. Тогда бы не выкосили обморожения и простуды десять тысяч защитников Шипки. А потери в боях с сентября по декабрь получились ровно в десять раз меньше.

Фёдор Фёдорович, конечно, винил себя, что не позаботился о зимнем обмундировании для своих солдат. Имелись веские оправдания — бездарная организация тыловых служб, воровство, непролазная грязь на дорогах от тыла к фронту.

Но всё равно совесть его мучила, когда он видел, как тают ряды войска от лютого холода здесь, на вершине, продуваемой со всех сторон.

И которая простреливалась тоже.

Про себя он молился утром и ложась спать. Слышал, как Митяй тоже молился по-своему: «Господи, спаси и сохрани меня, окоянецкого, и генерала нашего Радецкого-молодецкого!»

— Ты чего там сочиняешь, балда? — спрашивал генерал, услышав, как то ли в шутку, то ли всерьёз бормочет перед сном Митяй, укладываясь на свою лежанку.

— Да я ж своими словами, ваше высокоблагородь. Извиняйте, но так уж мы как есть неграмотны, то и молитимся по-своему, по-хохляндски, как вы гутарите.

— Брось дурить, молитву нельзя коверкать. Скажи просто: спаси и сохрани, Господи. Вот и всё. Понял? — а самому всё же было приятно, что солдаты называют его «молодецким»: не в первый раз он слышал такое про себя.

Вот и сейчас, перед атакой, он не испытывал страха, а только пьянящую весёлость, которая бурлила в его крови. Бой, война, были его стихией, смыслом его жизни. Знал он и другую жизнь, мирную, у себя в имение или в Петербурге, когда надо являться ко двору или на торжество в парадные залы. Это бывало и приятно, но лишь ненадолго, на какие-то часы, но настоящую жизнь он проживал сейчас, вот в такие минуты перед боем.

Генерал Николай Иванович Святополк-Мирский в своём войске не слыл таким удайцом, как Скобелев или Радецкий. Он происходил из старинного дворянского рода, в котором были не только военные, но и люди немалой учёности. Мать была писательницей и переводчицей. К фамилии «Мирские» прибавили «Святополка», когда было подтверждено, что происходят

они от рода Изяславичей, от Святополка, сына князя Владимира, крестителя Руси.

Не склонный к внешним эффектам, он тем не менее обладал и рассудительностью, и решительностью, и храбростью.

Вот и сейчас предстояло быстро принять правильное решение. Чутьё бывалого воина подсказало ему атаковать с ходу. Он видел, что солдаты устали после двухдневного перехода, есть и покалеченные, и обмороженные. Но ему не раз приходилось воевать и в горах, и в Крымскую кампанию, и он знал, что такое внезапная атака.

И что чаще всего она приносит успех.

Он отдал приказ наступать.

Скобелевцы между тем ещё не подошли к вершине Иметлийского перевала. Взяли в снегу, то и дело останавливались, сдерживая скатывающиеся вниз орудия.

Но шаг за шагом продвигались вперёд.

Вместе с ними шёл и Иван Тепляков.

Кто только не пытался его отговорить от похода. Всё понапрасну. Скобелев, узнав, что Иван идёт вместе с ними, не воспротивился, а, наоборот, похвалил Теплякова.

Сказал:

— Вижу, Верецагин на тебя хорошо влияет. Действительность надо принимать такой, какая она есть. И не с чужих слов. Хвалю.

И, посмотрев, как обмундирован Иван, прибавил:

— Вот что. Мне отец прислал чёрный полушубок. Так, знаешь, меня в нём чуть не подстрелили. И я решил себе не изменять, раз конь у меня белый, так и полушубок пусть остаётся белый. Они меня берегут. Сделай милость, возьми отцов полушубок.

Иван растерянно смотрел на Скобелева.

— Ты после ранения. Бери, и память обо мне будет.

Теплякову пришлось принять полушубок генерала.

Шёл он, стараясь не доставлять лишних хлопот солдатам. Но всё же не отказывался от, казалось бы, мелких услуг Егора Тютюшина, который продолжал ненавязчиво, но опекать Ивана.

На привале разжигал костерок, кипятил чай и непременно затевал разговор:

— Вот в прошлый раз мы с вами, Иван Иванович, говорили про святого Афанасия.

— Как же, помню. Ты сказал, что Панас — это будет по-нашему Афанасий. Так? И что же?

— А то, дорогой мой, что особо не надо печалиться, что наш Панас Галушко в землю лёг. И мы ляжем в своё время. Один Господь знает наши сроки.

— Ты прямо как поп.

Они сидели у костра, глядя, как искры летели в черноту ночи, как отблески огня ложились на снег.

Генеральский полушубок согревал спину и грудь, а ноги грел костерок.

— Батюшка наш деревенский, отец Афанасий, рассказал о своём небесном покровителе. А я запомнил. Афанасий — значит по-нашему бессмертный, — он поднял указательный палец вверх. — И ещё запомнил я, Иван Иванович, что святой Афанасий был назначен к нам в Россию патриархом. Но тут была вражда со стороны гонителей его. Афанасий трижды восходил на высоту и нисходил с высоты Вселенского престола. Да... И вот в пределах Малороссии, бывшей своей паствы, положил он труженические свои кости в обители Лубенской. И там-то его мощи и прославились нетлением и чудесами, от них исходящими.

Тетюша говорил своим хрипловатым голосом, ближе подставляя своё усатое лицо к огню. Подошли к костру солдаты, прислушивались к рассказу Егория, уже зная, что он мастер на разные истории. И было непонятно, то ли присочинял он, то ли правду рассказывал. Но слушать его интересно. Солдаты, как, впрочем, и крестьяне в его родной деревне, склонны верить Егорию.

— И вот, Иван Иванович, поставили святого Афанасия по смерти как будто сидящего. В богатой своей раке, будто на патриаршей кафедре. Он представляется благоговейному взору как бы только что погрузившийся в непробудный сон. Глава его, осенённая митрою святительскою, склонилась на правое плечо, и десница простёрта на коленях, для лобзания верующих. А в левой руке он держит свой пастырский жезл, как бы доселе управляя Вселенскою паствою. Так погребли его по чину и обычаю патриаршему, так и обрели, спустя немного лет, бодрствующим и по блаженной кончине.

Егорий глядел на Теплякова со значением, исключаящим неверие. Отблески огня делали его лицо загадочным, как и его рассказ.

Один из солдат подбросил в костёр принесённые ветки. Огонь приутих, задымился, потом вспыхнул с новой силой.

— Так и по сей день сидит? — спросил солдат.

— Так и сидит, — подтвердил Егорий. — Сам я не видел, но батюшке нашему верю. И ещё тому верю, братцы, — закончил Тетюшин, оглядывая солдат, столпившихся у костра, — что святой Афанасий и нас благословляет на завтрашний день. Ведь завтра перевал возьмём. И сразу в бой.

— Вот это верно, — раздался знакомый голос Скобелева, тоже подошедшего к костру. — Наша сила в чём? Что мы туркам как снег на голову! Они думают, мы в Плевне сидим. А мы — вот они мы! Попробуй нас остано-ви! Так, Тетюшин?

— Так, вашество.

— Да ты сиди. Дайте-ка и я у костерка погреюсь, — Михаил Дмитриевич пристроился между Тетюшиным и Тепляковым. — А что до святых, то у нас на первом месте Георгий Победоносец. Вот кого почитаю. Он змия попирает и ко-пием бьёт. Змий — кто? Растолкуй, Тетюшин.

— Да куда мне. Это пусть отец Борис.

Здесь оказался и полковой священник.

Он не смутился, вступил в разговор:

— Это вы и без меня, братие, знаете. Змий — зло, окаянная нечисть. Она наш враг во все дни нашей жизни.

— Как так? — спросил кто-то.

— А потому как это есть змий-искуситель. Он всё время подстерегает. То в виде чужой жены, то в виде хмельной бутылки, которая не кажется лишней. А то и прямо на нас ползёт и голову пялит, не таясь, как вот теперь, когда война.

— Но мы эту голову, вернее башку, завтра срубим, — Скобелев решительно махнул рукой. — А насчёт лишней бутылки, отец Борис... Так кто его поймёт, когда она лишняя? А, братцы?

Он засмеялся, и смех его подхватили все, кто грелся у костра.

Когда скобелевцы спустились с перевала, бой на западной стороне склонялся в пользу турок. Первые редуты турецкой обороны переходили из рук в руки, но сейчас, обескровленные воины Святополка-Мирского вынуждены были отступить. Напрасны призывы генерала не отступать, держаться. Напрасно сам он лез в самую гущу сражения. Его теснили и слева, и справа. Вот вздыбился под ним подстреленный конь. Генерал едва

успел вытащить ступни из стремян и соскочить с коня, прежде чем тот рухнул на мёрзлую землю.

К нему кинулся адъютант, защищая генерала от бежавшего навстречу с поднятой саблей турка.

Выстрелил.

Турок как будто споткнулся.

Застыл с поднятой саблей.

И повалился навзничь.

Хлопьями пошёл крупный снег. Подул ветер.

И тут они слышали призывный, звонкий голос трубы.

Он звучал чисто, разносясь над долиной спасительно, громко — как зов трубы ангела, утверждающий жизнь и победу.

— Скобелев! — крикнул Николай Иванович. — Скобелев!

Это и в самом деле передовые отряды Скобелева выстраивались в боевые порядки. Колонна растянулась по склону на несколько вёрст. Но Михаил Дмитриевич понимал, что надо как можно быстрее вступать в бой. Опытный его взгляд уже различил бедственное положение наших, и он, оседлав своего белого коня, поскакал вдоль первых рядов своего войска.

— Трубачи! — крикнул он. — Боевой марш! Знамёна вперёд! Барабанщики! Громче! Бодрее! Победа за нами!

Грянул оркестр — три альтовые трубы, труба-бас. Ударил в барабан Солоничка. В такт ему, лихо, с дробными переборами, подал свой голос барабан Иванко.

Рукой, твёрдо сжимающей древко Самарского знамени, поднял его над собой унтер-офицер Фома Тимофеев. Это он вынес Знамя из коловерти боя под Стара-Загорой.

И теперь стал знаменосцем.

Под знаменем встали, выставив штыки вперёд, богатыри самарские и орловские, болгарские и брянские, волынские и тульские.

Хлопья снега летели всё гуще. Метель заметала всё круче. Огненные вспышки ружейных выстрелов прорезывали белую пелену.

Но это только подгоняло воинов Белого генерала, который впереди всех, с шашкой наголо, вёл вперёд своих орлов.

Громко звякнула пуля о медь трубы. На минуту трубач замолк, посмотрел на трубу, которая спасла его от смерти, и, прижав губы к мундштуку трубы, дунул в неё с новой силой.

Вторая пуля угодила трубачу в голову.

Солоничка боковым зрением видел, как трубач упал, вскинув трубу вверх.

— Да чтоб тебя! — он склонился над упавшим, увидел, что боевой товарищ убит.

Рядом оказался Иванко.

— Нельзя останавливаться! — крикнул он, прикрывая лицо от снега. — Барабань, Иванко, барабань!

И сам ударил в барабан.

Вместе они встали в строй.

Снег пошёл гуще, ветер дул всё сильнее.

Теперь они шли рощей, приближаясь к деревне.

Мимо ушей свистел ветер, свистели пули.

Вот и Солоничка споткнулся, склонился вперёд, вскрикнув.

Иванко замер, испуганно поглядел на Солоничку.

— Барабань, Иванко! Барабань!

— Да как же...

— Барабань, говорю! Не отставай!..

Иван цеплялся рукой за дерево, пытаясь удержаться на ногах.

— Иди!!!

— Я не могу!

— Иди...

Иванко медлил, вытер лицо рукавом. Губы его покривились. Трубачи уже скрывались за снежной пеленой.

Иванко прислонил тело Солонички к стволу сосны.

— Я вернусь, слышишь, Иван!

Но Иван уже ничего не слышал и не видел.

Иванко смахнул снег с лица Солонички. Перекрестил его.

И побежал догонять взвод музыкантов.

А турецкие ряды дрогнули, стали ломаться.

Пал первый редут, пал второй.

С перевала всё скатывались и скатывались бойцы, становились вместо убитых и раненых.

И как волны накатываются на берег, так и ряды скобелевцев наваливались на врага, крушили его.

Вессель-паше доложили, что их восточные редуты сломлены. Оттуда, как и на западе, свалились с гор русские — как снег на голову.

А снег в прямом смысле валился и с небес, кружил, не переставая.

Было одиннадцать часов тридцать минут двадцать девятого декабря одна тысяча восемьсот семьдесят седьмого года от Рождества Христова. По Григорианскому календарю, то есть по летоисчислению того стиля, которого придерживалась и придерживается Церковь, верная Апостольским заветам, данным им самим Спасителем.

Глядя, как усиливается метель, уже плохо видя, что происходит внизу, в долине, но верным чутьём воина понимая, что пришла решительная минута, решительный час, генерал Фёдор Фёдорович Радецкий приказал:

— Знамёна развернуть! Вперёд, братья! Ура!

И с Шипки, вылезая из-за брустверов, пошли на турецкие редуты удалцы орловские Парфён Кучкин и Матвей Сорокин, брянские, курские, рязанские — все богатыри, все герои.

Были среди них и те, кто не долечился, и полуголодные, в прострелянных шинелях, в сапогах, которые давно требовали не только починки, но и срочной замены.

Такие разные, но такие одинаковые по чувству, которое опалило их лица.

Чувству решительной схватки с врагом, которого именно сегодня, именно в этот час надо победить.

— С Богом! — сказал Перван и перекрестился. И ещё сказал, хоть это ему не положено по священническому сану: — Ура!

— Ура! — отозвалось среди воинов.

— Снег не малина, держись, вражина! — крикнул Матвей.

И они шли вперёд — навстречу жизни и смерти.

Навстречу славе.

Навстречу бессмертию.

Глава тридцать вторая. После битвы

Шипка-Шейново. 29 декабря 1877 года

Метель утихомирилась, сыпала последним снегом. Небо прояснилось, и в зимнем мареве увиделось поле битвы. Легли на мёрзлую, занесённую снегом землю, русские и болгары, румыны и сербы, турки, турки, турки — сколько убитых и с той, и с другой стороны, предстояло подсчитать. Но сейчас не скорбь о погибших, а воодушевление и радость владели войском победителей.

Галопом мчался на белом коне вдоль линии воинов, приветствуя их поднятой вверх рукой, генерал Скобелев. Несмолкаемое «ура» перекачивалось по рядам, летели в воздух шапки, фуражки.

Белый генерал сейчас являл собой символ Победы. Символ смелости и отваги, несокрушимости и высоты русского духа.

Много славных побед осталось позади, много будет у него впереди, но эта стала вершиной его воинской славы и доблести.

Теперь можно разглядеть рощу, справа от деревни Шейново, откуда должна была наступать, но бежала турецкая конница.

Первые ряды войска Скобелева отсюда ворвались в тыл противника, и этот маневр во многом решил исход битвы.

У деревни Шипка, на которую повёл своё войско в лобовую атаку Фёдор Фёдорович Радецкий, бой получился особенно кровопролитным. Но здесь удерживались основные силы противника, и это помогло обеспечить успех фланговых атак.

Иван Тепляков не сразу разобрался, как добылась победа. Но не это занимало его сейчас: чувство ликования переполняло и его сердце.

Он обнимался с незнакомыми солдатами и офицерами, подбрасывал, как и они, свою меховую шапку, приветствуя проскакавшего мимо Скобелева, чувствовал, что по щекам катятся слёзы.

Видя, как турки один за другим идут к подножию холма, куда бросают оружие, он, как и другие, понимал, что это не только победа здесь, у Шипки и соседней деревни Шейново, но нечто большее, что невозможно пока понять умом, но что чувствует сердце.

Ряды сдавшихся в плен турок всё не иссякали: их было несколько десятков тысяч. Принимали сдачу оружия генералы Радецкий и Столетов, стоящие рядом с ними штабные офицеры. Как записал один из штабных офицеров, в плен сдались около тридцати двух тысяч турецких воинов, в том числе одиннадцать генералов и около четырёхсот офицеров.

Тепляков подошёл к нашей группе офицеров.

— Не забудьте указать пять знамён и одиннадцать дальноточных мортир, — сказал Теплякову офицер, который знал Ивана ещё по Дунайской переправе.

Иван записал в походную тетрадь эти сведения, которые сегодня же предстояло передать с вестовым.

В нескольких верстах от деревни Шипка, в городке Зимнице, находилась телеграфная станция. Оттуда весть о победе русских, которые с сентября «сидели» на Шипке, полетела по всей Европе, ошелолив всех своей внезапностью.

Шипкинскому «сидению», казалось, не будет конца, как и войне, которая неизвестно когда и как закончится.

А война фактически околела к пяти часам тридцати минутам по Гривничу, когда турки начали сдавать оружие.

Русским войскам и болгарским ополченцам открылись дороги на западе — на Софию и на юге — к Адрианополю и Константинополю.

Обо всём этом Тепляков слышал от штабистов, радостно переговаривающихся между собой.

Надо бы и ему продолжать ликовать, но он, воспользовавшись заминкой, связанной с формальностями сдачи оружия, потихоньку ретировался.

Теперь его мысли снова вернулись к Албене, и он принялся искать её среди обозов, куда относили раненых и убитых.

Чем дальше шёл Тепляков среди подвод, крытых белым полотном, тем больше ему казалось, что и наши потери в этой битве огромны. И тем большая тревога прокрадывалась в его сердце. И уже не радость, а боль, перемешанная со всё возрастающим беспокойством, владела им.

«Да чего я паникую? — думал он. — Лазарет стоял на Шипке, они там и должны быть. Или спустились вслед за солдатами? Кого бы спросить?»

Теперь он подумал, что зря ушёл от офицеров: они бы всё и сказали. «Вернуться? Но ведь они заняты сейчас пленными. И на завтра будут готовить план... Господи, спаси и сохрани! Её ведь могли в этой бойне убить!»

Он шёл мимо разбитых орудий, мёртвых лошадей, переломанных подвод. Останавливался около лежащих на поле битвы воинов. Понимал, что Албены среди них нет, но всё равно не мог идти дальше, не убедившись, что среди павших нет живых.

— Вы кого-то ищите? — спросила его женщина в белой косынке с красным крестом, повязанной поверх шапки.

Тепляков оглянулся, обрадовался, что встретил сестру милосердия:

— Да, ищу. Может, вы поможете. Вы не из лазарета доктора Склифосовского, Николая Васильевича?

— Нет, у нас доктор Горячев, Сергей Иванович. А что?

— С Николай Васильевичем его жена, Софья Александровна. А с ней такая же, как вы, медсестра. Вернее не такая же, как вы, но тоже медсестра.

— И что? — у медсестры лицо было немолодым, усталым.

— Как что? — удивился непониманию Тепляков. Потом спохватился: — Ах да, вы же не знаете. Это моя хорошая знакомая. Её я и ищу.

— Вот как. Тогда вы совсем не там ищите. Сами подумайте: как же она может оказаться здесь, в самой гуще боя? Я вот смотрю, нет ли тут тяжелораненых. К тому же, насколько мне известно, лазарет Склифосовского стоит в Плевне.

— Нет, это он прежде там был. А потом перебрался на Шипку. А с Шипки, вероятней всего, сёстры спускались вслед за бойцами. Вот поэтому и она могла оказаться именно здесь!

Сестра окликнула бойцов, которые шли с носилками.

— Сюда! — она направилась к бойцу, который поднимал руку, призывая на помощь.

Раненым оказался турецкий солдат. Он то поднимал, то снова прижимал окровавленную ладонь к шинели, изодранной на животе осколком снаряда. Лицо его как будто состояло из одного только страдания: и чёрные глаза, как сливы, которые налились не сладким соком и мякотью, а невыносимой болью, и раскрытый рот с красными губами, и усы над ними, вымазанные, как и нос, кровью — всё взывало, молило о помощи.

— Господи, как же тебя угораздило, — сестра склонилась над турком, оторвала его ладонь от раны, стала расстёгивать шинель.

Турок быстро повторял одно и то же слово.

«Просит, чтобы я прикончил его», — понял Тепляков.

И тут же вспомнил того турка, которого пронзил штыком.

Рана была глубокой, но Тепляков, сам не понимая почему, стал помогать сестре накладывать на рану перевязку.

— Тоже ведь человек, — сказал солдат-санитар, опуская носилки на землю.

— Он башку бы тебе отрезал, коли бы ты, как он, лежал, — сказал второй санитар, укладывая турка на носилки.

И они понесли раненого к санитарной повозке.

Тепляков хотел идти дальше, но тут увидел барабанщика Солоничку, прислонённого спиной к сосне.

Тепляков поспешил подойти.

— Иван! Солоничка! — окликнул он.

Снял с убитого лямки барабана, смахнул с него снег. Огляделся, смотря, нет ли поблизости кого из похоронной команды. И тут увидел Иванко, шедшего к нему.

Обрадовался:

— Слава Богу, ты живой!

И прижал мальчишку к своей груди.

Радовался и Иванко.

Потом погрузистел:

— Похоронить надо Ивана.

— Да, конечно. Держи барабан.

Дождались солдат из похоронной команды, положили Ивана в длинный ряд тел, убитых в бою. Тут подошёл отец Борис. Поверх шинели ряса, епитрахиль, а потом чёрная фелонь с серебряными крестами. Голова непокрыта, в правой руке кадило, в которое он положил несколько кусочков ладана. Затешил кадило и, размахивая им, стал обходить длинный ряд убиенных.

Иван снял шапку. Иванко последовал его примеру. Они стояли около мёртвого Солоницына, тоже Ивана, и Тепляков вспомнил, как усатый солдат Егорий Тетюшин объяснял, что значат имена святых. Тогда он сказал, что Иван — Иоанн — благодать Божия.

«Пусть эта благодать пребудет с ним», — он нагнулся, встал на колени, прощаясь с Солоничкой. Тронул его грудь, и тут ему почудилось, будто его ладонь наткнулась на что-то.

«Это сердце?» — подумал он и почувствовал, как пот выступил на его лице и голове. Преодолевая страх, потрогал шинель сильнее. Выдохнул с облегчением, убедившись, что это не сердце обнажилось на груди у Солонички. Под шинелью, в мундире оказалась тетрадь. Бережно вытащил её и спрятал в свою походную сумку.

— Протём позже, — сказал он Иванко, обнял его за плечи.

После панихиды, уже в деревне, Иванко разыскал своих музыкантов. Иван хотел было направиться к штабу, но уже темнело, и капельмейстер, Адам Петрович, уговорил его остаться с

ними. Дом подыскали хоть и небольшой, но вполне пригодный для ночлега.

Весь следующий день Тепляков был озабочен не столько написанием сообщения о победе наших, сколько его отправкой. До Зимницы, находившейся не так далеко от Шипки по нашим российским меркам, по болгарским было далековато. Но тут Теплякову повезло: когда он расспрашивал самарских о Знамени, тут же оказался и шестовик Марюткин. Он-то и взялся через знакомых телеграфистов переправить депешу Теплякова.

— Вы себе не представляете, какая метель на Шипке была! Страсть! А телеграф должен работать. Как же иначе? Связь — она в бою первое дело! Налаживаю я провода, кричу напарника, Федьку, чтобы он меня держал: уносит прямо в пропасть! Жуть! А он меня не то что держать, сам удержаться не может! Сносит его! Карабкается, изо всех сил! Еле успел его удержать. Вот!

Марюткин, маленький, вёрткий, прославившийся тем, что на ярмарке влез на шест, где висели новенькие сапоги, оглядывал слушавших его, всем своим видом показывая, какой он маленький, да удаленький. Ждал, что будут сомнения в его подвиге, но никто и не думал сомневаться: все знали, какие ветра гуляют по вершине Шипки.

— Слушайте, Василий, — обратился к нему Тепляков. — Может, вы окажете мне ещё одну услугу? Это, если прямо сказать, для меня очень важно...

— А что такое? — Марюткин насторожился. Любил он показать, что и от него многое зависит, и помочь любил, в особенности офицерам и людям уважаемым, к которым он относил и Теплякова.

— Понимаете, — издалека начал Иван, — мне бы как-то узнать, где сейчас доктор Склифосовский. Он в лазарете был на Шипке. А теперь где, не знаю.

— Нет ничего проще, — тут же отозвался Марюткин. — Если они вообще в Москву не уехали, значит, в Зимнице, где ставка Главнокомандующего. То есть великого князя Николая Николаевича Старшего. И я могу через своих точно сказать вам прямо завтра.

— Сделай, Василий, очень прошу. Понимаешь, с женой его, Софьей Александровной, медсестра одна, Албена. Она мне жизнь спасла.

— А, вона что! — Марюткин допил чай, поставил кружку на стол.

Они вечеряли в том же домике, в котором ночевали и вчера.

— Понимаю...

— Ну, если понимаешь, как бы это узнать? Лишь то, что она жива. И что я жив. Понимаешь?

Василий задумался, нахмутив своё хитроватое лицо. Ожился, вскинул глаза на Теплякова:

— А вы вот что, Иван Иванович. Составьте депешу. Умную такую. Мол, вопрос наиважнейший. И будет вам ответ!

Улыбаясь, он настороженно смотрел на Ивана. Прислушивались к разговору и музыканты, но делали вид, что ничего не слышат.

— А ведь верно...

Тепляков достал тетрадь, карандаш.

Задумался.

«Что же написать? Господи, вразуми...»

И тут родились слова, словно их кто-то продиктовал ему:

«Из штаба генерала Радецкого от корреспондента Теплякова. Ставка. Прошу сообщить нахождение доктора Склифосовского. Вопрос жизни и смерти».

Тепляков вырвал страничку из тетради и передал её Марюткину.

Василий прочёл, лицо его приняло восторженное выражение:

— Коли так, Иван Иванович, расшибусь, а телеграмму передам.

И сдержал слово расторопный Марюткин.

Ответ Теплякову доставили 31 декабря 1877 года.

В телеграмме было написано: «Живы здоровы ждём вас любим с новым годом склифосовские».

Глава тридцать третья. Зов трубы ангела

Шипка, 31 декабря 1877 года — 1 января 1878 года

Домишко оказался маленьким, и Тепляков пожалел, что остался с музыкантами, а не нашёл другого места для ночлега. Успокаивало лишь, что рядом был Иванко: получалось вроде соединительного мостика с Албеной.

«Что значит «живы-здоровы»? — в который раз разбирал он по словам текст телеграммы. — Кто «живы-здоровы»? Под-

писано: Склифосовские. Если бы написали ещё и «Албена», всё было бы понятно. А так... Почему не написали? Гадай теперь!»

Он выбрал местечко в углу комнаты, на скамейке. Накрылся скобелевским полущубком и закрыл глаза. После всего пережитого ему казалось, что он мгновенно заснёт.

— Погляньте, Адам Петрович, как трубу Вениамина помяло, — услышал он голос Ростислава, игравшего на альтовой трубе.

— Видел.

Капельмейстер, высокий, худой, по фамилии Цирюльский, рассудительный, склонный к назидательности, находился в противоположном углу комнаты и никак не мог уместиться на деревянной кушетке.

С ним всегда располагались любимые его музыканты, самые способные из всего оркестра. Сам он превосходно играл на трубе высокой тесситуры¹ — так называемом саксгорне, или корнете. Второй трубач, Ростислав, играл на трубе уже баритональной тесситуры — трубе-альте, а третий, Артемий, на трубе-басе. Скобелев, который и в этом следовал Суворову, сформировал приличный духовой оркестр из десяти трубачей и двух барабанщиков. Оркестр имел новейшие инструменты, каких ещё не знали при Суворове.

— Пожалуй, придётся лечь на полу, — горестно подытожил Адам Петрович свои попытки лечь на кушетке. — Уступаю это прокрустово ложе тебе, Слава, — и сел, уперев длинные руки в худые колени.

За глаза музыканты звали его «Циркулем», и каждый раз, когда шли в атаку, просили Адама Петровича «не высовываться» по причине его высокого роста, боясь, как бы его не подстрелили. Но Адам Петрович как раз «высовывался», потому что не только возвышался над остальными, но норовил ещё быть поближе к Скобелеву. «А меня пули бояться», — говорил он с грустной улыбкой, показывая свои крепкие белые зубы на всегда гладко выбритом лице: Адам Петрович отличался ещё аккуратностью и чистоплотностью.

¹ Тесситура — преобладающее расположение звуков по высоте в музыкальном произведении по отношению к диапазону голоса (вокала) или музыкального инструмента.

— Вот я думаю, — продолжал вслух размышлять Адам Петрович, — как нам теперь играть без второго баритона? Или обойдёмся, Слава?

— Придётся обойтись, — ответил Слава-альт. — Никак не могу поверить, что Веньки нет!

Он положил трубу рядом с собой, горестно смотря на её загибы, напоминающие завитки улитки. Погладил их.

— Да!

— Не надо так переживать — война. А Вениамина я подменю, — сказал Артемий, такой же талантливый, как Ростислав. Был он молод, красив, несколько надменен, так как считал, что музыканты — люди особенные. А сам давно тяготился трубой-басом. Погибшего толстяка, простодушного Вениамина, Артемий недолюбливал, потому что считал, что он незаслуженно оттесняет его, более талантливого музыканта.

— Скобелеву сказать. Хотя ему сейчас не до нас, — сказал Ростислав. — Наверняка сейчас опять план наступления Радецкому втолковывает.

— Да уж наверняка! — Адам Петрович встал и чуть было не стукнулся головой о потолок. — Что за дом выбрали! Не повернуться.

Подошёл к столу, снял нагар со свечи.

— А знаете, господа, сегодня ведь тридцать первое декабря. Всё-таки Новый год, хоть и гражданский. А?

— У вас в Варшаве уже гуляют, Адам Петрович? Уже Рождество? — спросил Артемий. У него были чувственные, розовые губы, волнистые густые чёрные волосы, румяные, как у девушки, щёки. Сейчас он несколько иронически смотрел на костистого, угловатого капельмейстера.

— По-католически — да, уже Рождество. Ёлки в огнях... везде радостные лица, семейные торжества... Но и по-нашему, по-православному, всё равно Новый год положено отмечать. Так, господин литератор?

Тепляков поднялся с лежанки, сбросил полушубок:

— Совершенно верно, Адам Петрович. Ещё Пётр Великий распорядился Новый год тридцать первого декабря встречать. И нам как воинам, я думаю, не следует нарушать указ великого полководца. К тому ж после такой славной виктории.

Он полез в свой походный вещевой мешок, достал бутылку вина, подаренную ему ещё Верещагиным, когда он лечился у Склифосовского.

Эту бутылку Иван берёт для торжества, может, встречи с Албеной. А теперь решил неожиданно, что такая минута пришла.

— О, да вы богач! — обрадовался Адам Петрович. — А у нас, Слава, ничего нет?

— У меня есть, — сказал молчавший до того Иванко. — Вот, — и он выложил на стол завёрнутый в тряпичку кусок копчёного мяса, подарок одной из бабушек: Иванко получил его, когда они уходили из Плевны.

Нашлось ещё кое-что к застолью, и скоро они уселись за стол — маленький, но всё же праздничный.

— Ну что же, — сказал Адам Петрович, когда налил вино в кружки. — Положено, как мне подсказывает традиция, сначала проводить год уходящий, так? Или я путаю?

И он опять посмотрел на Теплякова.

— Не ошибёмся, если сначала помянем павших товарищей. Вечная им память.

Выпил и Иванко за своего старшего товарища.

Вино оказалось непривычно горьковато-терпкого вкуса.

Оживились, Артемий, сочинявший музыку, всё искал случая, чтобы сыграть мелодию, которая пришла ему недавно. Сейчас, раскрасневшийся, давно мечтающий о карьере композитора, он решился:

— А знаете, друзья, мне тут одна мелодийка пришла на ум. И всё не даёт покоя. Ну никак от неё не отделаюсь!

— Так сыграйте, — одобрил Адам Петрович.

Артемий отошёл от стола, взял трубу Вениамина, приложил мундштук к своим розовым губам.

И заиграл.

Мелодия получилась напевной, но слишком сентиментальной. Артемий играл чисто, труба его пела громко, но со сладеньким чувством.

— Ну что, неплохо, — сказал Адам Петрович. — И давно вы сочиняете, Артемий?

— Бывает. Это так, проба, — и выжидательно посмотрел на Теплякова.

— Похоже на пастораль, — сказал Иван.

— Это плохо?

— Нет, отчего же. Но я больше люблю романсы.

— А сами стихи пишете?

— Так... иногда. Больше читаю. Так много хороших поэтов! Вот и у нас в России их становится всё больше. Вы про Ивана Ивановича Козлова слышали? Нет? Удивительный поэт! Представляете, у него болезнь. Отнялись ноги. Мало того — стал слепнуть. И полностью ослеп! Так не то чтобы сдаться, он, говорят, без устали работает, языки изучает, переводит! Да как хорошо! Вот недавно напечатали в журнале... из Томаса Мура, английского поэта. Вернее ирландского. Я заинтересовался... Ещё Байрона почитает. Да и сам прекрасно пишет. Вам интересно, господа?

— Даже очень, — сказал Ростислав. — А что же этот, ваш тёзка... Вы что-нибудь из его стихов помните?

— Да, вот как раз из этого Томаса Мура... Прочёл — и сразу запомнил. Послушайте:

*Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.
О дальних днях, в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.*

— Пойдите! — воскликнул Адам Петрович. — Да эту песню я уже слышал! В Петербурге ещё! И мне кто-то сказал, что это русская народная! Подождите, дайте вспомнить...

Он полез за своей трубой, подготовил её к игре, вскинул вверх.

Лицо преобразилось, теперь морщины не старили, а, наоборот, как будто молодили его, глаза сосредоточились, наполнились музыкой, которая полилась, словно чистый ручей, из его трубы.

Мелодия ширилась, росла, ей стало тесно в этом маленьком доме. В ней была и неподдельная грусть по ушедшим, по родному, заветному, просторному, как долины, как реки, как сама жизнь. И эта же грусть таила в себе ещё и силу, и даже ту жажду жизни, о которой рассказал Тепляков про обезножившего, ослепшего поэта, не сломленного недугом, потерявшего, казалось бы, всё.

Взял трубу и Ростислав. Его труба запела в унисон трубе Адама Петровича. Вступила и труба Артемия. Взял барабан Иванко, стал ударять в такт, после каждого куплета.

Тепляков с чувством, заполнившим всю его душу, шептал слова ирландца Томаса Мура, который неизвестно почему вдруг стал таким русским, таким родным. Будто был он не из-под Дублина или самого Лондона, а из Рязани или Калуги, или Самары, не с берега Темзы, а с Волги или Оки. И всё благодаря Ивану Ивановичу с такой непозитической фамилией Козлов и неведомому композитору, который эти прекрасные строки положил на музыку. И она понеслась по свету, через страны, через моря и горы, летя от сердца к сердцу.

Тепляков не сдержался и запел. У него был небольшой, но чистый баритон, хороший слух, и ему не составило труда попасть в тон песни. Услышав слова, трубы чуть поутихли, дали голосу Ивана вести песню:

*...И многих нет теперь в живых,
Тогда весёлых, молодых...*

*...И как я с ним навек простясь,
Там слышал звон в последний раз....*

Адам Петрович опустил трубу.

Они и не заметили, как в домишко вошли Перван и Драган, другие бойцы-болгары. А к домику, услышав пение труб, потянулись один за другим офицеры, солдаты. И те, кто уже укладывался спать, подняли головы, прислушались к звукам труб, которые пели о далёком и прекрасном, близком и недостижимом.

Это был как зов трубы ангела, пролетевшего над Шипкой, над соседней деревней Шейново, над всеми Балканами, которые теперь навеки вошли и в сердца русских, болгар, сербов, румын — всех, кто воевал здесь и добывал победу, а значит, и свободу.

— Славно! — воскликнул Перван. — А нас пустите до вашей музыки?

Он прошёл к столу и поставил на него бутылку ракии.

Тут же увеличили стол, приставив к нему подставку из тумбочки и доски, сделав её столешницей. Сиденья организовали, придвинув стол к кровати. И кружки нашлись, и сдвинули их, и радость светилась у всех на оживших после смертельного боя лицах.

— За Победу!

- За Россию!
- За Болгарию!
- Ура!

В дом всё заходили и заходили воины, и вот уже и в самом деле стало негде повернуться.

— Знаете что? — предложил Перван. — Айда во двор. Там места всем хватит.

- А что?
- Верно!
- Да ведь морозно!
- Костёр разожжём!
- А начальство заругает?
- Не!

Высыпали во двор, быстро разожгли костерок. Кто-то из солдат приволок большущее бревно, которое оказалось сухим.

Костерок сразу превратился в большущий костёр.

— Адам Петрович! Нужна музыка! — крикнул знаменосец Фома Тимофеев.

— А это пожалуйста! — откликнулся Цирюльский.

Принесли трубы.

— А нашу сможете? — спросил Перван.

— Какую? Напой.

— Сейчас. Братья, давайте «Марицу».

Болгары запели и, поскольку Адам Петрович и его трубачи уже слышали этот марш, то быстро подхватили мелодию.

И все запели:

*Шуми, Марица
окровавлена,
плачет вдовица,
люто ранена.*

*Марш, марш,
с генерала наш!
В бой да летим,
враг да победим!*

Тут и в самом деле подошли генералы — Скобелев и Святополк-Мирский. Они шли из штаба, где решили, как действовать завтра. Скобелев настоял на том, чтобы без промедления,

пока турки не опомнились от поражения, преследовать их до Адрианополя и идти дальше, на Константинополь.

— Хорошо поёте, молодцы!— приветствовал всех Михаил Дмитриевич. — Как у вас, Адам Петрович? Все накормлены?

— Горшков убит, Вениамин. Барабанщик Солоницын, — отозвался Цирюльский.

— Венька? Баритон? И Солоничка ! Ах, чтоб их, турок треклятых! Как же не убереглись?!

— В роще, когда наступали.

— Ты вот что, Адам Петрович. Позаботься, чтобы родным написать. Да вот здесь Тепляков, литератор. Иван, слышишь? — обратился он к Теплякову. — Сделай милость, напиши. Замечательные были музыканты. И люди славные.

— Обязательно, Михаил Дмитриевич.

— Как у тебя? Здоровье?

— Всё хорошо. Ваш полушубок согревает.

— И славно. Просьбы?

— Всё те же. Чтобы мои депеши на телеграфе не залёживались.

— А! Говорят, ты всех перепугал. Что там написал?

— Да это личное... — смешался Тепляков.

— Уж не про эту ли болгарскую дивчину? Вижу, что про неё. Так ты не беспокойся. Верещагин мне докладывал, что она жива-здорова. И тебя ждёт. Про Василь Васильевича знаешь?

— Что? — испугался Тепляков.

— Да не бойсь, с ним всё в порядке. В Париж едет. Там хочет выставку организовать. Вот и тебе бы с ним поехать.

Тепляков пожал плечами: слишком неожиданным было предложение.

— И правильно: нам надо турка добить. А потом можно и в Париж.

Солдаты принесли ещё сучьев, подбросили в костёр. Он вспыхнул с новой силой.

Николай Иванович Святополк-Мирский нетерпеливо поглядывал на Скобелева.

— Да, сейчас идём. Ну, братцы, надо немного и отдохнуть. Завтра — в поход! Готовьтесь.

И они скрылись в темноте, как только отошли от костра.

Глава тридцать четвёртая. Проигранная победа
Варварино, Юрьевский уезд, Владимирская губерния.
Июль 1878 года

Предстояло ознакомиться с местом, где он теперь будет жить, и Иван Сергеевич Аксаков ранним утром вышел из барского дома.

Дом деревянный, с мезонином, есть и четыре колонны перед парадной, хотя и деревянные, но прочные, дубовые, хорошо сработанные. Вообще этот дом, который купила жена, Анна Фёдоровна, оказался гораздо лучше, чем он предполагал. Конечно, есть некое запустение и в самом доме, и в саду, потому что он пустовал почти год после смерти небогатой помещицы, дети которой предпочли жить в столице, а именье с деревенькой и землицей продать. Поскольку цена назначена сравнительно небольшая, то Иван Сергеевич и предположил, что барский дом и деревенька, и всё, что к ней относится, есть та самая глушь, где его теперь и предпочли видеть власть предержащие, отправившие Аксакова в ссылку.

Но всё оказалось не так уж и плохо. Конечно, немало придётся потрудиться, чтобы привести дом в надлежащий вид, но нормально жить можно было уже сейчас, благо, лето стояло тёплое, благоприятное, как выразился деревенский староста, обстоятельный и уважительный мужик почтенных лет.

Сразу за садом начиналось поле, и он невольно остановился и глядел, тихо улыбаясь, как недвижно стоит пшеница, наливаясь тугим колосом. Поле заканчивалось лентой реки, справа от неё, где она поворачивала, зеленела тёмная роща. Иван Сергеевич решил направиться к ней, потому что уже издали представил, какой оттуда откроется вид и на речку, и на соседние холмы за ней.

Отыскалась и тропа меж хлебов, и он, продолжая всё так же улыбаться, пошёл по ней, касаясь ладонью колосьев.

«В самом деле, чего это я? — подумал он. — Вот же, вот благодать, жизнь, которую они хотели у меня отнять. И поле, пусть и небольшое, не такое, как у отца в Оренбуржье было, но такое же прекрасное, как небо, лес и вон та речонка... Боже, как хорошо ты всё устроил! И как хорошо, что я здесь, в этом старом доме и на этом клочке земли!»

И тут ему вспомнилось:

*Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубые небеса.*

«Как хорошо он написал! Какой поэт замечательный, этот Толстой! Как у него там дальше? «И посох мой благословляю, // И эту бедную суму, // И степь от краю и до краю, // И солнца свет, и ночи тьму».

«Вот настоящая поэзия, — продолжал думать он, — написано не тобой, а кажется, будто сам всё написал... Удивительно, когда читаешь что-то настоящее, кажется, что это произошло именно с тобой. Будто про тебя написано. И запоминается, хотя и не заучивал... Вот, помню же:

*...И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду.*

«Всё так, всё так!»

Он вышел на берег речки и остановился. В просторном полотноном пиджаке, в шляпе, надетой на его крупную голову, в шароварах, заправленных в сапоги, бородатый, крупный, он сам был не менее живописен, чем тот пейзаж, который тронул его душу.

Как называлась речка, он пока не знал, но это его особенно не беспокоило. По течению реки, по её берегу, заросшему камышом лишь в небольших заводях, а здесь, куда он вышел, песчаному, он понял, что в реке, пожалуй, водится немало рыбы, и обрадовался этому, так как любил удить. Хотя и редко это удавалось, особенно в последние годы, он подумал, что теперь успокоит себя хотя бы рыбной ловлей. Да и место вроде для этого подходящее. Вон там, у камышей, где заводь, какой-то малый вытаскивает «морду», и в ней, кажется, немало рыбы...

Иван Сергеевич стал спускаться с пригорка к реке. Малый испуганно оглянулся, увидел барина и хотел дать стрелача, но жалко было бросать улов. Так он и стоял, замерев, и с ивовой ловушки для рыбы, которая называлась «мордой», или вентерем, стекала вода, капая ему на босые ноги.

Малый был в заплатанной рубахе навывпуск, в мятых штанах, закатанных до колен, тоже заплатанных. Он испуганно смотрел на Ивана Сергеевича голубыми немигающими глазами. Лицо загорелое, волосы белесые, густые, спутанные. Годов ему минуло шестнадцать, не более.

— Чего испугался? Или я такой страшный? — дружелюбно спросил Аксаков. — Вынимай рыбку да другие морды проверь. Или боишься, что рыбу отыму?

— Прежний барин, царство ему небесное, не токмо отымал, но и розгами порол. До осьмнадцати ударов.

— Ого! За это ему царствие небесное? Да его самого надо бы выпороть. И не осьмнадцать розог дать, а дважды по осьмнадцать.

Малый удивлённо смотрел на барина и, кажется, первый раз моргнул белесыми ресницами. Чуть осмелел:

— Да ну!

— Лапти гну. Доставай другую морду. Посмотрим, что попалось.

Попались несколько подлещиков и приличный судачок.

— Ого! — Иван Сергеевич держал перед собой морду, улыбался, вспоминая, как в детстве они сами плели такие же вот ловушки, ласково называя их «мордушками».

— Гляди, ещё и ёршики попались с подлещиками. Хорошо, что не щука. А то бы их слопала. Тебя как звать?

— Митяем.

— А меня Иваном Сергеичем. Давай, Митя, рыбку вынимай, приманку закладывай. На ущицу уже есть, теперь на жарку надо ещё судачка, а лучше — линя. У вас он водится?

— И язи есть. Эти лучше ловятся, если с сеткой зайти. Вон там, за излукой.

— О! Вот мы с тобой другим разом и зайдём. Речка-то ваша как называется?

— Колокша. Только она не наша, а ваша, барская.

— Ну, это как посмотреть, Митя. Глянь, а ведь кто-то к нам едет.

По дороге, что шла вдоль поля, лихо ехала коляска. Чем ближе она приближалась, тем отчётливей становилось видно, что коляска богатая, и что седок в ней непростой, в дорожном костюме, в летней широкополой шляпе.

Аксаков узнал друга Александра Ивановича Кошелева.

Иван Сергеевич поднял руку, пошел от реки по взгорку к дороге, чтобы коляска не проехала мимо. Но Кошелев и без этого уже успел заметить друга.

Они обнялись и троекратно похристосовались, взаимно радуясь встрече. Но более, конечно, обрадован и удивлён оказался Иван Сергеевич.

— Да как ты здесь? Вот не ждал!

— А ты, гляжу, уже рыбку приспособился ловить? Время не теряешь!

— Да чего там! Хожу, брожу, душу успокаиваю. Места славные, сам видишь. Есть где руки-то приложить. Однако рассказывай. Ты же у себя в Песочном должен быть. И вдруг здесь! Чудеса!

— Никаких чудес. Просто как узнал про тебя, сразу в Москву. А там наши сказали, что ты в ссылке. Ну, недолго думая, я и собрался к тебе.

Они уселись в коляску. Митяй в почтительной позе стоял у реки. Аксаков помахал ему рукой, прощаясь. Указал дорогу кучеру, и коляска, новейшая, на рессорах, с резиновыми шинами на колёсах, покатила к дому, где теперь жили Аксаковы.

— Знаешь, дом теперешний трудно назвать усадьбой. Анна Фёдоровна купила недавно. Так что не обессудь за неустроенность.

— Ну, это лишнее. Главное, ты жив и здоров. Надеюсь, и Анна Фёдоровна тоже.

— Вся в хлопотах. Без неё совсем плохо было бы.

Хозяйка уже шла им навстречу. В скромном платье, однако, сшитом не без изящества, в осанке, в умении держать себя как во дворцах, где она была фрейлиной при уже второй императрице, Анна Фёдоровна и в деревенских условиях оставалась той же дамой высшего круга, который был виден и по её облику, и по тому, как она говорила и вела себя.

— Принимай гостя, Аннушка, — несколько растерянно сказал Иван Сергеевич.

— Добро пожаловать, Александр Иванович, — отозвалась, чуть поклонившись, Анна Фёдоровна так, словно она принимала гостя не в захудалой деревне, а где-нибудь в салоне Петербурга или Москвы. Протянула гостю руку, и лицо её, несколько удлинённое, с прямым носом и чётко очерченным ртом, с глу-

бокими глазами, осветила радушная улыбка. Она была некрасива, в отца, а не в мать, немку Эмилию Петерсон, что слыла красавицей. Даже и милой Анну Фёдоровну нельзя было назвать. В ней более всего говорила немецкая строгость и даже суровость. Но стоило приглядеться, стоило ей заговорить, как проступало в её чертах многое от отца, поэта и мудреца, в которого без ума и влюбилась немецкая красавица, стоило ей только услышать этого русского Гёте. И Анна Фёдоровна, как и её отец, великий поэт и блестящий дипломат Фёдор Иванович Тютчев, взяла от отца и образованность, и ум, и умение ясно и ярко высказать свою мысль. Как раз эти-то качества и разглядел в ней Иван Сергеевич, и выбрал её в жёны, хотя ей было уже за тридцать, а ему сорок три.

Брак этих двух высоких умов оказался счастливым и прочным. Анна Фёдоровна не только взяла на себя все тяготы бытовой жизни, но помогала мужу и в творчестве, и в служебных делах, так как знала в совершенстве несколько языков и свободно ориентировалась и в литературе, и в международной политике. Поэтому и оставалась фрейлиной при императорских дворцах. Многие не любили её за прямоту, за приверженность к славянофильским взглядам, но к ней благоволили и Александр II, и Александр III, и дочери императоров, потому и оставалась Анна Фёдоровна при дворе.

Александр Иванович осмотрелся. Гостиная, довольно просторная, сейчас освещённая летним солнцем, выглядела уютно: в вазах полевые цветы, на столе, на этажерках выглаженные льняные скатёрки, на диване тоже льняной чехол. Этими украшениями Анна Фёдоровна сумела скрыть и немало уже послужившую хозяевам мебель, и недостаток средств, чтобы привести дом в вид, приличный для барской усадьбы.

Всё это сразу отметил опытный хозяйский взгляд Александра Ивановича. Он уселся на диван, глянул на друга:

— Однако ты, Иван Сергеевич, громыхнул! Да так, что тебя вся Европа услышала! И поделом ей!

— Да что там! Толку-то. «Шумим, братец, шумим»!

— Не скажи. Ты оратор известный. Но на этот раз сам себя превзошёл. Эту твою речь долго ещё народ русский помнить будет. И благодарить тебя, что такую суровую правду, не боясь ничего, высказал.

Иван Сергеевич нахмурился, устало вздохнул:

— Будто не знаешь, как у нас правду-то воспринимают. Назвали меня смутьяном. Будто я не за Россию вступился, а, наоборот, вред ей причинил. Ничего, де, не понимаю в международных делах.

Кошелев оживился:

— Да тут не надо семь пядей во лбу иметь, чтобы понять, что мы победу на блюде англичанам и французам преподнесли. Да ещё шутовской колпак надели, как ты правильно сказал. Веселитесь, мол, мы в эту войну просто так тысячи людей положили. Чтобы вы нам условия мира продиктовали. И что за судьбина у нас такая, никак в толк не возьму! В который раз сами победу отдаём. И ещё унижаемся! Как подумаю, что Скобелев со своими молодцами всего в семнадцати верстах от Константинополя был, так моё сердце прямо охоланывается! Ведь вековая мечта всех славян осуществилась бы! Наш был бы Царьград!

— Да, Саша, да, дорогой друг. Останавливают нас, когда до мечты рукой подать. Боятся нас. Вот в чём дело.

— А мы чего боимся?

— Нам говорят, не время. Опять, де, война началась бы. Уже с немцами и австро-венграми. При полном согласии англичан с французами. Не говорю про турок.

— Да слышал я это! Но ведь и ты же ясно сказал, что ничего бы мы не проиграли, если бы в Константинополь вошли. Легче нам было бы с ними разобраться, кому чего отдать. Разве не так?

Стол между тем накрыли под присмотром Анны Фёдоровны, и она пригласила друзей переместиться к графинам и графинчикам, к холодным закускам и горячему самовару.

— Это что у вас, — спросил Александр Иванович, показывая на графин с рубиново светящейся под солнышком жидкостью. — Клюковка?

— Ваша любимая, — отозвалась Александра Фёдоровна. — Знаете, господин Дюма-отец написал «Путевые впечатления» о России. Не читали?

— Нет, я, знаете, не поклонник его романов.

— Речь не о романах. Я его помянула как раз к вашему разговору о Берлинском конгрессе, где победный пирог делили. У господина Дюма очень глубокие познания о России.

— В самом деле? — удивился Кошелев.

— Да, — невозмутимо ответила Анна Фёдоровна. — Он там пишет, как они сидят в саду и пьют чай из самовара под развеистой клюквой.

Кошелев оторопело смотрел на Анну Фёдоровну сквозь свои маленькие круглые очки.

Потом вдруг весело, совсем по-мальчишески, засмеялся. Крупное лицо его сморщилось, очки чуть не упали на пол, так он затрясся всем своим тучным телом от смеха.

— Ой, не могу! — причитал он, продолжая смеяться. — Ну, Анна Фёдоровна! Ну, насмешила!

— Не я, а господин Дюма. Вот вам и ответ, Александр Иванович, как европейские умы Россию знают и понимают.

Иван Сергеевич ласково посмотрел на жену. Улыбался, держа в мясистой ладони солидную рюмку с клюковкой — настоящей на клювке водкой.

— Ну, Саша, за Россию нашу клюковку выпьем. А развеистая клюква пусть с французами остаётся. Думаю, она надолго теперь к ним прилипнет.

Выпили, с аппетитом стали закусывать деревенскими разносолами, которые были один лучше другого: огурчики в дубовых листьях, маслятки в сметане, белые с маслицем и перчиком, груздочки солёные, буженинка, судачки заливные и прочее, и прочее. Вспомнили про «Славянский базар» и как принимали там самарских посланцев, про Знамя их тоже вспомнили.

— От Алабина недавно письмо получил, — сказал Иван Сергеевич. — Теперь он в Софии. И как хорошо там губернаторствует! Не ошибся в нём князь Владимир Александрович. Сам за гражданскую часть новой Болгарии взялся, а Алабин за хозяйственную и культурную. И как ладно всё у них получилось! Не забудет их Болгария. Давайте помянем друга нашего, князя Черкасского. Светлая ему память!

Князь Владимир Александрович Черкасский был одним из самых рьяных сторонников заключения справедливого мира после Русско-турецкой войны, которая так внезапно закончилась, когда русские войска, разгромив турок под Шипкой-Шейново, затем под Адрианополем, победно шли к Константинополю, именуемому турками Стамбулом. Внезапный переход через зимние, заваленные снегом Балканы, прекратившие сидение на Шипке, ошеломил не только турецкую армию, но и

Европу, которая думала, что русские завязли в Балканах, по крайней мере, до весны. Больше других всполошилась Англия, которая вот-вот могла потерять Босфор и Дарданеллы, а значит, и господство не только над Средиземноморьем, но и вообще на море. Свои интересы отстаивали, останавливая русского медведя, и немцы, и австрийцы, и турки. Объединившись, они пригрозили России войной, и русской армии, впереди которой шёл непобедимый Белый генерал, приказано было остановиться.

Под Константинополем, так и оставшимся за турками, в местечке Сан-Стефано, подписали мирный договор, одним из авторов которого с русской стороны являлся князь Черкасский. И надо же так случиться, что самый деятельный участник этого соглашения скончался в Сан-Стефано именно в день подписания договора.

— Господу, видимо, было угодно, чтобы князь не дожил до Берлинского конгресса, — сказал Кошелев. Сидел он на удобном стуле, за прекрасным столом, с друзьями, и тяжесть, лежащая на сердце, отступила. Но, главное, появилась возможность высказать всё, что наболело на душе. Высказать именно Ивану Сергеевичу, который сказал такую замечательную, пронзительную даже речь на заседании Славянского комитета. Вряд ли кто предполагал, хотя и знали ораторский талант Аксакова, что он скажет то, что кипело и рвалось из самого сердца всего русского народа-победителя, который так бесцеремонно и ловко обжулили и Бисмарк, сидевший во главе Берлинского конгресса, пересмотревшего Сан-Стефанский мирный договор, и Дизраэли, английский мастер политической интриги, и прочие европейские дипломаты. Они буквально загнали в угол последнего канцлера России, министра иностранных дел светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова, который не мог противостоять напору западных дипломатов. Да и инструкции он получил, видимо, такие, каких и держался.

Об этом Александр Иванович спросил Анну Фёдоровну.

— Конечно, государь надеялся, что Горчакову удастся подписать соглашения, более выгодные для нас. Но ведь Александр Михайлович слишком стар. Устал. Да к тому ж он больше мастер писать бумаги, чем вести полемику.

— Но государь мог... прервать переговоры.

— Что вы! Главное для него было — мир. Болгария получила независимость, пусть и с неполной территорией, и это главное.

— Да кто же спорит, — тут же возразил Кошелев. — Но и австрияки своё получили, и турки остались не очень-то ущемлёнными, и англичане успокоились, проливы сохранив. И французы тоже не в обиде. Все загребли жар русскими руками. Бисмарк тут очень постарался! Хотя и делал вид, что хранит нейтралитет. Лиса! Александру нашему показал, что дружить с ним необходимо.

— Ты прав, — спокойно сказал Аксаков. — У них у всех одна цель — лишь бы нам сделать какую-нибудь гадость. Дескать, не очень-то выставляйтесь. А то получите по носу. Помнить надо нашим западникам, что дудят они в эту дуду. И будут дудеть.

— И долго, как ты думаешь?

— Всегда, наверное.

Помолчали. Анна Фёдоровна предложила перейти на террасу. Так и сделали. Здесь, обдуваемые ветерком, смотрели на заросший сад, который всё равно был красив, хотя новые хозяева успели очистить лишь дорожку от парадного. Может быть, эти заросли кустарника, эта неухоженность между липовой аллеей и растущими слева и справа клёнами, ясенями, молодыми и старыми, как раз и создавали ту красоту, которая была мила сердцу Ивана Сергеевича. В ней он видел естественность самой природы, которая по своему усмотрению распоряжалась, где и как расти деревьям, кустарникам, траве и цветам.

Анна Фёдоровна знала это и потому, не вдаваясь в обсуждения, постепенно наводила порядок, делая сад похожим на сад, а не на заброшенный лесной участок. И сейчас, сидя на веранде, она прикидывала, какие деревья спилить, какой кустарник расчистить.

— Знаешь, что меня сейчас больше всего беспокоит? — спросил Аксаков друга. — Вернее кто?

Александр Иванович повернулся лицом к другу.

— Скобелев, — не дожидаясь вопроса, сказал Иван Сергеевич. — Он вполне может повторить поступок Черняева.

— Да что ты!

— Я ещё в Москве знал, что он сам по себе снова в Болгарию собирается. Довести дело до конца. То есть взять Константинополь.

Кошелев весь обратился в слух.

— Пакет мне вручил. Дескать, там мои распоряжения. Потом письма ко мне написал. Все свои владения и в Рязани, и в Москве продал — собирает деньги для военных действий. И слушать не хочет, когда ему про Михаил Григорьевича Черняева напомнил, и чем его поход в Сербию закончился. Будто у того денег на содержание войска не хватило, потому он и потерпел поражение. А вовсе не потому, что его государь не поддержал и осудил даже за недопустимость непослушания верховной власти.

— Я читал про выступления Скобелева в Париже, — сказал Кошелев. — Он прямо призывает идти на Балканы. О зверствах турок много рассказывает.

— Да ведь он уже прекратил свою агитацию в Европе. Государь ему прямо приказал, — уточнила Анна Фёдоровна.

— Ах, Аня, ты не знаешь его характера. Он генерал, который не знал ни одного поражения. Конечно, это глупости, когда некоторые толкуют о том, что он на трон замахнулся. Он не Наполеон и знает, что такое присяга на верность Царю и Отечеству. Но отправиться на Балканы самостоятельно он вполне может. Его ведь сами болгары в цари хотели выбрать, да он категорически отказался. Он за идею объединения всех славян, это да. И за то, чтобы войну за освобождение Балкан от турок полностью довести — тоже да. И тут никакие резоны его не остановят. Вот такая история.

— Всё же надо его остановить, — твёрдо сказала Анна Фёдоровна.

— Как? — неожиданно тихо произнёс Александр Иванович.

— Если он сам не поймёт, что это повторение черняевской затеи, быть беде, — сказал Аксаков.

— Надеюсь, что беды не будет, — возразила Анна Фёдоровна. — Слишком замечательный человек, и Россия не может его потерять.

— Я вам не говорил, а сейчас скажу, — Иван Сергеевич строго посмотрел на жену, потом на Кошелева. Лицо его приняло выражение суровое, несколько даже трагичное. Так бывало, когда он говорил о чём-то самом важном. Анна Фёдоровна слишком знала мужа и по тому, как он выпрямился в кресле, как поправил очки, как откинул назад голову, пристально глядя на собеседников, поняла, что он действительно хочет сказать нечто важное.

— Во-первых, пакет, который он мне оставил. Сказал, что отдаёт распоряжения на всякий случай. Потому что его не покидает нехорошее предчувствие, будто что-то должно случиться.

Помолчали, раздумывая над сказанным Иваном Сергеевичем.

Молчание прервала Анна Фёдоровна:

— Каждому человеку свойственно чего-то опасаться. Тем более перед таким предприятием, какое он решил затеять. К тому же не исключено, что за ним установлено наблюдение, и он мог это заметить.

— Но, Анна Фёдоровна, он же не робкого десятка человек... И если оставляет пакет, то не на всякий случай: так мы обычно говорим...

— Вот и я так думаю, Саша, — сказал Иван Сергеевич. — Да, он действительно не робкого десятка. И сам мне говорил, что тот, кто заявляет, что не испытывает страха, просто врёт. Храбрец тот, кто умеет победить страх. Вот в чём дело. И если отдаёт распоряжения на случай смерти, значит, чувствует реальную опасность. Вот от кого, как вы думаете? Я к тому, что мы должны хоть как-то обезопасить Михаила Дмитриевича... А?

— Вряд ли. Если за ним слежка, значит, по приказу... Приказ может исходить от тайных обществ, коих у нас развелось немало. Они нынче не очень-то скрываются...

— Вы имеете в виду «Священную дружину»? Насколько мне известно, Михаилу Дмитриевичу предлагали вступить в неё, но он решительно отказался.

— Может, они как раз из-за этого за него и взялись, — возразил жене Иван Сергеевич. — Из мести. Или из раздражения, что он императора защищать не желает.

— Нет, верность императору он доказал и на Балканах, и в Туркестане. Это ведь не в гостиных о любви к императору разглагольствовать. Или доносы строчить.

— Верно, дорогой друг. Только скажу тебе, что Михал Дмитриевич и с масонами знался. А они просто так от себя людей не отпускают. И шпионы из Европы могут быть — хоть английские, хоть немецкие или ещё какие. В любом случае я тебя попрошу, Саша, поговорить с ним. Я бы сам, да мне предписано здесь сидеть. Может, сумеешь его убедить, что на Балканы ехать не надо, не время... Ведь он же поступил благоразумно, оставив

без внимания несколько вызовов. А? Хотя бы попробуй отговорить. И наше с Анной Фёдоровной мнение передай. Хорошо?

— Хорошо, — согласился Кошелев.

Глава тридцать пятая. Смерть героя

Москва, 26 июня 1882 года

— Иван Ильич, милый, дорогой, ну ты соберись, вспомни хоть малость какую. Давай так. Где ты был перед тем, как вернуться домой? Место назови. Одно слово скажи. Одно! Ну?!

Скобелев сидел на стуле перед Иваном Ильичом Масловым, управляющим Московской удельной конторой. Уже больше часа он тщетно пытался получить от Маслова хоть какой-то ответ. Хотя бы одно только слово, за которое можно уцепиться, чтобы начать действовать. Но даже и слова от своего распорядителя денег Михаил Дмитриевич получить не мог.

Маслов то мычал, произнося что-то невразумительное, то бормотал испуганно:

— Уги, уги!

И бессмысленно тарашил мутные глаза.

— Ну хорошо. Место не помнишь, так имя назови. Имя! Ну?!

У окна стоял подтянутый, с лицом, на котором красовались аккуратная бородка и усы, чёрные, с проседью, Николай Васильевич Склифосовский. Взгляд тёмных глаз прямой и уверенный.

— Не мучайся, Михаил Дмитриевич. Помешательство явное. И сильные изменения в мозгах, которые и приведут довольно скоро к летальному исходу.

Скобелев встал, сжал кулаки.

— Может, дать ему по башке, чтобы очухался?

— Да что вы. Вполне вероятно, что по голове его как раз и стукнули. А чтобы следов не осталось, тяжёлый предмет завернули в одеяло, например.

— Вы точно так считаете?

— Мог быть и внезапный апоплексический удар.

— Какой удар?

— Кровь в голову ударяет внезапно. В мозгу остаются кровавые сгустки. И память, и речь отшибает. Человек может перестать ходить, превратиться в лежащую куклу. Вы разве не видели таких на войне?

— То на войне! — отчаянно вскричал Скобелев. — Ведь всего три дня тому он был нормальным!

— Сильное потрясение, Михаил Дмитрич. Или яд. Водка, в конце концов.

— Да ведь он непьющий.

— Вот такому-то непьющему водка как раз и может в голову ударить.

— И что мне теперь прикажешь делать?

— Пусть родственники решают, где его держать. А вам надо все банки объехать. Миллион ведь не иголка в стогу сена.

— Да уже везде был, всё бесполезно! Именно иголка в стогу сена!

Лицо генерала, которого и пуля, и сабля не брала, и снаряды пролетали мимо, теперь исказила такая гримаса, будто он смертельно ранен.

Николай Васильевич даже испугался:

— Ну, Михаил Дмитриевич, что вы! Не хватало, чтобы и вас хватил удар. Пойдёмте отсюда.

Скобелев глянул на полоумного Ивана Ильича, который продолжал бормотать: «Уги, уги» — и трясги головой, махнул рукой и пошёл к выходу из комнаты. На пути попалась хозяйка дома с горестным лицом, мокрым от слёз. Скобелев быстро прошёл мимо, вышел на улицу. Следом вышел и Николай Васильевич.

— Может, заедем ко мне? — предложил Склифосовский. — Тепляков у меня. С молодой женой, болгаркой Албеной. Санитарка, помните?

— Как же, как же, — оживился Скобелев. — Кланяйтесь им. А я продолжу розыски. Всё же надеюсь какую-нибудь зацепку найти.

— Понимаю, Михаил Дмитриевич. Ведь и не такие перевалы одолевали. Не верю, что этот проклятый миллион вас подкосит.

— Нет-нет, не беспокойтесь. И благодарю вас, Николай Васильевич. Из всех докторов только вам и верю. Вы врач от Бога, в людях и болезнях больше других разбираетесь. Ну, прощайте.

Пожали друг другу руки, сели в свои коляски и разъехались: Скобелев — в гостиницу Дюссо, где остановился, вернувшись из Петербурга, Склифосовский — не домой, а в свою больницу,

где его ждали пациенты, которых, в отличие от Маслова, можно было вылечить.

Ивана Ильича Маслова Скобелев знал с детства. Иван был крестником отца Михаила Дмитриевича, рос в доме Скобелевых и был Мише всё равно как брат. И учёбой, и продвижением по службе смыслённый мальчик Ваня во всём был обязан генералу Дмитрию Сергеевичу Скобелеву, благоволившему к сыну своего небогатого сослуживца Ильи Маслова. Когда выросли и выучились, Миша по военной, а Ваня по гражданской части, все свои финансовые и хозяйственные дела Михаил Дмитриевич поручал Ивану Ильичу. Особенно после развода со своей гордой и своенравной супругой, Марией Гагариной, фрейлиной императрицы, от которой он просто сбежал. Гражданских дел накопилось множество, и Иван Ильич замечательно с ними справился. С той поры и всякий раз, уходя в походы, Михаил Дмитриевич поручал Маслову вести мирские дела, с которыми Иван Ильич неизменно управлялся. Поэтому и сейчас, реализуя все свои акции, золото, ценные бумаги, превращая их в наличный миллион, который Скобелев решил взять с собой на Балканы, Михаил Дмитриевич поручил собрать наличные именно Ивану Ильичу.

И вот результат: все деньги пропали, Маслов сошёл с ума и потерял дар речи.

«Кто-то, видать, крепко постарался», — думал Скобелев, подъезжая к «Славянскому базару», где решил отобедать. Здесь надеялся встретить кого-нибудь из друзей, способных дать дельный совет. Попался князь Оболенский, давний товарищ юношеских лет.

— Мишель! — окликнул он, завидя Скобелева. — Сюда, прошу.

Скобелев подошёл к Оболенскому, поздоровался, осмотрелся. Потом провёл товарища в отдельный кабинет:

— Здесь будет лучше. Никто не помешает.

Но тут же, словно из-под земли, вырос метрдотель, которого никто здесь так не называл, а величали распорядителем ресторана, тот самый — в красной шёлковой рубаше, поверх надет чёрный жилет, в плисовых синих штанах, заправленных в хромовые сапоги.

— Чего изволите? — и, не получив ответа, предложил для начала отведать яичницу по старинному рецепту, который недавно удалось раздобыть: — Не пожалеете, вкус отменный.

— Да пошёл ты к чёрту со своей яичницей! — вспыхнул Скобелев. — Водки неси. И портеру.

Распорядитель, никогда не видевший Скобелева в гневе, оторопел. Удивился и Оболенский:

— Да что ты, Мишель? Сам на себя не похож.

— Будешь тут сам не свой, — Скобелев снял португезу с саблей, пристроил её в угол кабинета, уселся на диванчик.

— Давно в Москве? — спросил его Оболенский, усаживаясь напротив.

— Лучше бы не приезжал вообще, — грубо ответил Скобелев.

Немного успокоился, выпив водки и запив портером. Оболенский терпеливо ждал, когда сам Михаил Дмитриевич расскажет, что с ним приключилось.

Они были ровесниками, одно время дружили, часто встречались и не только на пирушках. Скобелеву нравился Митя Оболенский — обаятельный, щедрый безоглядно, к тому ж не просто гуляка, но серьёзный юноша, увлекающийся историей и литературой. Жаль, что Дмитрий избрал не военное поприще, по которому пошёл Михаил, потомственный военный. А молодой князь Оболенский предпочёл заниматься науками, более всего историческими. Пробовал себя он и в коммерческих делах, но, раза два-три полностью потерпев фиаско, понял, что коммерция не его стихия. Последнее его предприятие состояло в поставке сухарей в действующую армию. Но и тут у него не достало деловой сметки, и он с трудом выпутался из этого дела только благодаря отцу, влиятельному сановнику.

— Ну, рассказывай, что случилось.

Скобелев рассказал.

Дмитрий слушал и ушам своим не верил.

— Господи, я Ивана Ильича не могу в краже обвинить. Да и куда ему миллион? И зачем? К тому ж раз он с ума сошёл, значит, его кто-то ловко обманул! Или ограбил!

— Нет, тут не грабёж, — возразил Скобелев, снова наливая себе водки. — Следов насилия-то нет. Склифосовский его осмотрел. Тут какая-то ловкая интрига. Не могу её распутать!

— Подожди пить. Давай закусим чего-нибудь.

— Не могу я есть, — и Скобелев осушил рюмку до дна. Опять запил портером.

Дмитрий всё-таки распорядился подать холодных закусок, потом принести горячего запечённого мяса в тесте, которое здесь готовили особым способом.

Скобелев пил и не хмелел. Закусывал нехотя. Больше налегал на портер.

Всех знакомых, с кем мог общаться Иван Ильич, Скобелев уже объехал. Толку от этого не вышло никакого: все в один голос говорили, что видели его в полном здравии или вообще не видели. Домашние говорили, что привёз его на лихаче знакомый подрядчик. Скобелев и с подрядчиком этим поговорил. Тот доложил, что застал Ивана Ильича на улице, уже невменяемым. Дворник из соседского дома тоже ничего объяснить не мог. Увидел больного человека, хотел позвать полицейского, но тут и случился подрядчик. Со всеми Скобелев уже виделся, всех опросил, ничего не добился.

Оболенский водку пить не стал, заказал шампанского.

Скобелев выпил и вина.

И всё не хмелел.

— И что же ты теперь, Миша? Не поедешь на Балканы?

— Да как не ехать! В газетах пишут, уже стычки на границе с турками. Войны не избежать. А у меня есть план, как турок добить.

— Но ведь нужно войско.

— Наберу из болгар. И сербов. Мне только кликнуть. Явятся и наши добровольцы.

— Нет, Мишель, народ уже устал от войны. России теперь нужен мир.

— Говорю, стычки на границе. Какой тут мир! Не понимаешь ты в военных делах, Митя. Сейчас как раз и нельзя туркам дать опомниться.

— А союзники?

— Союзники только на ассамблеях воевать горазды. Все они паркетные шаркуны. А как до драки дойдёт, сразу в кусты.

— Не горячись, Мишель. Если бы всё было так просто, разве царь согласился бы на такой обидный для нас мир?

— Скажи лучше — позорный.

— Ну, нельзя так, Мишель.

— Нельзя? Ты что, с Иваном Сергеевичем не согласен? Речь его не читал? Я с собой её опять взял — на одном собрании выступал. Не буду говорить, на каком.

Скобелев грозно смотрел на князя. Полез во внутренний карман кителя, вытащил оттуда сложенные листки, отпечатанные типографским способом.

— И тебе надо напомнить, что Иван Сергеевич говорил. Вот.

Он нашёл нужное место и прочёл: «Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побеждённую? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, поднятых тобою трудах, молишь простить твои победы?.. Едва сдерживая весёлый смех, с презрительной иронией похваливая твою политическую мудрость, западные державы, с Германией впереди, нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением чувствительнейшей признательности, подклоняешь под неё свою многострадальную голову!..»

— Хватит, Мишель, хватит! Я читал! — всполошился Оболенский. — И не надо так громко!

— Трусись? Нет, я ещё почитаю, чтобы тебе напомнить, куда мы пришли.

И он продолжил чтение: «Что бы ни происходило там на конгрессе, как бы ни распинаялась русская честь, но жив и властен её венчанный оберегатель, он же и мститель! Если в нас при одном чтении газет кровь закипает в жилах, что же должен испытывать Царь России, несущий за неё ответственность перед историей? Не он ли сам назвал дело нашей войны «святым»? Не он ли, по возвращении из-за Дуная, объявил торжественно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских городов, что «святое дело» будет доведено до конца?»

Скобелев поднял глаза от листков, устремил грозный взгляд на князя:

— Слышишь, Митя, «до конца»!

Скобелев наполнил бокал шампанским.

— Всё ясно, Мишель. И хватит, пожалуй, пить. Тебе же нельзя.

— Кто сказал? Ерунда! Трофим! Или как там тебя...

— Трофим Аристархович, — подсказал Оболенский.

— Ну, ладно. Трофим Аристархович... Теперь и я, пожалуй, съем селяночку. И ещё шампанского принеси, Аристархович. И не сердись на меня. Плохо мне, понимаешь?

— Понимаю, Михаил Дмитриевич. И нисколько не сержусь. А всем сердцем — с вами.

— Вот видишь, Митя. Народ меня понимает. И царь поймёт.

— Вас народ не только понимает, но и любит бесконечно, Михаил Дмитриевич, — Трофим Аристархович слегка поклонился и отправился выполнять заказ.

Дмитрий Дмитриевич Оболенский немного успокоился, видя, что гнев Скобелева поостыл. Дивился князь, что генерал хмелен в меру и горячего себе заказал. Значит, контролирует себя.

«И всё же, — думал князь, — как бы помочь ему... Как бы отвлечь от тяжёлых мыслей... Ведь пропал миллион. Всё состояние...»

— Мишель, имение ты, надеюсь, не продал?

— Хотел. А то бы и голову негде было поклонить.

— А здесь, в Москве?

— Здесь ничего не осталось. Всё ей, бывшей моей, досталось. Марусеньке... Да не беспокойся, Митя. Кое-какие наличные у меня остались. И на дорогу наберётся.

— Слава Богу. Знаешь, Мишель, я что подумал? Надо тебе разрядиться... Отдохнуть...

— А мы чего делаем?

— Я не о том. Вот ты Марусю свою вспомнил... Ладно, пусть её... я о другом. Тебе женская ласка нужна.

Скобелев усмехнулся. Но в глазах прыгнул огонёк, и князь заметил это.

— Эх, Митя, были и мы рысаками. Когда-то.

— Брось! Вон сколько выпил, а не хмелеешь.

— Это другое. Налей, Аристархович.

Трофим Аристархович, вошедший в кабинет, откупорил шампанское и наполнил бокалы.

— Выпьем, Митя. За нашу молодость. За наши победы... и беды.

— Нет, за беды пить не будем. А за победу выпьем.

Оболенский с грустной тревогой смотрел на Скобелева. Им овладело беспокойство, от которого он уже не мог избавиться. Даже поскорее захотелось уйти от товарища. Но он поборол это желание.

— Тебе надо быть осторожней, Миша. Ну посуди сам. Миллион как в воду канул. Иван Ильич сошёл с ума. А сколько вызовов тебе пришлось? Неужели не понимаешь, что тебя хотят убрать?

Скобелев резко вскинул голову. Снова глаза в глаза уставился на князя.

— Знаешь, Митя, трус не тот, в ком нет страха. Трус тот, кто не может победить страх. Самое страшное не сам бой, а ожидание боя. Я всегда это помнил. И своих солдат как раз перед атакой, как мог, укреплял духом. Понимаешь?

— Я, может, не понимаю, как вести себя в атаке, но как защищаться — понял. Иначе давно был бы разорён. Поэтому послушай, Мишель. Ради всего святого...

— Ну?

— Хотя бы схитри. Обмани врага.

— Как?

— Ну, заяви, даже публично, что ты, например, ждёшь назначения в Туркестан. Что там у тебя остались нерешённые дела... А деньги собирай тайно.

— И время для атаки будет упущено, — подытожил Скобелев. — Нет, Митя, тактика должна быть другой. Пусть все видят мой белый мундир. И всё равно промажут!

Видя удручённый вид князя, Скобелев умирил воинственный пыл, выдохнул всей грудью, перед тем как выпить шампанское, и махом выпил. Вытер свои усы, обмахнул ладонью бороду, а-ля Франц-Иосиф.

— Не горюй, Митя. Рано Скобелева хоронить.

— Да я...

— Знаю. И я тебя люблю. Пойду, Митя. И в самом деле мне надо отдохнуть.

Он встал, полез во внутренний карман кителя, но Дмитрий его остановил:

— Позволь мне рассчитаться, Миша. И ещё, по старой дружбе... Вот тут у меня есть немного. Сделай милость, дай мне радость тебе помочь, — и положил на стол несколько крупных ассигнаций.

Скобелев глянул на деньги, улыбнулся:

— Благодарю, Митя. Мне и в самом деле теперь деньги нужны.

Обнялись, поцеловались троекратно, и Скобелев решительной походкой направился к выходу из ресторана.

С ним раскланивались, приветствуя его, кто радостно улыбался, кто даже вскрикивая. Но он не останавливался, кивал всем, отвечая на приветствия. Взял извозчика и, когда сел в ко-

ляску, заметил какого-то господина, будто бы шедшего мимо, но явно замедлившего шаг.

«Кто это? — подумал Михаил Дмитриевич. — Как будто я его где-то видел. А, это Митя на меня подозрительность нагнал...»

Однако если бы Скобелев оглянулся, то заметил бы, что господин в светлой паре, в канотье, тоже взял извозчика и поехал вслед за генералом.

В гостинице, оставшись один, он снова принялся обдумывать своё нынешнее положение. И опять почувствовал какую-то тяжесть, навалившуюся на сердце.

«Да что такое! — подумал он. — Ну, потерял миллион. Ну не смертельно же! Верно Николай Васильевич сказал: «И не такие перевалы брали!» Деньги соберу... Надо обдумать хорошенько, кто дать может. Через «Славянский комитет» клич кинуть... Держи карман шире! Комитета теперь нет, закрыли, разогнали... Всё-таки надо кого-то найти... Кошелева! Да! Он подскажет, кого ещё в помощники взять...»

В его комнатах было душно, хотя балконная дверь, выходящая на улицу, открыта. Москва остывала после жаркого июльского дня. Вспыхивали на куполах церквей лучи заходящего солнца, горя вечерними искрами.

«И что мне здесь одному торчать? — подумал он. — Прав Митя, надо развеяться».

Он вспомнил про Ванду, известную в Москве кокотку. Однажды бывал у неё, и воспоминания остались славные. Она была в его вкусе, что называется, «роскошная женщина», с замечательными формами, с ярким, цыганистым лицом. Главное, конечно, что в этой женщине, не то австриячке, не то немке, не то еврейке, а, может, кровь была в ней так перемешана, что нельзя было определить, кто она по национальности, было отсутствие в ней жеманности, игры в прятки с мужчинами, так свойственной русским светским барышням. По крайней мере, тем, кого Скобелев успел узнать. За этой манерностью оказывались зубастые щуки, как Мария Гагарина, в которую он был влюблён и на которой женился. Узнав её, Скобелев скоро понял, что единственное его спасение — бегство. Благо, подвернулись очередные военные маневры, и он своей Марусе написал всё, что о ней думает, уже находясь от неё далеко. С той поры он очень осторожно сходил с женщинами. Конечно, бывали

у него романы, но он старался, чтобы они были кратковременными, заранее предупреждая, что он военный человек и не создан для супружеской жизни.

Встретившись с Вандой, он был не то что покорён и очарован, хотя и подумал в ту памятную встречу, что на такой женщине он бы, пожалуй, женился. Но тут же прогнал эти мысли, прекрасно зная, что Ванда наверняка привыкла быть содержанкой богатых московских людей. Да и какой она была в Германии или в Австрии, легко было предположить, раз пришлось выехать из Вены или Берлина, или ещё какого-нибудь европейского города в Москву.

Вспоминая сейчас о Ванде, Скобелев решил повидаться с ней. Благо, она, как он уже узнал, проживала в небольшой гостинице «Англия», которая находилась неподалёку от гостиницы Дюссо.

Он позвал коридорного, вроде расторопного и надёжного человека, которому можно было довериться. Человек этот, прилично одетый, вышколенный, в соответствии с нравами респектабельной гостиницы, одной из лучших в Москве, которую содержал француз Дюссо, всё понял с полуслова. Да, он мигом сходит к Ванде и доложит о генерале, и вернётся с ответом.

Но стоило человеку уйти, как тут же Скобелев вспомнил, что говорил ему князь Оболенский, вспомнил и человека, мелькнувшего у парадной «Славянского базара».

«Пустяки, — тут же одёрнул он себя. — Веду себя как мальчишка».

Но свидание с Вандой и впрямь волновало его, и когда коридорный вернулся с известием, что «ждут-с и даже очень рады-с», Скобелев сунул человеку ассигнацию и вышел из номера.

На углу Столешникова переулка и Петровки находился уютный двухэтажный особняк. Над парадной светилась вывеска «Англия», и Скобелев решительно открыл высокую дверь.

Комнаты Ванды находились на первом этаже, как уже знал от коридорного Скобелев. Его встретил человек, одетый в английскую ливрею, учтиво поклонился и попросил следовать за ним. В конце коридора, устланного ковровой дорожкой, доносились приглушённый смех и возгласы каких-то людей. Неожиданно дверь отворилась, и из неё вывалился молодой

офицер, весёлый, пьяненький. Увидев генерала, он оторопело охнул и тут же скрылся.

Скобелев досадливо поморщился.

— Чтобы никто не беспокоил, — строго сказал он ливрейному, и тот понимающе кивнул, посторонившись перед дверью, в которую Скобелеву надлежало войти.

Ванда стояла посреди богато убранной гостиной, ни дать, ни взять великосветская дама, в летнем светло-розовом платье, открывавшем её стройную шею и высокий бюст. Чёрные волосы забраны наверх, изящно уложены полукругом вокруг головы. Ванда, улыбаясь, протянула к Скобелеву обнажённые руки.

— Ошень рада, мой женераль, — сказала она, и её картавость, и вид, не надменный, а яркий и радостный, сразу вызвал ответную улыбку у Михаила Дмитриевича.

— Эх, о цветах даже не позаботился, — сказал он, целуя её руки. — Сейчас распоряжусь.

— Не беспокойсь, не надо, — она усадила его на диван, белой обивки, с белыми же большими подушками, сама села рядом. — Рад, ошень рад, — повторяла она.

— Да и я рад. Вспоминал тебя и прийти собирался не раз. Да всё как-то не получалось. Военный я человек, Ванда. Сам себе не принадлежу.

— Знаю, знаю, — кивнула она. — Много читаль о Скобелефф.

— Правда? Вот не думал, что ты русские газеты читаешь.

— Пошему русский? И немьецкий, и другой о Скобелефф пишъет.

— Верно, ведь я сам в Париже читал. Много вздору, Ванда. Давай, что ли, выпьем. За встречу. Пусть твой лакей пришлёт шампанского, конфет, фрукты — всё, что ты любишь. И розы пусть закажет. Обязательно красные. Ведь тебя и Розой, кажется, звали.

— Да, меня как только не называль. Розой тоже.

— Ты и впрямь как роза в цвету. Знаешь, в Болгарии есть одно место. Красоты необыкновенной. Представь, долина... И вся цветущая. И вся из роз. Похоже на рай. И вот там... Можешь, конечно, не верить... Я вспоминал о тебе.

Она смотрела на него во все свои чёрные глаза. И он не видел в них никакого притворства. И смотрел на неё с восторгом и искренним чувством, своими голубыми глазами, которые сейчас были наполнены нежностью.

Она приблизилась к нему, и они поцеловались.

В эту минуту раздался деликатный стук в дверь. Она отстранилась, разрешила войти. Ливрейный, поклонившись учтиво, вкатил столик на колёсиках с бутылкой шампанского, конфетами в вазочках, фруктами.

— У вас всё тут предусмотрено, — недовольно сказал Скобелев.

— Не сердись. Порядок не я устанавливалъ.

И повернувшись к лакею, сказала ему по-немецки:

— Больше не беспокой.

— Слушаюсь, — ответил он.

У него было тяжёлое лицо с большим выбритым подбородком. Под ним шотландская борода. Глаза небольшие, но зоркие.

Он уже хотел уйти, но его остановил Скобелев:

— Будь любезен, достань розы. Красные. Большой букет. И ещё шампанского, и всё к нему. Ну, ты же знаешь, — он вынул из кармана ассигнации Оболенского, отсчитал пару крупных и дал ливрейному. — Прощу, постарайся.

— Слушаюсь.

Он ушёл, деликатно прикрыв дверь.

— Знаешь, Ванда, а тебе бы не хотелось уйти от всего этого? Ну, ведь вся эта роскошь какая-то... как бы сказать... бутафорская, что ли. И этот ливрейный... Как в театре.

Она грустно улыбнулась.

— Што поделатъ... как у вас поют деффки... никто замуш не беретъ...

Скобелев рассмеялся.

— Прости, смешно у тебя получается. Да, «хороша я хороша, да богато одета», верно?

— Верно, мой генераль...

Потом всё было как в каком-то вихревом сне, в котором мелькали щёки, губы, глаза, руки, бокалы с шампанским, опять губы, щёки. Кажется, присылали шампанское кутящие в соседних номерах офицеры...

Потом глаза уже не Ванды, а маленькие, ливрейного, и ощущение острой боли в груди, и тошнота, и крик Ванды, и будто её куда-то уводят от него.

А потом чёрная занавесь падает на него, уничтожая всё, но не властный голос ливрейного:

— Зови дворника. Быстрее! И прекрати реветь!

Слёзы она не могла остановить, но покорно пошла за дворником сообщить, что в её номере лежит мёртвый русский офицер.

Глава тридцать шестая. Вальс «Голубой Дунай»

Самара, Струковский сад. Пасха, 1896 год

— Как я рад, что вас встретил, — торопливо сказал Тепляков, христосуясь с Алабиным. — А тут гляжу, вы с Ефимом Тимофеевичем едете.

— И я рад, Иван Иванович. В Струковский сад, очевидно, направляетесь? — Алабин пожал руку Николаю Егорову, который следовал чуть позади своего старшего друга. После недавней размолвки, он, наутро проснувшись, побежал к Ивану Ивановичу мириться. Тот встретил его, как будто накануне ничего не случилось, и они, как ни в чём не бывало, снова вышли на прогулку.

— Как ваша супруга? Дети? — спросил Алабин, показывая Теплякову, чтобы он шёл вперёд, по Дворянской, которая вела к городскому саду, куда теперь, в воскресные и праздничные дни, стекался самарский народ.

— Благодарю. Как раз Албена и просила меня с вами встретиться.

— Правда?

— Дело в том, что наш старший, Володя, отправляется на учёбу в Петербург. Албена наказала мне спросить у вас, не надо ли что передать от вас вашей воспитаннице Ружичке.

На усталом, бледном лице Алабина появился признак живого интереса: в голубых, будто лёгкой дымкой покрытых, глазах вспыхнул огонёк:

— Вот Варвара Васильевна обрадуется. А то она меня своими причитаниями заела: Пасха, а мы Ружичке не послали никакого гостинца. Да... Ваш Владимир чему хочет учиться?

— Медицине, разумеется. Мать с малых лет его по госпиталям да больницам с собой водила. Где уж мне с ней соревноваться. Хотя я и по литературе, и по истории с ним занимался. Но она победила.

Алабин улыбнулся. Ему и в самом деле доставляло удовольствие встретиться с Иваном Ивановичем. И он подумал даже, что это был человек, которого не доставало сегодня, несмотря

на многочисленные встречи. Конечно, подспудно он понимал, что дело тут в воспоминаниях о Болгарии, с которой у них так много связано. Для Ивана Ивановича — безусловно: вон с какой охотой он рассказывает о своей Албене, о старшем сыне Владимире, которому уже восемнадцать лет.

Подумать только, дети выросли!

А кажется, только вчера Тепляков и Албена стояли в Воскресенском кафедральном соборе, с золотыми венцами на головах: Иван — в чёрном сюртуке, в крахмальной белой манишке с чёрным галстуком-бабочкой; она — в белом подвенечном платье, с кружевной накидкой на голове. Он — голубоглазый, русоволосый, и шрам, идущий от виска к щеке, не портит, а наоборот, придаёт ему вид мужа, воина; она — черноглазая, с кожей на лице и руках южной, светло-шоколадной, стройная, юная, но не хрупкая, а крепкая в кости, видевшая не одну смерть в глаза, а теперь нашедшая своё счастье.

И все любят их ими, и радуются, и преосвященный Гурий соединяет их руки, и ведёт за собой вокруг аналая.

Алабину показалось тогда, что соединяются не только руки молодых влюблённых, но руки самой России и Болгарии.

Кто знает, может, теперь и Володя Тепляков, встретившись с Ружичной, воспитанницей Алабиных, обретёт своё счастье. Может, они и полюбят друг друга.

Ружичку Стоянову Пётр Владимирович и Варвара Васильевна взяли под свою опеку, когда Алабину внезапно предложили стать губернатором Софии. Князь Владимир Александрович Черкасский, уже хорошо зная Алабина, рекомендовал его императору как самого подходящего для этой цели человека: патриот, с его именем связана героическая история Самарского знамени, опытный администратор.

Император принял предложение князя, и Алабин приехал в освобождённую Софию. Среди груды забот одной из них стала забота о детях-сиротах. Вот тогда и узнал он историю десятилетней Ружички Стояновой, дочери священника из города Копривштицы. Священник умер в турецкой тюрьме. Его старший сын Найденов, учитель, участник апрельского восстания, погиб. Мать умерла от горя.

Второй сын Стояновых стал в ряды дружины болгарского ополчения и воевал под Самарским знаменем.

Пётр Владимирович хорошо знал храброго воина Стоянова и искал возможность помочь Руже, которая вынуждена была жить с братом в полку.

Алабин отправил девочку через друзей из Славянского благотворительного комитета в Россию. Она была принята в одну из гимназий Петербурга.

— Знаете, Иван Иванович, а ведь о судьбе Ружички можно прекрасную повесть написать, — сказал Алабин.

Они, не торопясь, уже шли по главной аллее Струковского сада, раскланиваясь с проходящими мимо них людьми.

— Я как-то не подумал об этом, — ответил Тепляков. — Но стоит подумать. Впрочем вот Николай вполне может об этом написать. Он однажды о детях-сиротах войны уже писал. Верно, Николай?

Николай, чуть улыбнувшись, смущённо ответил: «Да». Он не знал, как ему следует вести себя при Алабине: статья «Хлебное дело» уже отправлена в Петербург.

Историю с Ружей Стояновой он знал, но как-то не придавал ей значения. Вернее постарался о ней забыть, потому что занимался отнюдь не благодеяниями Алабина.

— А вы, Пётр Владимирович, не пробовали о Софии сами написать? Ваше губернаторство в Софии — вот тема для романа!

— Да что вы, Иван Иванович, какой из меня романист. Для романа обязательно нужна любовная история. Вот как у вас с Албеной Васильевной...

Отца Албены звали Василиом, а по-русски отчество её стало «Васильевна».

— Да это как посмотреть, Пётр Владимирович, — отозвался Тепляков. — Если любовь понимать как главную черту души, то здесь как раз надо говорить об обустройстве Софии. Не так ли по-христиански? Для чего мы воевали на Балканах? Для чего умирали от ран, от тифа, замерзали на Шипке? Вернее, во имя кого? Не есть ли наша вера — любовь?

Тепляков говорил не для Алабина, конечно. Он говорил все эти высокие слова для своего молодого друга, Николая Егорова.

Они дошли до того самого буфета с напитками, где за столиками, покрытыми белыми скатертями, сидели совсем недавно. Уселись за тот же столик, откуда открывался дивный вид на створ Жигулёвских ворот, на Волжский простор, освещённый

сейчас ярким весенним солнцем. И, казалось, продолжают разговор, начатый здесь же, несколько дней назад. Только сам главный персонаж драмы, разыгравшейся в Самаре, присутствовал здесь же, между двумя спорщиками.

— Вы, Пётр Владимирович, по-моему, слишком бегло написали о своём губернаторстве в Софии, — сказал Тепляков. — Возьмите хотя бы управление городом. Без вашего опыта Владимир Александрович вряд ли бы управился. За вашими плечами стояло губернаторство в Вятке, Самаре. А у него — земельное дело да теория. Потому он вас и взял, что вы знали, как болгар накормить, лечить. Как мирную жизнь организовать. Я же своими глазами это увидел!

— Да, Иван Иванович, есть что вспомнить... Помните Марина Дринова?

— Как же! Он же в ополчении воевал, под Самарским знаменем. Да и как его не заприметить! Профессор Харьковского университета! Потому вы его и сделали вице-губернатором.

Николай Егоров отодвинул бокал с недопитой мадерой, встал.

— Не буду мешать вашим воспоминаниям...

— Да что вы, Николай! — Иван Иванович тоже встал, взял друга за плечи. — Неужели нас, стариков, так неинтересно слушать?

— Что вы, Иван Иванович, — попытался учтиво сказать Егоров, и лицо его перекосила кривая улыбка. — Но всё же прошу меня простить. Я обещал Ангелине Ивановне... Должен её встретить...

— И я Албену Васильевну должен встретить. Да вот же, поглядите: они сами к нам идут!

И в самом деле: Албену вёл под руку старший сын Владимир, а невеста Егорова, миловидная Ангелина, шла в сопровождении Ильи Трофимовича Скворцова, солидного господина в цилиндре и с тростью. В нём трудно было узнать того быстрого и ловкого секретаря губернатора Илью Скворцова. Лишь при внимательном рассмотрении угадывались прежние милые черты его лица. Теперь челюсть Ильи Трофимовича как-то выдвинулась вперёд — то ли от того, что у Скворцова появились вставные зубы, то ли от того, что он стал важной персоной — одним из директоров губернского банка. Ангелине он приходился родственником и потому опекал её.

Албена же узнавалась сразу. Красота её приобрела ту женскую зрелость, в которой преобладают черты материнские, с той мягкой округлостью, которая сглаживает девичью стройность и некоторую угловатость. Она пополнена, но не растолстела, хотя, родив третьего ребёнка, вполне могла бы потерять женскую привлекательность. Выручала её деятельная работа: Албена теперь стала старшей медсестрой в Шихобаловской больнице и часто ассистировала при сложных операциях. Незаменимым оказался опыт военно-полевой хирургии под началом у Николая Васильевича и Софьи Александровны Склифосовских.

Скворцов взглядом поискал распорядителя буфета, и тот мигом предстал перед банкиром, и, следя за направлением трости Ильи Трофимовича, тут же распорядился примкнуть к столику Алабина и Теплякова ещё один.

Уселись. Скворцов приказал принести прохладительные напитки для дам.

— Впрочем сегодня можно и шампанское, — заключил он. — Не возражаете, Пётр Владимирович? Иван Иванович? Тебя, Николай, не спрашиваю. Вижу, ты уже мадерой развлёкся.

— Да... поддержал компанию... — и глянул на Ангелину с извинительной улыбкой. — А вы... как вместе...

— У самого входа в парк, — быстро ответила Ангелина. — Я так рада, — на хорошеньком её лице блеснули весёлые глаза. — Я, Николя, как вы знаете, стараюсь быть похожей на Албену Васильевну, — она коротко засмеялась, но тут же оборвала свой смех. — Пока у меня это плохо получается. Но я стараюсь.

Скворцов покровительственно улыбнулся, относясь к своей родственнице как к шаловливому ребёнку. На самом деле это была лишь привычная для девушки манера поведения, за которой скрывался довольно твёрдый характер. Егоров успел уже убедиться в этом. Он знал, что Ангелина знакома с Володиёй Тепляковым и отзывается о нём так, что Егоров морщится.

Иван Иванович при более близком знакомстве с родственницей Скворцова разглядел её характер, надеясь, что его сын сам разберётся, что за девушка Ангелина. Надеялся, что у Володи не будет соперничества с Николаем.

— Мы, кажется, прервали вашу беседу? — осведомился Скворцов.

— Если так, извините.

— Не стоит извинений. О чём нам с Иваном Ивановичем говорить, как не вспоминать о прошлом.

— «Бойцы вспоминают минувшие дни», — продекламировала Ангелина и опять засмеялась. — Как жаль, что меня во время той войны ещё не было на свете! Я бы тоже отправилась на Балканы.

— Упаси Господи, — сказал Скворцов, показывая официанту, чтобы он наполнил бокалы шампанским. — Войны нет, и не предвидится.

— Вы думаете? А мне всё кажется, что война опять придёт к нам. И как раз с Балкан, — сказал Алабин. — Потому что вражда там так и осталась. Мы не дорешили тамошние конфликты.

— Об этом и Скобелев говорил, — поддержал Алабина Тепляков.

— Ну, перестаньте. Какая теперь война. Хватит, повоевали. А что Скобелева вы упомянули, Михаила Дмитриевича, так он хоть и герой, но не мыслил по-государственному.

— Вот как? — Тепляков быстро взглянул на Скворцова и будто увидел того самого секретаря губернатора, который восемнадцать лет назад в гостиной у генеральши рассуждал о политике и о том, как России необходимо дотягиваться до Европы. — Защищать интересы России, как это делал Михаил Дмитриевич с оружием в руках, каждый день рискуя жизнью, — это поступать не по-государственному?

— Вы превратно меня поняли, Иван Иванович. Я же сказал, что он герой. Но ему не доставало понимания того, что происходит вокруг России. Ведь если бы мы ввязались в дальнейшую войну с турками, против нас пошли бы англичане с немцами заодно и устроили бы нам ещё один Крым.

— И поэтому правильно сделали они, что убили генерала, — подытожил Тепляков. — Фот фаша логика, Илья Трофимфич.

— Мужчины, мужчины, — вмешалась в спор Албена. — Сегодня же праздник, а вы о политике.

— И в самом деле, — сказал Алабин, вздохнув и ласково глядя на Албену. — Мы о Софии до вас говорили. Вспоминали моё губернаторство. И не вспомнили, что вы с Иваном Ивановичем именно там нашли друг друга.

— Правда? Расскажите, расскажите! — Ангелина даже захлопала в ладоши.

— Да не стоит сейчас об этом, — возразил Тепляков.

— Почему же? Пасха, как раз и стоит говорить о любви. Разве не так?

Володя до сих пор не проронил ни одного слова. Но его взгляды то на отца, то на Алабина, то на Ангелину были красноречивей всяких слов. Лицо его, несколько удлинённое, с прямым носом, с голубыми глазами, как у отца, с чёрным пушком усов, с густыми чёрными волосами, как у матери, было гораздо привлекательней, чем у Егорова. В нём угадывалась работа души, и потому отсутствовала та некая сахарность, присущая чертам лица Егорова.

Ангелина то и дело бросала в сторону Володи взгляды, и сейчас, когда она требовала, чтобы его отец рассказал о своей встрече с Албеной, он смутился, будто это его просили рассказать о своём сокровенном, заповедном. Он с тревогой ждал, что скажет отец.

— Да всё произошло очень просто, — сказал Иван Иванович. — Я отправлял очередные депеши из Софии, где уже работал телеграф, и заметил, что рядом находилась больница. Ну, и зашёл туда посмотреть, нет ли знакомых, кому надо помочь. Вот там и нашёл Албену.

— И всё? — удивилась Ангелина.

— И всё.

— Так просто? Но мне же Албена Васильевна рассказывала, что вы её искали на Шипке, а госпиталь в это время перебрался в Пловдив. Вы отправились туда, а госпиталь уехал ещё куда-то. Так, Албена Васильевна?

— Так.

— А потом ей сказали, что вас убили. И вы встретились, как будто воскресли...

Тепляков засмеялся.

— Вы сочинили целую романтическую историю. Давайте лучше выпьем.

— Нет, сначала вы расскажите. Володя, да помогите же мне! — требовательно сказала Ангелина, и тут многим, а прежде всего Егорову, стало многое понятно, почему она так настойчиво требует от Теплякова подробного рассказа про любовь.

— Ну, хорошо. Я вошёл в помещение с койками в два ряда, — начал Иван Иванович. — Шёл между ними, глядя на раненых,

увечных. Искал знакомых, товарищей. Но главное, конечно, искал Албену. Нигде её не находил, а тут зашёл так, на всякий случай... Смотрю, сестра делает перевязку раненому. Рот закрыт повязкой, косынка белая надвинута до глаз... Что-то мне показалось знакомым в фигуре сестры, в наклоне её головы, что ли... Но я столько раз ошибался, что и тут подумал — так, кажется... И уже вышел из больничного помещения на улицу. Но что-то меня остановило... И я вернулся, подошёл к сестре. Она уже закончила перевязку и выпрямилась в полный рост. Смотрю — и вижу одни только чёрные глаза. Но вот она снимает повязку со рта. Смотрит на меня. И я стою как вкопанный. Язык у меня отнялся — сказать ничего не могу... Вот так мы и встретились.

— Так ничего и не сказали?

— Ангелина, это лишнее, — попытался её остановить Егоров.

— Лишнее? Да это самое главное! Как ты не понимаешь?! Я ведь не из любопытства спрашиваю, а потому что это такая история... такая история! Неужели вы не понимаете?

— Полноте, Аля, — вмешался в разговор Скворцов. — История, конечно, романтическая, что и говорить. Но не надо же всё до мелочей выпрашивать. Неудобно.

— Ну ладно, не буду, — Ангелина вытерла набежавшие слёзы. — Простите меня, глупую, Албена Васильевна. И вы простите, Иван Иванович. Теперь и я хочу выпить. Вы знаете, за что. А вы не выпьете разве, Володя?

— Отчего же, выпью. Это же мои родители. И я бы хотел всё преодолеть, как они, а любовь свою всё-таки найти и сберечь.

— Да? В самом деле? — уже серьёзно спросила Ангелтна, и милые глаза её стали не шаловливо-девические, а по-женски глубокие.

— В самом деле, — так же серьёзно ответил Владимир.

— Однако, — вмешался Скворцов, — обещали оркестр. Пора нам занять места, — он встал и предложил руку Ангелине.

Она тоже встала.

— Разве вы не пойдёте слушать музыку? Штрауса будут играть.

Владимир глянул на отца.

— Да, мы пойдём чуть позже. Пётр Владимирович?

— А я не Штрауса буду слушать, а храповицкого... устал, пойду домой.

— Я вас провожу. Албена, вы тоже идите, я догоню.

Албена и Владимир ушли вслед за Скворцовыми.

Николай остался с Алабиным и Тепляковым.

Молча смотрели на Волгу. Солнце уходило к горизонту, окрашивая воду в розовые цвета.

Заиграл духовой оркестр в воксале: так называлась, по-петербургски, зелёная эстрадная площадка — «раковина», на которой разместился оркестр. Около «раковины» поставили скамейки для слушателей музыки.

Оркестр играл «Голубой Дунай».

— Красивый вальс, — сказал Алабин. — Под него мы танцевали с Варварой Васильевной, когда я за ней ухаживал. Я был унтер-офицер, а она дочь богатого помещика. Он и слышать про меня не хотел. Я прошёл через две войны, стал поручиком. Прошло семь лет, но она всех, кто к ней сватался, отклонила. И меня дождалась.

— Вы... к чему это вспомнили? — спросил Николай.

— Мы же о любви говорили. Да, Николай, — как бы мимоходом спросил Алабин: — Это правда, что вы обо мне написали? Про хлебное дело?

— Откуда вам это известно?

— Слухами земля полнится. Я предстаю в вашей статье в каком свете? Как мошенник? Казнокрад?

— Что вы, Пётр Владимирович. Я обрисовал объективную картину. На основе проверенных фактов.

— И что же из этих фактов следует?

Николай, бледный, стоял перед Алабиным, выпрямившись.

Алабин был ниже ростом, и ему пришлось немного отступить, чтобы смотреть в глаза Егорову не снизу вверх.

— Из всего мной написанного, — сказал Николай, ещё больше бледнея, — следует, что нас бессовестно обманули, и мы получили гнилое зерно, которым травились наши голодающие люди. И вы оказались в центре этих печальных, даже трагических событий. Оказались невольно, но получилось — ответственным участником.

— Ответственным участником, — повторил Алабин. — А я думал, что вы как друг Ивана Ивановича иначе ко мне относитесь.

— Иначе не могу. «Платон мне друг, но истина дороже», как говорится.

— Истина? Опомнитесь, Николай! Мы же с вами так долго в прошлый раз говорили! И мне казалось, что вы всё поняли! — Тепляков тоже встал и с неподдельным негодованием устремил свой взгляд на Егорова. — Вы разделяете точку зрения чиновнических крыс?!

— Я вас попрошу, Иван Иванович...

— Нет, это я вас попрошу, Николай Сергеевич. Если завтра же вы не телеграфируете в Петербург, что отзывате свою статью, отношения между нами будут закончены.

— Что ж, значит, так тому и быть, — холодно ответил Егоров, поклонившись. — Честь имею.

— Чести вы как раз и не имеете, бывший мой друг, — Иван Иванович тоже слегка кивнул головой. — Стреляться я с вами не буду, поскольку слишком неравны силы, да и жалко вас. Но поверьте, за этот поступок вам будет потом очень стыдно.

— Стыдить меня я не позволю! — слишком громко, как-то визгливо выкрикнул Егоров.

За соседними столиками на них обратили внимание. Подбежал распорядитель буфета.

— Что такое? Пётр Владимирович? Иван Иванович?

— Да ничего, — спокойно ответил Алабин. — Оса укусила молодого господина. Вот он и завизжал. Идёмте, Иван Иванович.

И Алабин направился к выходу, даже не посмотрев в сторону Егорова.

На центральной аллее зажглись огни. Со стороны воксала до них доносились дивные звуки вальса Штрауса.

— Ну вот вам и развязка, — сказал Алабин. — Артподготовка перед боем.

— Ничего, ещё посмотрим, чья возьмёт, так Михаил Дмитрич говорил.

— Ладно, — Алабин тяжело забрался на сиденье коляски. — Прощайте, Иван Иванович. Рад был с вами повидаться.

— Может, вас проводить?

— Не надо, тут недалеко. Трогай.

Извозчик дёрнул за поводья, и коляска покатила по Алексеевской, к особняку Алабиных.

Глава тридцать седьмая. Бессмертное войско

Самара, май, Пасха 1896 года

Албена с сыном скоро вернулись домой. Младших Петю и Павла нянька уже уложила спать, но они переговаривались и чему-то тихонько смеялись, дожидаясь, когда придёт мама.

Албена зашла в детскую, дети сразу притихли. Но когда она подошла к Пете, он, выпростав из-под одеяла руки, обхватил её за шею и поцеловал, прижавшись к её щеке.

— Так и знала, — сказала она, обнимая Петю. — Почему не спите?

— Вас ждали! — тут же сказал младший трёхлетний Паша и сел на кровати. — А меня поцеловать?!

— Всё, всё, — Албена поцеловала и Пашу, а потом вышла из детской.

В гостиной, у стола, сидел Иван Иванович, задумавшись. Его белая голова, склонённая над столом, как будто что-то рассматривала на скатерти.

— Может, чаю? — спросила Албена.

— Нет, спасибо.

— А что такое? Почему не ложишься?

Иван Иванович рассказал, что произошло, когда они ушли слушать оркестр.

— Боюсь за Петра Владимировича. Он совсем плох. А тут ещё Егоров. Разве мог я подумать, что он нанесёт такой удар старику? Вот так друг! Воспитанник!

— Успокойся, Ваня. Я и раньше говорила, что этот Николай мне не нравится. И Ангелину предупреждала.

— Да? Как ты думаешь, наш Володя, — переходя на шёпот, спросил он, — влюблён?

Албена приложила палец к губам, кивнув на дверь, ведущую в комнату старшего сына.

— Посмотрим.

Он привлёк к себе жену, обняв её за талию.

— Знаешь, сегодня вспомнилось...

— И мне.

— Как мы стояли тогда, в госпитале, в Софии... Я и в самом деле потерял дар речи.

- А я зарыдала.
- А я тебе гладил, гладил...
- И вытирал мои слёзы.
- Солёные.

Они сидели, обнявшись, и молчали.

Володя, лёжа в постели, не спал, слыша шёпот родителей, доносившийся из гостиной.

Он думал об Ангелине, о матери и отце, о предстоящей поездке в Петербург.

«А если не выдержу экзамены? Как возвращаться домой? Ужас! Даже подумать страшно. А как с Ангелиной? Будет она меня ждать? Или тоже приедет в Петербург? Или выйдет за этого Егорова? Кажется, она... Вот именно, кажется! Она же мне ничего не сказала... Но как смотрела! Да, начинается новая жизнь... Какой она будет? Господи, помоги!»

Он перекрестился и повернулся к стене, закрыв глаза.

Но ещё долго не мог заснуть.

Пётр Владимирович Алабин тоже не спал.

Приехав домой, он принял лекарства, которые ему подготовила Варвара Васильевна, успокоил её, сказав, что хорошо прогулялся и отдохнул.

Но она, видя его бледность, круги под глазами, поняла, что с мужем далеко не всё в порядке. Уложила его, ушла в свою спальню, и Пётр Владимирович остался один.

Он лежал, прислушиваясь к тому, как ведёт себя сердце. Иногда его не было слышно. Но время от времени оно будто просыпалось и начинало ныть. Перебойное колотье заставляло его ворочаться в постели, искать такое положение тела, когда сердце успокаивалось. Боль уходила под левую лопатку, и тогда он пытался заснуть.

Перед глазами проходили лица — Кожевникова, Теплякова, Албены, Егорова.

Потом выплыли лица из прошлого — князя Черкасского, Ивана Сергеевича Аксакова, случайно встреченные и увиденные лица...

Так и не уснув, он встал, подошёл к окну и распахнул его.

Свежая майская ночь вошла в комнату.

Деревья, покрытые молодой листвой, стояли, не шелохнувшись.

В белом цвету светились яблони. Сиреневые кусты, росшие по бокам дома, отливали в свете звёзд и луны тёмным пламенем.

Особенно хорош был куст персидской сирени с крупными гроздьями цветов.

И вдруг в ночной тишине ударил трелью соловей.

Он сразу, без разгона, завернул такую руладу, захлёбываясь от восторга, от переполнившей его радости, что Пётр Владимирович даже чуть вскрикнул.

Он поднял голову, пытаясь угадать, где уселась горластая птица.

Но тщетно.

Зато с другого конца сада ударил в бубенцы другой соловей. И не хуже первого.

Они, словно состязаясь между собой, выводили разные трели, одна переливчатей и звонче другой.

И пели попеременно, ни капельки не уставая, прославляя жизнь и любовь.

Долго их слушал Пётр Владимирович, глядя то на цветущие деревья, то на звёздное небо.

«Как хорошо, — думал он. — Как хорошо!»

Не закрывая окна, он лёг в постель.

Стоило только закрыть глаза, как внезапно в душе его зазвучала музыка.

Будто соловьи вели какую-то чудесную мелодию, а им вторили трубы горнистов.

И неведомый оркестр подхватывал мелодию труб.

Потом запели скрипки, ещё какие-то незнакомые Петру Владимировичу инструменты.

Всё мощнее, всё громче...

«Как хорошо! — вновь повторил он. — Как хорошо!»

И вот из темноты, всё лучше и лучше видимый, возник, приближаясь, всадник на Белом коне.

«Скобелев!» — радостно вскрикнул, узнал генерала Алабин.

Скобелев кивнул и выхватил шашку, подняв её над головой.

Он оглянулся, крикнув: «Оркестр! Марш!»

И тотчас из темноты показалась могучая фигура Антона Марчина, знаменосца. Одной рукой подняв над собой Самарское Знамя, он пошёл вперёд.

А за ним, выстроившись в ряд, пошли трубачи — Цирюльский, его товарищи Вениамин, Ростислав, Артемий, барабанщики Солоничка, Иванко.

И тут же за ними встали в ряд генералы Драгомиров, Столетов, Гурко, Радецкий, Святополк-Мирский, Ганецкий.

А рядом с ними — седовласый Цеко Петков, отец и сын Стояновы.

Музыка звучит всё громче, всё призывней, всё торжественней. Кто её написал? Бетховен?

Нет, музыка ещё лучше, чем у Бетховена!

Болгарские и русские знаменосцы идут рядом.

Вот уже Пётр Калитин поднимает Знамя, на котором образ Спаса Нерукотворного, и все павшие идут, воскресшие, рядом с живыми.

Лица вроде бы незнакомые Алабину, но всё равно он их видел.

Это сжимает, выставив ружьё с примкнутым штыком, Панас Галушко, побратим Ивана Теплякова. Здесь же и те, кто бился под Самарским Знаменем и выносил его из кипени боя, когда турки окружили наших героев: Стоян Санищев, студент Парижского университета, Минков, Попов, Донеv. Идёт рядом и унтер-офицер Фома Тимофеев, последним подхвативший Знамя и не отдавший его врагу.

Идут, оцетинив штыки, самарские богатыри Прон и Зосима, Егорий Тетюшин, понтонеры из батальона фон Фока Шебаршов, Петухов, Крапивенко.

Вместе с ними румыны, сербы, поляки.

Выставив впереди себя крест, идёт отец Борис.

А рядом с ним Василий Васильевич Верещагин, и все, кого он запечатлел на своих картинах.

А с ними и те, кто штыками, прикладами, камнями бил врага на Шипке — Перван Нинов и его сын Ангел, проводники через перевал Димитар и Атанас — все идут на смертный бой, все готовы умереть, но победить.

«Все вы здесь, все вы здесь!» — шептал Алабин, и бойцы кивали ему, и он почувствовал, как кто-то поднял его вверх, от кровати.

«Надень мундир», — явственно услышал он и повиновался.

«У тебя нет на кителе одной награды», — опять услышал он.

«Какой?»

«Самой главной».

Он осмотрел мундир. И «Анны» высших степеней, и «Георгии» — все были на месте.

Что же он мог забыть?

И вдруг вспомнил, и поспешно открыл ящик стола, в котором хранил награды, которые считал неуместным надевать на парадный мундир.

Открыл картонную коробочку и достал медаль, которая выдавалась всем участникам Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

На аверсе её чётко читалась надпись:

«Не нам, не нам, но имени Твоему».

Он понял, что эту медаль надо укрепить на груди — слева, где сердце.

И тотчас он стал подниматься вверх, туда, к звёздам, и встал в ряды бойцов, у которых на груди, так же как у него, была укреплена медаль, точно такая же — простая, солдатская.

И он пошёл в ряду бойцов, вперёд, за Белым Генералом, который впереди всех вёл ныне и присно освободительное бессмертное войско.

Содержание

Город, в котором живёт любовь. Вместо предисловия	3
Глава первая. Пётр Алабин. Самара, Пасха 1896 года	9
Глава вторая. Хлебное дело. Самара, Светлая седмица, 1896 год	19
Глава третья. Варвара Алабина. Варенька Безобразова. Самара, апрель 1896 года. Брянск, март 1842 года	29
Глава четвёртая. Пётр и Варвара Алабины. Самара, апрель 1896 года. Севастополь, лето 1855 года	37
Глава пятая. Варвара Алабина и матушка Антонина. Самара, апрель 1896 года, лето 1876 года	41
Глава шестая. Начало пути. Самара, Аннаевские дачи, осень 1876 года	53
Глава седьмая. Рождение знамени. Самара, осень, зима 1876 года	64
Глава восьмая. Проводы. Самара, весна 1896, весна 1877 годов	72
Глава девятая. Москва. Весна 1877 года	79
Глава десятая. Фома Данилов, самарский герой. Маргилан, Ферганская долина, ноябрь 1875 года	96
Глава одиннадцатая. Знамя в строю. Самара, весна 1896 года, Плоешти, май 1877 года	110
Глава двенадцатая. От Волги до Дуная. Июнь 1877 года	118
Глава тринадцатая. Переправа. Дунай, июнь 1877 года	126
Глава четырнадцатая. Любить человека, убить человека. Самара, апрель 1896 года. Болгария, Систово, июнь 1877 года	139
Глава пятнадцатая. Рай. Перевал Стара-Планина, Долина роз. Июнь 1877 года	150
Глава шестнадцатая. Ад. Казанлык, июнь 1877 года	156
Глава семнадцатая. Звёздная ночь. Казанлык, июнь 1877 года	162
Глава восемнадцатая. Дом, увитый плющом. Стара-Загора, июль 1877 года	167
Глава девятнадцатая. Знамя — развернуть! Стара Загора, 31 июля и 1 августа 1877 года	174
Глава двадцатая. Дорога на Шипку. Август 1877 года	180
Глава двадцать первая. Нарисовать Болгарию. Август 1877 года	186
Глава двадцать вторая. Раны. Август 1877 года	192
Глава двадцать третья. Братья. Плевна, сентябрь-ноябрь 1877 года ..	199
Глава двадцать четвёртая. Из дневника Ивана Теплякова. Лагерь под Плевной, август 1877 года	206
Глава двадцать пятая. «Из страны Иоаннии в страну Албению» Лагерь под Плевной. Август 1877 года	216
Глава двадцать шестая. Шипка, вершина славы. Август 1877 года	223

Глава двадцать седьмая. Русская силушка.	
Плевна, 28 ноября 1877 года.....	231
Глава двадцать восьмая. У императора.	
Плевна, 29 ноября 1877 года	239
Глава двадцать девятая. Перевал. Август-ноябрь 1877 года	245
Глава тридцатая. «На Шипке всё спокойно».	
Ноябрь-декабрь 1877 года	253
Глава тридцать первая. Как снег на голову.	
Шипка-Шейново. 24-28 декабря 1877 года.....	258
Глава тридцать вторая. После битвы.	
Шипка-Шейново. 29 декабря 1877 года	267
Глава тридцать третья. Зов трубы ангела.	
Шипка, 31 декабря 1877 года — 1 января 1878 года	273
Глава тридцать четвёртая. Проигранная победа.	
Варварино, Юрьевский уезд, Владимирская губерния.	
Июль 1878 года.....	281
Глава тридцать пятая. Смерть героя. Москва, 26 июня 1882 года	292
Глава тридцать шестая. Вальс «Голубой Дунай».	
Самара, Струковский сад. Пасха, 1896 год	304
Глава тридцать седьмая. Бессмертное войско.	
Самара, май, Пасха 1896 года	314

Издание подготовлено творческим объединением

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,

телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 01.06.2015. Формат издания 60х90/16.

Объём 20,0 печ.л. Гарнитура Georgia.

Бумага мелованная. Печать офсетная. Тираж 400 экз.

Отпечатано в типографии ООО «КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО»

443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1; тел.: (846) 267-36-82

e-mail: izdatkniga@yandex.ru